РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

Издается под руководством
Отделения историко-филологических наук РАН

3

МАЙ–ИЮНЬ

"НАУКА"

МОСКВА – 2005

СОДЕРЖАНИЕ

Д.И. Эдельман (Москва). Проблемы исторической лексикологии иранских языков и "Этимологический словарь иранских языков" ... 3
А.А. Зализняк (Москва), Е.В. Торопова (Новгород), В.Л. Янин (Москва). Берестяные грамоты из раскопок 2004 г. в Новгороде и Старой Руссе ... 24
О.Ф. Жолобов (Казань). ТРНДЕВАТО АНЄЄЛО ТРНДЕВА АРОХАНЄЛО (функция и формы числительных в берестяной грамоте № 715) ... 32
И.А. Седакова (Москва). Заимствованное слово и его этнокультурное содержание (болг. *КЪСМЕТ*) ... 44
Г.И. Кустова (Москва). О семантическом потенциале слов энергетической и экспериенциальной сферы ... 53
Р. Руде (Лион). Предикативное прилагательное и типы предложений в русском языке ... 80
Г.М. Керт, В.Т. Вдовицын (Петрозаводск). Информационные технологии в исследовании топонимии ... 102

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

С.Г. Татевосов (Москва). Events as grammatical objects. The converging perspectives of lexical semantics and syntax ... 125
О.В. Ханина (Москва). *S. Cristofaro.* Subordination ... 133
В.Ф. Выдрин (Санкт-Петербург). Основы африканского языкознания: Глагол ... 139
М.Е. Алексеев (Москва). *М.Ш. Халилов.* Грузинско-дагестанские языковые контакты ... 142

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки ... 146

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, А.В. Бондарко, В.А. Виноградов (зам. главного редактора), *Т.В. Гамкрелидзе, В.З. Демьянков, В.А. Дыбо, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Вяч.Вс. Иванов, Н.Н. Казанский, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик* (зам. главного редактора), *М.М. Маковский, А.М. Молдован, Т.М. Николаева* (главный редактор), *В.А. Плунгян* (отв. секретарь), *Е.В. Рахилина*

Зав. отделами: *М.М. Маковский, Г.В. Строкова, М.М. Коробова*
Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2,
Институт русского языка им. В.В. Виноградова
Редакция журнала "Вопросы языкознания"
Тел. 201-25-16

© Российская академия наук, 2005 г.
© Редколлегия журнала "Вопросы языкознания" (составитель), 2005 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 2005

© 2005 г. Д.И. ЭДЕЛЬМАН

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ ИРАНСКИХ ЯЗЫКОВ И "ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ИРАНСКИХ ЯЗЫКОВ"

Статья посвящена вопросам сравнительно-исторической лексикологии иранских языков, связанным с составлением "Этимологического словаря иранских языков" (ЭСИЯ). Рассматриваются проблемы реконструкции лексических единиц и лексики как системы в наиболее архаичном праиранском состоянии. Особое внимание уделено реконструкции слова как языкового знака, трудностям семантической реконструкции единичных слов и соотношений слов в праязыковой лексической системе, включая выявление синонимии и омонимии. Описывается теоретическая и методическая база ЭСИЯ: отражение в нем подхода к праиранскому состоянию как к континууму диалектов, более архаичных, чем было принято считать в традиции конца XIX – начала XX века; включение иранского этимологического корпуса в общую индоевропейскую систему в качестве ее подсистемы. Объясняются причины преимущественно корневого принципа построения ЭСИЯ и структуры словарных статей.

Изучение иранских языков в сравнительно-историческом, историко-типологическом и ареальном аспектах с учетом изменений не только в структурном и материальном отношениях, но и в содержательной стороне языка заострило целый ряд различных по характеру проблем языковой диахронии. В частности, высветился большой комплекс лексикологических проблем, нашедших отражение в работах последних десятилетий. Основные историко-лексикологические проблемы в них связаны, с одной стороны, со сравнительно-исторической лексикологией и реконструкцией лексики наиболее архаичного общеиранского праязыкового состояния, с другой, – с типологическими и ареальными штудиями, анализом специфики диахронических изменений в лексике отдельных иранских языков, давно и далеко разошедшихся в лингвистическом и ареальном планах, контактирующих с разными языками других семей.

В данной статье предлагается рассмотрение некоторых проблем сравнительно-исторического анализа лексики иранских языков и составления "Этимологического словаря иранских языков" (далее – ЭСИЯ).

Реконструкция праязыковой лексики базируется, как известно, на реконструкции отдельных праязыковых лексических элементов, что подразумевает их представление в определенном фонетическом облике, фонологическом составе, с учетом слово- и формообразования, а также предполагаемой семантики в системе праязыкового периода. Иными словами, реконструкция праиранской лексики связана, с одной стороны, с реконструкцией общей праязыковой системы в стуктурном о материальном плане, то есть в том плане, который обусловливает реализацию "означающего" в слове, с другой стороны, – с реконструкцией предположительной семантики этого слова, его "означаемого". Краткий обзор этого круга проблем делался при разработке общих положений сравнительно-исторической грамматики иранских языков и, в частности, сравнительно-исторической лексикологии, а также на начальной стадии формирования корпуса ЭСИЯ (см. [Эдельман 1986: 23–65; 1990: 9–67; 1992; 1994: 62; 1995; 1996], там же литература).

Теперь, когда работа над ЭСИЯ уже идет (первые два тома изданы, см. [ЭСИЯ 1; ЭСИЯ 2], третий практически подготовлен для публикации, разрабатывается этимо-

логический корпус остальных томов)[1], можно сказать, что некоторые из проблем этого круга в целом удалось решить, другие же, наоборот, в ходе работы усугубились. Добавились также новые общие соображения и конкретные вопросы к отдельным словарным статьям, отвечать на которые приходится уже в процессе непосредственной работы над текстом каждого из томов ЭСИЯ. И поскольку, как представляется, сходные проблемы и вопросы могут возникать у исследователей лексики и составителей этимологических словарей разных языковых семей, имеет смысл обсудить их здесь, в широкой аудитории (частично повторив по мере необходимости некоторые общие соображения, обсуждавшиеся ранее).

1. ОБЩИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ ЭСИЯ

Сама идея составления "Этимологического словаря иранских языков" назревала давно, но особенно четко ее сформулировал в 1959 г. О. Семереньи в первой из серии своих этимологических статей (вышедших под названиями "Iranian Studies" и "Iranica" с соответствующими номерами, см. [Szemerényi 1959; 1967] и др.). Согласно его замыслу, такой словарь должен стать собранием словарных гнезд (word–families), где в качестве заглавного слова выступало бы древнеиранское или праиранское, а в словарной статье рассматривались бы его дериваты и их исторические продолжения [Szemerényi 1959: 60].

В принципе, создание словаря такого типа в те годы (и даже значительно раньше) было вполне возможным, поскольку к тому времени уже было накоплено в литературе большое число этимологических наработок, которые нуждались в систематизации. Вместе с тем, хотя обобщение возможно на любой стадии накопления материала, существовавший к концу 50-х годов XX века иранский этимологический фонд был ограничен в основном письменной базой: данными памятников вымерших языков – древнеиранских и так называемых "среднеиранских" (то есть языков, утративших древние черты и относящихся к более поздним эпохам, но не доживших до нашего времени), а из современных – данными крупных литературных языков (в основном, персидского, отчасти таджикского, курдского и пашто). Этимологические разработки лексики других языков иранской семьи: осетинского, отдельных бесписьменных языков и диалектов Центрального Ирана и бесписьменных языков и диалектов Средней и Центральной Азии (см. [Миллер 1881; 1882; 1887; GIPh I, 2; Абаев 1949; Абаев ИЭСОЯ; Morgenstierne 1928; 1929–1973; 1958] и нек. др.) – были счастливыми исключениями. По целому ряду языков не было не только описаний и словарей, но даже небольших списков слов.

Поэтому развившееся во второй половине XX века изучение многих других иранских языков в синхронном аспекте, включая составление словарей, а также в историческом аспекте, включая этимологические разыскания, привело к уточнению и к частичному пересмотру результатов более ранних сравнительно-исторических штудий, а тем самым, – и к пересмотру многих этимологических выкладок.

Следует отметить попутно, что наибольшая часть серьезных исследований живых иранских языков, включая бесписьменные, малоизученные и ранее не изучавшиеся (о важности последних для этимологической работы будет сказано ниже), была осуществлена в СССР и затем в России, в основном, трудами ученых московской и ленинградской (= петербургской) иранистических школ, а также трудами их учеников и последователей в Осетии и Таджикистане. Был накоплен интереснейший материал, который, однако, мало использовался в сравнительно-исторических целях: за рубежом эти работы были далеко не всегда известны (к тому же не все западные ученые владе-

---

[1] Очередные тома "Этимологического словаря иранских языков" были подготовлены и первые два тома изданы при финансовой поддержке РГНФ, проекты №№ 94-06-19080а, 98-04-06260а, 99-04-00243а, 02-04-00071а и 99-04-16235д, 02-04-16056д).

ли русским языком), здесь же до начала 50-х годов, точнее до "дискуссии о языке", проводники культа марризма активно препятствовали проведению и особенно публикации глубоких сравнительно-исторических исследований (включая этимологические), для которых одним из базовых является понятие праязыка, считавшееся крамольным. Иранистика как часть "идеологически чуждой" индоевропеистики была в этом отношении особенно уязвимой.

В дальнейшем в результате введения в научный обиход большого нового материала иранских языков и развития сравнительно-исторических исследований, охватывающих в том числе и малоизученные и вовсе не изученные ранее языки, ко времени начала работы над ЭСИЯ было накоплено большое количество этимологических разработок. Они содержатся в словарях, как специальных этимологических словарях отдельных иранских языков, так и таких, где этимология является значимой частью словарной статьи. Ценный этимологический материал содержится также в трудах, посвященных определенным группам лексики (объединенным семантикой [Стеблин-Каменский 1982; 1985; 1987] или определенными формальными признаками: историко-фонетическими, морфологическими или словообразовательными [Стеблин-Каменский 1971; 1981]). Налицо также большое число этимологических разработок во многих монографиях, см. особенно [Основы 1979–1997], где каждый из иранских языков получил краткое синхронное описание и большой сравнительно-исторический анализ, отчасти [Compendium 1989] с краткими сведениями по истории языков, а также в обобщающих сравнительно-исторических трудах по отдельным генетическим подгруппам [Соколова 1967; 1973; Edelman 1980] и по двум основным генетическим группам иранских языков [Эдельман 1986; 1990; Расторгуева 1990]. Ценные этимологии представлены также во многих статьях, отдельных заметках и т. д., включая примечания и "реплики" в ходе обсуждения других проблем; общий обзор таких работ был сделан на предварительном этапе работы над ЭСИЯ, см. [Эдельман 1994: 62]. Теперь к этимологическому фонду можно добавить вышедшие позднее словари [Gharib 1995; Стеблин-Каменский 1999; Цаболов 2001].

Следует оговориться, что не все этимологии, опубликованные в разных трудах, в одинаковой степени аргументированы, некоторые нуждаются в проверке и коррекции. Не все реконструкции имеют одинаковую хронологическую глубину, то есть не все этимологически родственные слова разных иранских языков в разных трудах соотнесены с прототипами одного и того же хронологического среза и древней ареальной приуроченности. Например, в некоторых работах слова среднеперсидского языка или современных персидского и таджикского возводятся к древнеперсидскому слову-предшественнику, ягнобские слова – к соответствующим согдийским, курдские – к древнеиранскому, слова некоторых памирских языков – к древнему восточноиранскому диалекту или к предположительному промежуточному состоянию между древним и современным состоянием языка, слова хотаносакского языка – к праиранскому или даже индоевропейскому; в ряде работ этимологическая часть состоит в сравнении с родственным авестийским словом и т. д. Такие этимологии вполне правомерны при изучении истории каждого конкретного языка, включая его историческую лексикологию, однако для реконструкции праиранских лексических элементов, общих для разных иранских языков, они далеко не всегда достаточны. К тому же этимологии некоторых слов у разных исследователей могут не совпадать. См., например, обзор разных мнений об этимологии ряда осетинских слов в [Абаев 1965: 6–14], разную трактовку этимологий некоторых хотаносакских слов в работах [Bailey 1979] и [Emmerick 1968; Emmerick, Skjærvø 1982; 1987] и т. д.

Тем не менее сведéние наиболее достоверных или убедительно аргументированных этимологий в единую систему на данном этапе наших знаний об истории иранских языков представляет собой трудную, но в целом выполнимую задачу.

За годы работы в области диалектологии и описания малоизученных или не описанных ранее языков, а также работы в области сравнительно-исторического, историко-типологического и ареального изучения иранских (и родственных им или смежных с

ними ареально) языков[2] составители ЭСИЯ собрали большие этимологические картотеки конкретных слов разных иранских языков (В.С. Расторгуева – в основном западноиранских, Д.И. Эдельман – в основном восточноиранских); многие из этих этимологий ждут своей публикации. В ходе работы над словарем разрабатываются и новые этимологии, которые также нуждаются в систематизации в рамках единого этимологического словаря. Естественно, ЭСИЯ не может претендовать на полноту охвата всех продолжений каждого общеиранского корня или основы – более или менее полный словарь может быть составлен на протяжении многих лет большим коллективом ученых. Он не претендует и на охват всех слов каждого иранского языка – это задача этимологических словарей конкретных иранских языков.

2. ЭСИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРАИРАНСКОГО ЛЕКСИКОНА

Главной и первой целью работы над ЭСИЯ стала попытка реконструкции действительно праязыковых лексических элементов – прототипов исконных иранских слов – и, тем самым, попытка выявления праиранского лексического фонда. Для этого требовалось составление сводного систематизированного корпуса таких лексических элементов, которые могли функционировать в единый для всей семьи праязыковой период и которые стали прототипами для этимологически родственных слов разных иранских языков, живых и вымерших.

Для работы над словарем, помимо собранных этимологий, была подготовлена теоретическая и методическая база: к этому подводили исследования последних десятилетий, посвященные не только собственно этимологии слов иранских языков, но и системному изучению истории иранских языков в целом, а именно, исследованию их структуры не только в сравнительно-историческом, но и в историко-типологическом и ареальном аспектах. Это способствовало уточнению представления о системе реконструируемого общеиранского праязыкового состояния и дало возможность сделать более четким представление о фонологическом и фонетическом облике, о внутренней форме реконструируемых лексических единиц, об их возможной диалектной отнесенности.

В частности, удалось существенно откорректировать наши представления об общеиранской праязыковой фонетической и фонологической системах, о словообразовательных и словоизменительных особенностях многих слов, об ареальной, хронологической и жанровой стратификации праязыкового состояния, в том числе и в системе лексики.

Как известно, классическая индоевропеистика и входящая в нее как составная часть иранистика XIX – начала XX в. базировалась в своих реконструкциях праязыковых элементов и праязыковой системы в целом главным образом на фактах языков древних памятников. Общеиранская праязыковая система реконструировалась в основном на базе языков Авесты и древнеперсидского. Данные живых языков использовались в значительно меньшей степени, почти совсем не привлекались данные "малых" бесписьменных языков и диалектов (многие из них еще не были известны в тот период). Вместе с тем, некоторые "отклонения" в живых языках от классической схемы развития, как оказалось, далеко не всегда обусловлены инновациями: иногда они являются архаизмами или рефлексами наиболее архаичного общеиранского облика слов. При этом "малые" живые языки, особенно бытующие в условиях относительной изоляции или являющиеся "непрестижными" в том или ином регионе, подчас хранят рефлексы более архаичного состояния, чем то, которое зафиксировано в языках памятников (подробнее о таких явлениях см. [Эдельман 1996]).

---

[2] См., например [Расторгуева 1964; 1990; Эдельман 1968; 1971; 1986; 1990; Edelman 1983], а также статьи в журналах и сборниках, разделы в коллективных трудах [Опыт 1975; Основы 1979–1997].

Учет этого обстоятельства и обработка таких "рудиментарных" данных живых языков сыграли большую роль в реконструкции фонетической, фонологической, морфологической системы праиранского состояния и тем самым дали возможность уточнить этапы филиации арийской и затем иранской семьи. Выяснилось, что действительно общая для всех иранских языков праязыковая система оказалась более архаичной и в большей степени "отодвинутой" к общеарийскому состоянию, чем та, которая традиционно базировалась лишь на материале древнеиранских памятников. Подробнее об этой системе см. [Эдельман 1982; 1986: 24–57; 1992; 2000: 12–17], здесь же достаточно упомянуть, например, что рефлексы индоевропейских палатальных согласных *$\hat{k}$, *$\hat{g}$, *$\hat{g}h$, прошедшие через этап поздних общеарийских *$ć$, *j, *jh, в общеиранском состоянии еще не подверглись полной ассибиляции (т. е. не стали еще полностью "свистящими" сибилянтами *s*, *z*), а находились на стадии "свистяще-шипящих" *$ś$ и *$ź$. Впоследствии в разных регионах общеиранского праязыкового континуума они отразились несколько различно: если в центральном ареале они действительно относительно рано перешли в разряд "свистящих" сибилянтов **s*, **z*, то в окраинных диалектах эта инновация произошла не сразу, а в некоторых из них рефлексы индоевропейских палатальных трансформировались иначе. Благодаря этому теперь мы можем различать, например, рефлексы индоевропейских *$\hat{k}$ и **s* в начале и середине слова и в составе определенных консонантных групп. Переход индоевропейского **s* в праиранское **h*, который считался глобальным для иранской языковой семьи, оказался свойственным лишь отдельным позиционным вариантам; некоторые фонемы в разных ареалах праиранского диалектного континуума реализовались фонетически неодинаково и имели различные фонологические результаты и т.п.

При этом стало особенно очевидно, что "классические" прототипы слов, выведенные из фонетического облика авестийского и древнеперсидского материала, не всегда отражают действительно наиболее архаичный праиранский облик лексем, а часто представляют собой один из древних диалектных вариантов. Ср., например, продолжения и.-е. **putlo-* 'сын', **trei-* 'три' с сохранением консонантной группы **tr* в др.-инд. *putrá-*, *tray-*, при спирантизации первого компонента, как считалось, в праиранском, ср. авест. *puθra-* 'сын', *θray-* 'три', *θritiya-* 'третий', и при дальнейшем стяжении в *ç* в др.-перс. *puça-* 'сын', **çi-* – в порядковом числительном *çitīya-* 'третий' и т.д. Однако отдельные восточноиранские языки сохраняют группу **tr* относительно долго: либо до настоящего времени, как в ваханском *pətr* 'сын', *tru(y)* 'три', либо, преобразовывая ее таким образом, который не подразумевает промежуточной ступени, в виде спирантизации первого согласного. Сюда относятся, например, пашто *dre* 'три', хотаносакский *drai*, *draya* 'три' – с озвончением более раннего **t-* (по аналогии с **duja-* 'два'); язг. *рос* 'сын', *cůy* 'три' (с сохранением смычного элемента при стяжении группы **tr*); шугн. *puc* 'сын' < **putra-*, но *aray* 'три' < **θraiah-*. Последний пример подчеркивает относительно поздний, не общеиранский характер этой спирантизации, являющейся не "фонетическим законом", а тенденцией, зависимой от вторичной фонемной синтагматики разных иранских языков (подробнее см. [Эдельман 1986: 23–65]).

Все это диктовало способ подачи в ЭСИЯ реконструируемых единиц наиболее архаичной общеиранской лексики.

Кроме того, когда стало ясно, что наиболее древняя праязыковая система представляла собой не монолитный "ствол генеалогического древа", а некий континуум говоров и диалектов, с определенными ареальными вариантами на фонетическом, фонологическом и морфологическом уровнях, то естественно стало ожидать их и на уровне лексики. Это подтвердилось затем в ходе работы над словарем. К тому же, учитывая специфику лексического уровня – наиболее тесную связь с содержательной стороной языка, можно было предположить *a priori* существование ареальных лексических вариантов не только в виде наличия или отсутствия той или иной лексической единицы в том или ином регионе праиранского континуума, но и в виде семантических элементов, вариантов, оттенков, свойственных слову в одном регионе, но не свойственных в другом.

В связи с этим уже на подготовительном этапе определилась необходимость учета принципов семантической реконструкции лексем столь же раннего общеиранского праязыкового хронологического уровня, что и их реконструированный фонетический облик, фонологический состав и словообразовательные модели. Большую помощь оказали общетеоретические и методические исследования в области семантической реконструкции: они стимулировали особо пристальное внимание к этой проблеме в исторической лексикологии иранских языков и в определении места того или иного реконструируемого слова в лексической системе праязыка, что оказалось далеко не просто, о чем будет сказано ниже.

Вместе с тем, некоторые лексические различия, которые считались прежде различиями между генетическими группами иранских языков, в действительности оказались не связаными с генетической дивергенцией иранской языковой семьи. Не все ареальные разновидности праязыкового континуума продолжились позднее, при последующей дивергенции иранских языков, в качестве вторичных "праязыков" генетических групп и подгрупп, что отразилось и в лексике. Поэтому, в частности, считавшиеся традиционно привязанными к определенным генетическим группам различные названия рыбы (продолжений прототипа **kapa-* в восточной группе и слов типа перс. *måhi*, восходящих к **matsi̯a-*, – в западной), собаки (продолжений **spaka-*, точнее **śu̯a-ka-* в западной группе и **kuti-*, точнее **kuta-* м.р., **kutī-* ж.р. – в восточной) и некоторые другие оказались на деле присущими языкам и той, и другой генетической группы.

3. ИРАНСКАЯ БАЗА СЛОВАРЯ

Предполагается, что для словаря такого типа важен охват возможно более полного состава исконных лексем-прототипов, которые продолжились в разных иранских языках. При этом желательно, чтобы рефлексы этих лексем прослеживались в языках, относящихся к разным ареалам иранского мира и к разным генетическим подгруппам. Это делает более доказательным существование данной лексемы в праиранским состоянии или, во всяком случае, в разных ареалах праязыкового континуума. Приходится, однако, мириться с неизбежными лакунами, которые объясняются либо недостаточностью известного материала того или иного языка (например, отсутствием фиксации слова в текстах вымерших языков, отсутствием словарей некоторых живых языков и диалектов), либо утратой слова в каком-либо языке при замене его инновационным собственным словом или заимствованием.

Поскольку рефлексы праиранских основ и корней прослеживаются в языках разных эпох, в ЭСИЯ входит материал, относящийся к разным языковым периодам. Рассматривается лексикон: 1) языков древнего периода как зафиксированный в памятниках письменности (авестийский, древнеперсидский, хотя их тексты количественно и жанрово ограничены и представляют далеко не полный объем имевшейся в те периоды лексики), так и дошедший до нас в "побочных источниках" в виде заимствований из иранских языков (мидийского, древнеперсидского, скифо-сарматских диалектов) в соседние, принадлежащие другим семьям, включая неиндоевропейские; 2) так называемых "среднеиранских языков" – в памятниках письменности (среднеперсидского, парфянского, согдийского, хорезмийского, бактрийского, сакских языков или диалектов) и в виде заимствований в другие языки; 3) современных живых языков как имеющих разновременные письменные традиции (например, персидский, таджикский, курдский, пашто, осетинский), так и бесписьменных языков и диалектов (языки и диалекты Памира, ягнобский, мунджанский, малые языки и диалекты Центрального Ирана и др.). Следует подчеркнуть, что ценный лексический материал содержится также в лексике "островных" языков и даже в диалектной лексике крупных литературных языков. Зачастую этот материал не фиксируется в "стандартных" словарях, ориентированных на литературную норму. См., например, таджикские диалектные *sinhor*, *sinor*, *sunor*, *sənor* 'невестка' (в южных говорах Бадахшана, Ванджа, Дарваза), связанные (возможно, через субстратные восточноиранские местные языки и через уподобление терминам родства на

*-*tar*) с праиранским **snušā-* 'сноха, невестка' (< и.-е. **snusó-*), в то время как в литературном таджикском языке в этом значении употребительны заимствованные *kelin, arůs* (в северных говорах также заимствованное *yanga*). Ср. также таджикские диалектные *gawbon, gowbon* 'пастух', *gawbonak, gowbonak* 'пастушок', которые сохраняются также в фольклоре некоторых народов Памира (главным образом, в таджикоязычных песенных вставках в сказки), например, язгулямские *gubon* 'пастух', *gubonak* 'пастушок', шугнанские *gōw-bůn* (пастух), *gōw-bůn(ak)* 'пастушок'. В таджикском эти слова восходят соответственно к древним **gau-pāna-* и **gāu̯(a)-pāna-* 'коров // быков оберегающий' (о раннем широком распространении вариантов этого слова свидетельствует заимствование его из скифского в западнославянские языки в форме **gърапъ*, см. [Трубачев 1967: 71–75; ЭССЯ, 7: 197–198]). При этом в современном литературном таджикском языке это слово вытеснено другими названиями пастуха, образованными от других основ с тем же компонентом *-bon*, продолжающим **-pāna-* (*čupon, šubon, podabon*).

Учет всего этого материала показал, что исконный иранский лексический фонд значительно шире и богаче, чем тот, продолжения которого засвидетельствованы в текстах вымерших языков и в словарях крупных литературных языков.

В ЭСИЯ анализируются слова исконного иранского происхождения. Заимствования из неиранской среды, даже в древнеиранские языки, в него на входят. Основной базой служат слова, исконные для каждого иранского языка, однако в некоторых случаях рассматриваются также заимствования из одних иранских языков в другие, особенно когда они способствуют полноте охвата древнейшего иранского лексического фонда. Так, учитываются отдельные заимствования из вымерших языков, фиксируемые в диалектной лексике живых: например согдийские слова, дошедшие до нас в виде заимствований в говоры таджикского языка [Henning 1977, I: 639–652; Хромов 1965].

Существенный вклад представляют заимствования из "крупных", "престижных" в том или ином регионе языков в другие. Таковы, например, заимствования из персидского, таджикского, дари в иранские языки Средней Азии (особенно в памирские) и Центральной Азии (особенно в пашто, мунджанский), персидские заимствования в курдский, заимствования из пашто в языки парачи и ормури и др. Это особенно важно в случаях, когда они становятся общими для ареала, входят в разряд "ареальной лексики", вытесняя исконные. Тем более необходим их учет в случаях, когда в языке-источнике данное слово уже утрачено.

Учитываются и такие слова, особенно в "малых" языках, которые могли быть результатом не прямого заимствования, а контаминации исконного слова со сходным заимствованным словом, уподобления ему по звучанию или по семантике.

Все такие "нестандартные" случаи специально оговариваются.

Таким образом, источниками материала иранских языков послужили словари, грамматики, а также роспись текстов, включая литературные и фольклорные издания. Использовалась лексика, приводимая в многочисленных книгах и статьях по разным языкам, диалектам, говорам, а также в собственных полевых записях, сделанных в разные годы.

Источниками этимологий явились опубликованные труды, на которые в ЭСИЯ приводятся ссылки, а также собственные этимологические разработки авторов.

Так обеспечивалась первая цель ЭСИЯ – собрать в единый систематизированный корпус реконструированные праиранские лексические единицы.

4. ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ КОРПУС ИРАНСКОЙ ЛЕКСИКИ КАК ЧАСТЬ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Поскольку иранская языковая семья представляет собой одну из "ветвей" арийской семьи, а та, в свою очередь, – одну из ветвей группы "сатэм" большой индоевропейской семьи, второй целью ЭСИЯ было включение иранского этимологического фонда в единую общую индоевропейскую этимологическую систему в качестве ее "подсистемы". Тем самым ЭСИЯ мог бы стать источником систематизированной этимологи-

ческой информации об иранском лексическом фонде, наглядным не только для иранистов, но и для исследователей других индоевропейских языков.

Серьезной опорой в работе над ЭСИЯ в данном аспекте явились успехи индоевропейского языкознания в целом и в разных его отраслях, включая (что особенно важно для нас) смежные с иранистикой области изучения истории индоарийских и балто-славянских языков. Все труды в этой области, даже когда в них не рассматривается собственно иранский материал, помогают, тем не менее, созданию прочной базы для этимологического анализа иранской лексики, поскольку они многократно увеличивают глубину реконструкции, выявляя этимологическое родство целого ряда иранских лексем, уже не сводимых в единое "гнездо" к праиранскому состоянию.

Стимулом к большой предварительной разработке методики и приемов подачи материала в ЭСИЯ послужили многие публикации и дискуссии о этимологических исследованиях языков разных семей и о принципах создания этимологических словарей.

Все сказанное выше предопределило принцип организации этимологий в ЭСИЯ, состав словаря, а также состав и композицию словарной статьи.

5. СТРУКТУРА СЛОВАРЯ И СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ

Учитывая разноцелевую направленность ЭСИЯ: а) систематизацию иранского этимологического фонда и б) включение его в общеиндоевропейский этимологический фонд, – особого внимания потребовал выбор принципа подачи материала и разработки структуры словарной статьи.

Первоначально он задумывался как перечень основных лексических единиц: корней, отдельных основ и некоторых цельнооформленных слов праиранского состояния, без подробной разработки словарной статьи. Однако уже в начале работы над словарными статьями стало ясно, что даже в таком перечне каждая реконструируемая лексическая единица должна быть подтверждена конкретным материалом тех или иных иранских языков, и чем шире круг языков и языковых групп, где налицо ее рефлексы, тем нагляднее ее существование в лексической системе всего праиранского континуума или его большей части. Ограничение содержания словарной статьи рефлексами в одном языке или даже в одной подгруппе языков иранской семьи может создать впечатление, что эта единица архаичная, отмирающая (если сохранилась только в древних памятниках) или относительно поздняя, или принадлежит к региональной лексике (что тоже возможно, учитывая ареальную разбросанность иранских языков и вхождение ряда из них в разные вторичные ареальные конвергентные образования типа языковых союзов). В результате этих соображений, а также накопленного большого этимологического фонда разных иранских языков задуманный основной список, или "корнеслов", перерос запланированные рамки и стал уже на подготовительной стадии словником этимологического словаря.

Словарь построен по преимущественно корневому принципу (об исключениях см. ниже). О трудностях и опасностях корневого принципа (чреватого совпадениями, попаданием рефлексов отдельных слов в "чужую" статью и т. п.) было известно. Известен был и другой вариант построения – по принципу производных основ, слов и даже отдельных словоформ, проводимому в некоторых этимологических словарях, см. например, "Этимологический словарь славянских языков" [ЭССЯ] или "Сравнительно-исторический индоевропейский словарь" С. Манна [Mann 1984]. Тем не менее, в нашем случае, особенно на первом этапе систематизации, пословный принцип был невозможен по ряду причин.

Во-первых, иранские языки разошлись между собой намного раньше, а главное, – в лингвистическом отношении глубже, чем, например, славянские. "Распад" общеиранского праязыкового состояния может быть отнесен к периоду не позднее рубежа III–II тыс. до н. э. Это имеет косвенное историческое подтверждение в виде датировки зарождения зороастризма – проповедей Заратуштры и соответственно создания древнейшего ираноязычного памятника Авесты, которое относят к началу или к исходу II тыс. до н. э. Для нас важно то, что язык Авесты уже заметно отличен от праязыкового состояния и, сле-

довательно, отодвинут от него во времени. А за четыре тысячелетия, прошедшие между праязыковым состоянием и современными языками, лексические системы изменились настолько, что рефлексы конкретных праязыковых слов и основ далеко не всегда отождествимы, к тому же не все они сохранились. Проследить же процессы этих трансформаций для подавляющего большинства иранских языков не позволяет отсутствие письменных свидетельств.

Во-вторых, в таких условиях отождествление производных основ, слов и даже некоторых словоформ, как это возможно, например, для славянских языков, без предварительного установления этимологического единства их смыслонесущих элементов: корней и отдельных основ, – могло привести (и приводило некоторых исследователей) к ошибочным выводам о родственности слов на основании их сходства, иногда вторичного.

В-третьих, благодаря раннему распространению на огромные территории и очень различным видам материальной и типологической перестройки (см. [Эдельман 1968: карты; Опыт 1975; Основы 1979–1997]), расхождение иранских языков, особенно в сферах морфолого-синтаксических структур и словообразования, глубже, чем даже расхождения между древними индоевропейскими языками. Здесь выработаны по разным языкам новые словообразовательные модели и средства (см., например, вторичные глаголы – деноминативы и девербативы с суффиксом *-īd* в классическом персидском языке, продолженные затем в современных персидском, таджикском и дари языках; сложноименные глаголы в большинстве иранских языков, образуемые не только от имен, но и от глагольных основ и т.п.).

К тому же новые модели не всегда исконны: в разных регионах ареала современного и исторического распространения иранских языков имеются весьма заметные различающиеся субстратные словообразовательные модели, при том, что материал может быть и исконным. Таковы, в частности, новые слова, состоящие из индоевропейского или общеиранского материала, которые являются не только относительно поздними, но и построенными согласно моделям субстратного происхождения, представляя лексические единицы, которых и не должно было существовать в общеиранском и тем более в индоевропейском состоянии.

Это касается даже слов, относимых обычно к центральной, или так называемой ядерной, лексике (в иных терминах – к основному словарному фонду). Например, местоимения 2-го лица мн. числа в большинстве юго-восточных иранских языков, как и в соседних с ними индоарийских и дардских языках, построенные по моделям **ta//tu-mă̆x* (в иранских языках), **ta-smā* (в индоарийских и дардских), вторая часть которых унаследована из парадигмы старых личных местоимений мн. ч., при сохранении ее в парадигме местоимения 1-го лица мн. числа (праиран. **ahmākam* > **amaxam* > **māx*): ср. язг. *mox* 'мы' ~ *təmox* 'вы', аналогично барт. *māš* ~ *tamāš*, ишк. *mъх(o)* ~ *tъmъх* и т.п. При этом первая часть данных сложений представляет своего рода препозитивный детерминатив 2-го лица, продолжающий этимологически основу древнего местоимения 2-го лица ед. числа (ср. ном. **tuu̯am*, ген. **tau̯a*). Эти сложения, лексикализовавшиеся в части иранских и ареально примыкающих к ним индоарийских и дардских языках относительно поздно, параллельно и независимо, представляют собой варианты единой ареальной модели, возникшей, по-видимому, под воздействием общего субстратного построения местоимений мн. числа от основ местоимений ед. числа при помощи постпозитивных формантов (подробнее см. [Эдельман 1971; 1990: 209–213], там же материал и предшествовавшая литература).

В качестве примера образования имен из исконного материала, но по субстратной модели, можно привести ваханские *brin*, *bᵊrin* 'колено' и *brət* 'локоть', включающие в качестве начального компонента *b-* – рефлекс числительного **d(u)u̯a-* 'два', – модель, свойственная названиям парных частей тела в языке бурушаски [Стеблин–Каменский 1979; 1999: 102–103]. Субстратные модели отразились в способах построений числительных второго десятка в виде последовательности "10 + 1" взамен древней "1 + 10" и во многих других производных словах.

В-четвертых, даже в случаях утраты древними лексемами статуса самостоятельного слова в живых иранских языках, их рефлексы прослеживаются иногда в сложных словах в виде компонентов, ценных именно для реконструкции праиранской лексики [Абаев 1983: 75–84]. При корневой организации словаря такие сложные слова, даже инновационные, помогают выявлению единиц древнейшего праиранского лексикона, при пословной же структуре многие из них были бы упущены.

Таким образом, при пословном варианте ЭСИЯ мы сохранили бы слова древних иранских языков, относительно недалеко отошедшие от прототипов (а таких слов, учитывая ограниченность текстов, не так уж много), но огромный массив исконных корней, основ и слов, засвидетельствованных в более поздних языках, остался бы вне рассмотрения.

Поэтому выбран был преимущественно корневой принцип, а реконструируемые наиболее древние производные основы и отдельные целые словоформы, относящиеся к определенному корню и имеющие рефлексы в разных иранских языках, помещены внутрь словарной статьи, однако выделены шрифтом. Тем самым, был достигнут некий компромиссный вариант, учитывающий и корни, и производные основы с их соответствиями в древнеиндийском и других индоевропейских языках, восходящие в некоторых случаях к индоевропейскому состоянию, то есть, согласно терминологии О.Н. Трубачева, "цельнолексемные параллели", см. [Трубачев 1974: 8; 1994: 89–90].

Итак в качестве заглавного элемента словарной статьи выступает реконструированная праиранская смыслонесущая единица, представлять которую могут следующие лексические элементы:

1) корень (глагольный, именной или образующий разные части речи); эти статьи включают в себя также наиболее существенные производные прототипы;

2) основа – чаще всего именная (то есть основы существительных, прилагательных, местоимений, числительных), также с наиболее существенными производными;

3) слово, если оно неизменяемо (частицы, небольшое количество первичных наречий, отдельные дейктические элементы), также с наиболее существенными производными.

Словарные статьи расположены в алфавитном порядке.

При рассмотрении производных внутри словарной статьи, особенно производных с именной семантикой и соответствующей структурой, делается попытка их хронологического размежевания: а) древние доиранские производные, имеющие параллели в других индоевропейских языках, как минимум, в арийских, с зафиксированными параллелями в древнеиндийском языке (иногда также в нуристанских или дардских); б) общеиранские или, во всяком случае, достаточно древние, разделяемые несколькими иранскими языками, принадлежащими к разным группам, либо засвидетельствованные в древних памятниках; в) вторичные, относительно поздние, возникновение которых может быть соотнесено с небольшими "праязыками" для отдельных подгрупп иранских языков или с ранним состоянием единичных языков; г) поздние новообразования в отдельных языках, в том числе в наше время. Четкое хронологическое разграничение возникновения вторичных производных слов удается не всегда: продуктивность словообразовательных моделей и реализующих их элементов в разных иранских языках в различные периоды неодинакова. Однако группы (а) и (б) по возможности выявляются и выделяются шрифтом.

Такой компромиссный принцип организации материала позволяет представить в рамках единой словарной статьи производные слова разной степени архаичности. Это делает наглядными не только явные сходства, но и так называемые глубинные этимологические связи слов (о терминах см. [Watkins 1990: 291–295]) и их индоевропейские истоки.

Представляется, что этот принцип, корневой в своей основе, но учитывающий, там, где это возможно, и наиболее существенные производные основы и слова, был самым целесообразным на данном этапе – первичного свода и систематизации иранского этимологического корпуса. Он не отменяет создания последующих "пословных" этимо-

логических словарей, если таковые удастся построить для иранской семьи в будущем (хотя есть определенные опасения, что бóльшая, если не большая часть его статей будет охватывать региональные лексемы, к тому же не всегда синхронные друг другу). Более того, настоящий словарь может послужить для них фундаментом.

В отдельных случаях внутри словарной статьи приводятся также устойчивые словосочетания, имеющие параллели в других индоевропейских языках, прежде всего – в древнеиндийском, особенно в ведических текстах (например, авест. гат. *daēvō-zušta-* первоначально 'угодный Богу, приверженец Бога', ср. др.-инд. ведич. *devá-juṣta-* 'приверженец Бога', противопоставление авест. *daēva- ~ mašya-* 'Бог' ~ 'человек', ср. др.-инд. ведич. *devá- ~ mártya-* – то же [Mayrhofer 1992: 743]), которые бывают нужны для уточнения значения праиранского слова в наиболее раннюю эпоху (см. об этом ниже).

Наиболее существенные производные слова, выделившиеся в доиранскую эпоху или в раннем состоянии праиранского периода и далеко отошедшие в семантическом плане от первичного смыслового элемента, выносятся в определенных случаях в отдельную словарную статью, с отсылкой к статье, посвященной производящему элементу – корню или первичной основе. Например, **būti-* – имя божества (?) [ЭСИЯ 2: 191], связанное с корнем **^{l}bau-* : *bū-* 'быть; делаться, становиться' из и.-е. **bheu-*, **bheu̯ə-* 'расти, развиваться; делаться, становиться; быть' [ЭСИЯ 2: 128 и сл.]; **čašman-* 'глаз' [ЭСИЯ 2: 238 и сл.], связанное с глаголом **čaš-* (из более раннего **čaśś-*) 'смотреть, видеть; показывать(ся)', родственного в свою очередь праиранскому **kaś-* 'смотреть, видеть' (подробнее см. [ЭСИЯ 2: 235, 238])[3].

Подача материала разных языков в словарной статье структурирована следующим образом. Словарная статья в максимальном варианте состоит из нескольких полей.

Первое поле (ему соответствует обычно первый абзац, иногда с пояснениями во втором абзаце) включает заглавный элемент – это общеиранская (праиранская) реконструированная словарная смысловая единица (выделенная шрифтом): корень, основа, или цельное слово, с переводом ее значения на русский язык или толкованием; здесь же дается по возможности ретроспективная часть ее этимологии: сведения об общеарийском прототипе (с параллелями из древнеиндийского языка) и далее – об индоевропейском прототипе (с параллелями из других индоевропейских языков). При необходимости обсуждения вариантов реконструированного корня, как и при рассмотрении различающихся мнений разных исследователей о ранней реконструкции, к этой части делается примечание, помещаемое в конце словарной статьи.

Второе и следующие поля (начиная со второго абзаца) посвящены проспективной части этимологии – собственно иранским продолжениям общеиранского прототипа.

Во втором поле приводится зафиксированный материал древнеиранских языков – языка Авесты, древнеперсидского и мидийского, в ряде случаев – скифского. Этот материал до некоторой степени верифицирует "заглавную" реконструкцию.

Остальные поля представляют материал более поздних языков – живых и вымерших, распределенных согласно их принадлежности к генетическим подгруппам.

Обычно при наличии достаточного материала третье и четвертое поля посвящены соответственно генетическим подгруппам западноиранской группы (третье – юго-за-

---

[3] См. также именные основы, сформировавшиеся в доиранскую эпоху от единого корня не одновременно, но существовавшие параллельно (возможно, в разных регионах) в праиранском лексиконе: 1) **anguli-*, **anguri-* 'палец (руки и ноги)', восходящее к и.-е. **anguli-*, образованному от и.-е. **ang(u)-* 'сустав, угол' (от корня **ang-*, **ank-* 'сгибать(-ся)') и имеющее как аналогии в других индоевропейских языках, так и продолжения в малых живых иранских языках и диалектах, и 2) **angušta-*, **angušti-* с тем же значением, восходящее к тому же индоевропейскому прототипу, но образованное позднее (предположительно в общеарийскую эпоху) по модели, соответствующей превосходной степени, и обозначавшее первоначально 'большой палец' (ср. др.-инд. *aṅgúṣṭhá-*, позднее *aṅgúṣṭha-* 'большой палец'); продолжения его употребительны в подавляющем большинстве живых и вымерших иранских языков в значении 'палец' [Эдельман 1996: 236; ЭСИЯ 1: 168–171].

падной, четвертое – северо-западной); пятое и шестое поля аналогично представляют восточноиранский материал (пятое – материал условно выделяемой северо-восточной подгруппы, шестое – юго-восточной).

Такое расположение полей относительно друг друга диктуется историей иранских языков и различной степенью разработанности этимологий по разным группам и подгруппам иранских языков. История юго-западных языков изучена в целом значительно глубже, чем история северо-западных, благодаря как наличию письменных памятников разных хронологических и лингвистических периодов, так и (что производно) существованию длительной традиции их сравнительно-исторического изучения. "Обратный" порядок представления материала восточноиранских языков (от северных к южным) объясняется сходными причинами, а также тем фактом, что исторические контакты западных и восточных иранских языков коснулись раньше всего северной подгруппы последних (здесь наибольшее количество ранних взаимных заимствований, которые оговариваются особо). Юго-восточная группа подверглась значительно большей ранней изоляции от других представителей иранского языкового мира и большей дивергенции. Контакты составляющих ее языков с языками западной группы носят относительно поздний характер, хотя и весьма интенсивный. В основном результатами этих контактов являются многочисленные заимствования в восточноиранских языках из "престижных" в данных регионах персидского, дари и таджикского языков.

Внутри каждого из полей также соблюдается определенный порядок расположения материала по генетическим группам и подгруппам внутри них. Однако здесь возможны варианты, обусловленные историей конкретных лексических единиц.

Рассмотрение в словарных статьях конкретных основ и слов имеет определенную специфику, связанную с учетом словообразовательной и грамматической системы того или иного хронологического среза, включая праиранский, и с характером семантико-грамматического характера производных основ и слов.

Так, при анализе древних существительных грамматический род указывается в тех случаях, когда он является существенным для этимологии и семантики слова, а также тогда, когда род древнего существительного предопределяет исход основы, что отражается затем в фонетическом или морфологическом облике слова, в типах позднейших перегласовок основ в ряде языков (хотя и далеко не во всех). Например, для ряда языков, особенно восточноиранской группы, характерны перегласовки корня по принципу *a*-умлаута в рефлексах основ на **-ā* и *i*-умлаута в рефлексах основ на **-ī*, **-i*. Такие перегласовки во многих именах и причастиях связаны с формами женского рода. Особый тип отражения характерен для терминов родства на **-tar-*, основы которых в ряде языков закрепляются в том виде, в котором они обычно выступают в звательных вариантах слова (например, в виде рефлексов древнего вокатива, более позднего косвенного падежа, вторичной специальной звательной форме, подробнее см. [Эдельман 1999: 101–105], в качестве образца см. лексему **brātar-* 'брат; член большой семьи; кровный родственник' [ЭСИЯ 2: 178 и сл.]).

Некоторые разряды местоимений (личные и указательные), как известно, имели в общеиранском состоянии (что продолжилось и в последующие эпохи) супплетивные парадигмы, например, личное местоимение 1-го лица ед. числа ном. **aźam*, с основой в косвенных падежах **ma-*. В ЭСИЯ эти основы рассматриваются в разных словарных статьях, но с отсылками к тем статьям, где представлена "парная" основа. Учитывается также, что для некоторых указательных местоимений такое сведéние в единую праязыковую парадигму разных основ является данью традиции и отражает, возможно, их диалектное "сцепление", свойственное не всему общеиранскому континууму (особенно это касается праиранских основ **ha-* < и.-е. **so-* и праиран. **ta-* < и.-е. **to-*, а также образованных ранним сращением их с **ai-*: праиранских **aiša-* и **aita-*), подробнее о них см. [Эдельман 1990: 57, 214 и сл.]). Сомнительные случаи оговариваются особо.

Особую трудность для композиции представили статьи, содержащие корни и основы, обозначающие действие или состояние, то есть практически – с глагольной семантикой. Здесь приходится ориентироваться на "усредненное" значение корня, а также на

элементы глагольной морфологии и словообразования, поскольку такие элементы значения, как переходность/непереходность глагола, длительность/краткость, иногда – направление действия, начало состояния и прочие, в древних иранских языках и в праязыке зависят от классов презентных основ, от наличия и характера превербов и т.д., то есть реализуются различными способами, находящимися между формо- и словообразованием. Так, например, здесь различаются, с одной стороны, – так называемые каузативные основы (с подъемом огласовки, с суффиксом **-a̯ia-*) с действительно каузативным или с переходным значением; основы с назальными элементами, которые во многих иранских языках продолжились чаще всего с переходным значением (что сказалось на их словоизменительных парадигмах и на создании ими определенных синтаксических структур), а с другой стороны, – так называемые "пассивные" основы на **-i̯a* (которые часто были не пассивными, а просто непереходными), "инхоативные" на **-ŝa* (из и.-е. **-sk̑e/o*) и некоторые другие, рефлексы которых имеют чаще всего непереходное значение и соответствующие типы спряжения (и образуют соответствующие синтаксические структуры). Уже одно это различие требовало указывать при представлении глаголов в живых и вымерших иранских языках их древние прототипы, чтобы прояснить становление этих основ, форм и их семантики, хотя композиционная "стройность" словарной статьи при этом выдерживается не всегда.

Определенную специфику имеет также подача материала глаголов в разных языках. Для большинства иранских языков наиболее удобно традиционно принятое представление глагольных лексем в виде основы настоящего времени (происходящей из древней презентной или уподобленной ей) и – через двоеточие – основы прошедшего времени. Последняя в подавляющем большинстве языков является продолжением древнего так называемого "перфектного" причастия на **-ta-*, а в отдельных языках, например, в ваханском, также причастия на **-na-*, в единичных глаголах в ряде иранских языков – причастия на **-u̯a-*; отмечаются и вторичные основы прошедшего времени, построенные по аналогии к древним.

При этом древние причастия на **-ta* в ряде статей требуют особого внимания, поскольку они могут иметь рефлексами не только основы прошедшего времени, входящие в глагольную парадигму, но и имена прилагательные и существительные с соответствующей морфологией. Иногда это вызывает вторичные, но весьма древние, изменения в причастиях, отразившиеся затем в разных языках. Ср. например, с одной стороны, фонетически "правильное" развитие причастия праиран. **kata-* 'выкопанное, вырытое' (< и.-е. **kn̥-to-*) от корня **kan-* 'копать, рыть; вырывать' с переходом его в разряд имен: авест. *kata-* 'хижина, дом' < 'землянка' и заимствованное из иранской среды (через посредников) слав. *хата*, а с другой, – несколько видоизмененное (во избежание омонимии?) причастие с огласовкой в виде слабого или полного дифтонга, то есть **kənta-* или **kanta-*, продолженное в ряде языков в виде основ прошедшего времени глаголов 'рыть, копать; вырывать'. Ср., например, перс. *kad-* (в сложных словах) 'дом' ~ *kand* 'выкопал, выдернул', в северномпамирских языках шугн. *čīd* 'дом' ~ *čīnt* 'выкопал, выковырял', язг. *kůd* 'дом' ~ *ḱont* 'выкопал', в языке пшт. *kəlay* 'деревня' ~ *kand-*, *kind-* основа прош. времени глагола 'копать, рыть'.

В некоторых глаголах налицо супплетивное спряжение, при котором основа настоящего времени продолжает презентную основу от одного корня, а основа прошедшего времени – причастие от другого. В ряде случаев супплетивизм носил весьма ранний и распространенный характер, благодаря чему одинаковое "сцепление" основ прослеживается в языках разных генетических групп. Например, в значении 'идти, двигаться' (с разными превербами также 'уходить', 'приходить' и т.д.) в персидском, таджикском, согдийском, хорезмийском и многих других выступают: для основ настоящего времени – рефлексы презентных основ от корня **ai-*, для основ прошедшего времени – рефлексы причастий от корня **gam-*, в мунджанском языке соответственно рефлексы **ai-* и **či̯au-*, см. [ЭСИЯ 1: 110 и сл.; ЭСИЯ 2: 264]. Каждая основа таких глаголов рас-

сматривается в соответствующей статье, с отсылкой к "парной" статье, как и при рассмотрении местоимений.

В материале тех языков, в которых зафиксирован инфинитив (в условиях скудости текстов вымерших языков и недостаточности материала ряда бесписьменных живых языков отсутствие сведений об инфинитиве – не редкость) и где он может быть образован нерегулярным способом, приводится также форма инфинитива. Следует отметить, однако, что термин "инфинитив" для большинства иранских языков весьма условен: как правило, это одновременно и имя действия, "масдар", обладающий рядом именных грамматических категорий. В разных иранских языках он может восходить к разным более ранним формам. Например, в языке Авесты – это застывшая падежная форма отглагольного имени (см. [Benveniste 1935; Соколов 1979: 230–232]), в более поздних языках это либо продолжения древнего имени действия (чаще всего – с суффиксом *-*ti*-, как в славянских языках), либо новое имя действия от основы прошедшего времени (то есть, бывшего причастия), в отдельных языках – от древней презентной основы или от новой основы настоящего времени. Различия возможны даже между относительно близкородственными языками, ср., например, инфинитивы: шугн. *čīẋtōw* 'смотреть', краткая форма *čīẋt* из имени действия **kašti*- от праиранского корня **kaś*- 'смотреть, видеть', но язг. *ḱasaǰ* от основы настоящего времени из древней презентной основы этого же глагола. Поэтому инфинитив не всегда бывает показателен для отождествления глагольной лексемы, и представление материала глаголов в виде только инфинитивов затруднило бы их этимологическое сравнение.

В некоторых случаях, когда перегласовки основ и корней в разных формах глаголов на разных хронологических этапах делают эти основы трудно отождествимыми с их прототипами, в статьях приводятся конкретные глагольные формы с их этимологиями, например, хотаносакское *butte* '(он) знает' < **baudatai* от корня **baud*- 'бодрствовать; чуять, пахнуть' [ЭСИЯ 2: 139], язг. *kəẋt* '(он) делает' < **kərti* < **kərnti* < **kr̥-nau-ti* от корня **kar*- 'делать' и т. д. В случаях сходного развития древних основ и форм в нескольких близкородственных языках, то чтобы избежать повторов, прототипы приводятся после перечисления реальных форм всех этих языков, см., например, рефлексы форм от корня **čia̯u*- 'идти, двигаться' в языках шугнано-рушанской группы [ЭСИЯ 2: 264–265], хотя нагляднее было бы поместить прототипы после каждой основы и формы каждого языка, например, для шугнанского: основа наст. времени *sāw*- < **čia̯ua*-, форма 3-го л. ед. числа наст. времени *sůd* < * *čia̯uati*, основа прош. времени муж. рода *sut* < * *čiuta*-, жен. рода и мн. числа *sat* < **čiutā*- и **čiutāh*-; основа инфинитива *sit(t)*- из имени действия **čiuti*-.

6. ФОРМА ПОДАЧИ ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА

Как уже говорилось, общеиранские прототипы представлены в том фонетическом облике и с тем фонологическим составом, в котором они реконструируются для наиболее архаичного праязыкового состояния, упоминавшегося выше: соответственно с изображением рефлексов индоевропейских палатальных согласных в виде свистяще-шипящих **ś*, **ź*; рефлексов индоевропейской свистящей **s*, которая в праиранском состоянии была еще единой фонемой **s/h/z*, в виде ее позиционных фонетических вариантов; с обозначением чередований ступеней огласовок и чередований отдельных согласных (**k* – **č*, **g* – **ǰ* и др.) и т.п. Это отражено в транскрипции заглавных слов – общеиранских прототипов корней, основ и слов.

Индоевропейские прототипы и параллели из других индоевропейских языков приводятся как правило в том написании, в котором они даются в соответствующих источниках по этим языкам или в обобщающих индоевропеистических трудах. Для демонстрации ретроспективы праиранского состояния важна индоевропейская система позднейшего периода, то есть с качественными различиями гласных **e*, **a*, **o*, с оппозицией кратких и долгих гласных (т.е. **e* – **ē*, **a* – **ā*, **o* – **ō*) и аналогичных слоговых

вариантов сонантов. Ларингалы отмечаются только в случае необходимости. Смычные согласные представлены как реализующиеся по принципу "звонкая непридыхательная – звонкая придыхательная – глухая", то есть по типу **d* – **dh* – **t*. Иными словами, в ЭСИЯ в принципе соблюдается подача индоевропейских прототипов в транскрипции, принятой в [Pokorny 1959]. Более ранняя индоевропейская система, подразумевающая систему ларингалов и консонантную оппозицию "глухая (слабая или глоттализованная) – звонкая (придыхательная) – глухая (придыхательная)", типа **t'* – **d^h* – **t^h* (см. [Гамкрелидзе, Иванов Вяч.Вс. 1984, I: 15]), учитывается, но материал дается в этой нотации только в случае необходимости.

Особо следует оговорить представление огласовок в индоевропейских прототипах. Для целого ряда праиранских корней и основ, имеющих в анлауте перед первой гласной смычные **k* или **g* (то есть начинающихся на **k-*, **sk-*, **g-* и редких с анлаутом **zg-*), приходится предполагать позднюю индоевропейскую огласовку в виде не **e*, обычной для словаря Ю. Покорного, а **a* или **o* (и соответствующих долгих). Это объясняется тем фактом, что в праиранском, как и в большинстве языков группы сатэм, рефлексы индоевропейских гуттуральных (простых и лабиализованных) перед **e* представлены уже палатализованными продвинутыми в средний ряд **č*, **ǰ*. В тех праиранских лексемах, где такая палатализация не произошла, можно предположить либо огласовки типа **a*, **o* в позднем индоевропейском (возможно, диалектном) прототипе, либо раннюю праарийскую унификацию огласовок по типу **a* (в именах также **o*), сохранившую рефлексы гуттуральных в заднеязычной зоне. Ср., в этой связи праиранское **kaś-* 'смотреть, видеть' из и.-е. **k$^{\mu}$aḱ-* 'смотреть, видеть' с огласовкой **-a-* или **-o-*, но праиранские **čaš-* (< **čaśš-*) 'смотреть, видеть; показывать(ся); пробовать; обучать' и т.п., производное **čašman-* (< **čaššman-*) 'глаз' из и.-е. **k$^{\mu}$eḱ-s-* 'смотреть, видеть' с огласовкой **-e-* (см. [Pokorny 1959: 638–639; ЭСИЯ 2: 235–242]).

Конкретный материал иранских языков приводится обычно в традиционной Международной иранистической транскрипции на основе латинского алфавита с добавлением отдельных греческих букв и дополнительных транскрипционных знаков и диакритик. Это делается в целях удобства сравнения слов разных языков и доступности для читателей разных специальностей, поскольку для тех иранских языков, которые зафиксированы в письменности, используются разные графические системы: клинопись (древнеперсидский язык), разновидности арамейского письма (среднеперсидский, парфянский, согдийский, часть хорезмийского материала; авестийские тексты, записанные в среднеперсидскую эпоху), арабский алфавит с добавлением определенных знаков (большая часть хорезмийских записей, классический и современный персидский, пашто, белуджский, часть диалектов курдского языка и др.), еврейское письмо (татский язык на Северном Кавказе, тексты на диалектах таджикского и персидского языков, зафиксированные в иудейских общинах), письмо на основе индийского алфавита брахми (сакские тексты), греческий алфавит (бактрийский язык; аланская надпись), латинский (часть диалектов курдского языка), кириллический (таджикский, осетинский, курдский язык на территории бывшего СССР).

Данные тех иранских языков, фонологический строй которых установлен, приводятся в фонологической транскрипции; материал же языков, фонологический строй которых не установлен или исследован недостаточно, дается в фонетической транскрипции либо в фонологической с большой долей фонетических элементов.

Данные осетинского языка приводятся в транскрипции, принятой в трудах В.И. Абаева; в процессе унификации заменены лишь отдельные знаки.

Материал некоторых вымерших иранских языков, известный из письменных памятников и традиционно приводимый в научных трудах в транскрипции и/или в транслитерации (среднеперсидский, парфянский, согдийский, хорезмийский, бактрийский), подается в ЭСИЯ либо в том виде, в котором принята его традиционная передача (например, в общепринятой транслитерации для согдийского, но в транскрипции для среднеперсидского), либо при необходимости и в транскрипции, и в транслитерации. В последнем случае используются различающие их скобки: соответственно прямые или фигурные.

Материал сакских языков приводится в традиционной для них транслитерации. В подаче материала языка Авесты и древнеперсидского используется традиционная транскрипция, в которой, например, рефлексы общеиранских неслоговых вариантов сонантов *$\underset{\cup}{u}$ и *$\underset{\cup}{i}$ изображаются традиционными знаками *v* и *y* соответственно, а не принятыми в ряде работ последних лет по языку Авесты знаками транслитерации *uu* и *ii*. Для наглядности историко-фонетического изменения слов фонетическое представление более удобно.

Ссылки на источники опубликованных этимологий приводятся по ходу изложения, ссылки на общие работы также в конце словарной статьи.

Более подробные сведения о структуре ЭСИЯ приведены во "Введении" к 1-му тому [Эдельман 2000: 24–29].

7. СЕМАНТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ В ЭСИЯ

Особого внимания постоянно требует семантическая составляющая ЭСИЯ. Конкретные решения о семантике праязыковых лексических элементов приходится принимать при разработке почти каждой словарной статьи. Это связано с трудностями в реконструкции как значения (или круга значений) отдельного праиранского элемента-прототипа, так и семантических отношений этих элементов в относительно единой лексической системе общеиранского состояния.

Собственно, такие трудности возникают иногда и при реконструкции семантики удаленного от нас во времени слова в истории одного языка – живого (например, раннего пашто) или зафиксированного памятниками письменности (например, раннесогдийского). Ощутимы они и при анализе лексических систем праязыков для небольших генетических групп и подгрупп внутри иранской языковой семьи (например, севернопамирской группы относительно близкородственных языков). В отношении же лексической единицы праязыка для семьи таких давно и далеко (в лингвистическом и ареальном смыслах) разошедшихся языков, как иранские, дело осложняется еще и широтой диапазона позднего разброса значений. Иногда он бывает настолько широк, что трудно вычленить основные смысловые точки, которые могли бы быть спроецированы на праязыковую систему и которые были бы а) синхронны друг другу (о чем см. ниже), б) синхронны реконструированным фонетической, фонологической и морфологической системам праязыка. Эта синхронность не всегда самоочевидна, учитывая протяженность существования праязыка во времени. К тому же эти смысловые элементы предположительно должны быть характерными для той или иной лексемы на пространстве всего праязыкового диалектного континуума или во всяком случае на большей его части.

Приходится сталкиваться с методической двойственностью в реконструкции лексического элемента как языкового знака: мы можем с помощью строгих историко-фонетических и историко-морфологических процедур относительно непротиворечиво восстановить внешнюю оболочку лексемы (звучание, фонемный состав и даже словообразовательную модель и средства), то есть "означающее", поскольку состав праиранских фонем и морфем в принципе конечен. Что же касается реконструкции "означаемого" – семантики лексического элемента, то здесь применение столь же строгих процедур реконструкции невозможно: содержательная сторона языка заведомо открыта, состав сем неконечен. Отсутствие строгих процедур приходится компенсировать выходом за пределы лингвистической реконструкции. На практике приходится опираться на более поздние значения рефлексов предполагаемой лексической единицы, учитывая при этом доступные сведения о культурно-историческом фоне появления или функционирования слова. Иногда остается полагаться в конечном счете на интуицию и на здравый смысл.

В некоторых случаях методика "Wörter und Sachen" действительно способствует установлению относительно точной семантики названия той или иной реалии и возможного времени и условий его появления. Об опасности проецирования на общеиран-

ский праязыковой хронологический срез отдельных слов и соответствующих им понятий уже говорилось[4]. Число таких примеров можно умножить.

Однако при анализе слов, не связанных напрямую с вещными реалиями, приходится довольствоваться косвенными данными. Например, праиран. **daiua-* (из арийск. **daiua-* < и.-е. **deiuo-s* 'Бог, Небесный') обозначало первоначально и в праиранском 'божество, Бог', хотя позднее, с распространением зороастризма и затем ислама, приобрело отрицательное значение 'ложное божество' → 'злое божество' → 'злой дух; демон; "дэв" ', распространившееся по иранскому (и не только) миру. Вместе с тем, о первоначальном значении 'божество, Бог' свидетельствуют не только упоминавшиеся выше единичные формулы в Авесте и отдельные рефлексы в некоторых более поздних языках, в частности, в осетинском, согдийском (см. [ЭСИЯ 2: 306–310], там же литература), но и сохранившиеся (во всяком случае, до середины XX века) народные верования в горных регионах Средней и Центральной Азии, где продолжения этого имени обозначают почитаемые божества старого пантеона. Праиранское **baiuar-/*baiuan-* (с неясной более ранней этимологией), рефлексы которого в разных иранских языках трактуются как "десять тысяч", первоначально было не числительным, а существительным, обозначавшим 'несметное множество, мириады', о чем говорят продолжение этой основы в осет. *bīræ* | *beræ*, *bewræ* 'много, многий; долго, очень' [Абаев 1949: 22, 159; Абаев ИЭСОЯ, I: 262], значения 'несметного множества' в некоторых других языках [ЭСИЯ 2: 63–64], а также то соображение, что точное числительное такого высокого порядка для того периода едва ли существовало, во всяком случае, во всех ареалах праиранского континуума.

Тем более трудным оказалось выявление семантики слов, а особенно корней, связанных с обозначением действий (о чем говорилось выше), абстрактных понятий и пр.

Практически при реконструкции словарного элемента выявлению поддаются лишь основные "опорные точки", или "вехи", его семантики. К тому же заведомое отсутствие контекста (кроме единичных случаев употребления слова в поэтических, мистических и иных формулах, имеющих параллели в других индоевропейских языках) ограничивает возможности установления лексической синтагматики, стилистических вариантов, границ словоупотребления и т.п. В результате мы не можем определить сколько-нибудь полный круг значений праязыкового лексического элемента и, соответственно, границы этого круга, поскольку отсутствует возможность проверить наличие или отсутствие того или иного оттенка значения слова, его стилистической окраски и т. п.: нет критерия "так можно сказать, а так нельзя". Еще сложнее реконструировать круг значений не слова, а корня.

Трудности выявления семантики отдельных праязыковых лексических единиц сказывается, кроме прочего, на сопоставлении их друг с другом в рамках предполагаемой единой лексической системы. В связи с этим возникает целый ряд взаимосвязанных проблем синонимии и омонимии в лексической системе праязыка (как впрочем и в системе не зафиксированных письменностью ранних состояний отдельных языков).

Так, мы далеко не всегда можем определить, являлись ли синонимами те или иные пары реконструированных праязыковых лексических единиц, различавшихся фонетически, но близких по смыслу, или они соприкасались только в единичных "вехах" своей семантики. К тому же, учитывая ареальную и темпоральную неоднородность праяз-

---

[4] См. высказывание О. Семереньи [Szemeranyi 1959: 60–61], см. также упоминавшиеся ранее ареальные названия водяной мельницы в Средней и Центральной Азии, которые могут быть формально реконструированы в виде производных праиранских композитов: **x^{v}at-ārana(ka)-*, букв. 'само-мелющая' и **x^{v}at-āraka-*, букв. 'само-молка', образованных на базе исконного материала, продолжающего соответствующий индоевропейский, и согласующихся с исконной же основной моделью. Однако природные условия и способ хозяйствования соответствующей древней эпохи не предполагали существования такой реалии, и наличие ее обозначения для общеиранского периода более чем сомнительно (материалы см. [Эдельман 1994: 61]).

зыковой системы, мы не всегда можем с уверенностью сказать, были ли эти сходные значения данных слов свойственными всему праиранскому ареалу или принадлежали разным диалектам и, следовательно, разным лексическим системам; были ли сходные значения разных слов синхронными друг другу или в одном из слов данное значение развилось тогда, когда в другом оно уже угасло. Возможно, в каких-то случаях те или иные лексические единицы представляются синонимичными только при взгляде "отсюда", при их условной проекции на единую плоскость.

Вместе с тем, прослеживаются некоторые лексические варианты, которые могут свидетельствовать о жанровой, стилистической неоднородности праязыковой системы, о наличии в ней диглоссии, о сосуществовании архаизмов и инноваций и т.п.

Так, например, упоминавшиеся выше обозначения коня и собаки в разных иранских языках приводят нас к двум разным праформам древнейшего не диалектного, а общеиранского состояния: к **aśa-* из и.-е. **ekuo-* 'лошадь, конь' и к отглагольному **bāraka-* 'конь, лошадь' ← 'несущий (всадника, груз)' от корня **bar-* 'нести, вести, везти' (ср. [ЭСИЯ 1: 243–244] и [ЭСИЯ 2: 101–102]; обозначения собаки – к **śuan-* : *śun-* из и.-е. **kuon* : *kun-* 'собака' и к (возможно, звукосимволическим, эмоциональным) муж. рода **kuta-*, жен. рода **kuti-* (ср. русск. *кутя, кутенок*), а также др.-иран. **gadua-* (см. авест. поздн. *gaδwa-* муж. род, *gaδwā-* жен. род) 'собака' ← 'лающая' от корня **gad-* '(громко) говорить; лаять' (? по мнению Хр. Бартоломе [Bartholomae 1904: 489], это слово неясной этимологии могло обозначать собаку иной породы, чем авест. *span-* 'собака' – рефлекс **śuan-*)[5]. Не исключено, что такие различия могли быть обусловлены диглоссией (см. [Kazama 1986: 289–300]).

В качестве примеров сосуществования в праязыке архаизмов и инноваций (иногда и тех, и других – доиранского происхождения) можно привести обозначения ночи: архаичное, сохранившееся еще в общеиранском состоянии **nakt-, naxt-* 'ночь' из и.-е. **nek^{u}-(t)-*, **nok^{u}t-* (жен. род), **nok^{u}ti-* (жен. род), **nok^{u}t(e)r-* (ср. р.) 'ночь' и относительно инновационное, но доиранское общеир. **xšap-* (и **xšapan-* : *xšapar-*, **xšapā-*) из соответствующего общеарийского **kšap-* 'ночь', восходящего к и.-е. **k^{u}sep-* 'темный, темнота' (подробнее иранский материал см. [Эдельман 1996]); или обозначения глаза: редкое архаичное **aš-* < **axš-* 'глаз(а), очи', отмеченное в форме двойственного числа ср. рода **aši-* > авест. *aši* 'глаза (преимущественно дэвовских существ)', восходящее к и.-е. **ok^{u}-* 'видеть' и родственное русскому *очи* [ЭСИЯ 1: 281–283] и широко распространенное **čašman-* 'глаз' [ЭСИЯ 2: 238 и сл.], о котором говорилось выше. И архаичные, и новые варианты отразились затем в дочерних иранских языках – во всех или в некоторых; они рассматриваются в соответствующих словарных статьях.

Не всегда однозначно могут быть определены и взаимоотношения в реконструируемой системе некоторых лексических единиц, сходных материально, но явно различающихся семантически. Если их различное происхождение, включая продолжение в них различных доиранских элементов, способствует их однозначной трактовке как праиранских омонимов (например, часть праиранских корней из семи предположительных омонимов **dā-*, четыре корня **bar-* и т.п.), то в случае наличия единого доиранского прототипа вопрос об отнесении таких праиранских единиц к единому "словарному слову" с развитой (или еще не угасшей) полисемией либо к разным "словарным словам" – омонимам – решается каждый раз по-своему. В этом случае иногда возникает проблема с определением относительной хронологии периода "расщепления" единого доиранского лексического элемента на омонимы: в доиранскую эпоху или в иранскую (вклю-

---

[5] О том, что данное авестийское название собаки – не исключение, говорят продолжения этой основы, во всяком случае, в нескольких языках: ср. мундж. *γolv* 'собака'; осет. ирон. *qævdyn* 'щенок' < **gaduaina-* с метатезой [Абаев 1949: 57; Абаев ИЭСОЯ, II: 299], согд. ман. *γβδk* название животного, предположительно 'сука' [Gershevitch 1954: 38, 149]; ягн. *kud γafča* 'щенок', где *γafča* < **gadua-či/a-*, а первая часть – из **kuta-*.

чая праязыковую)[6]. От решения этого вопроса зависит подача таких праязыковых реконструированных слов в ЭСИЯ: в единой словарной статье или в разных статьях в качестве омонимов.

* * *

Здесь была представлена часть проблем, которые возникали и продолжают возникать при работе над ЭСИЯ. Почти все они в той или иной мере касаются праязыковой лексической системы. Другая группа проблем, связанная с дальнейшими изменениями в лексике иранских языков, будет освещена в будущей публикации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Абаев ИЭСОЯ – *В.И. Абаев*. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. I. М.; Л., 1958; Т. II. Л., 1973; Т. III. Л., 1979; Т. IV. Л., 1989; Указатель (Ук.). М., 1995.

Абаев 1949 – *В.И. Абаев*. Осетинский язык и фольклор. I. М.; Л., 1949.

Абаев 1965 – *В.И. Абаев*. Предисловие // *Э. Бенвенист*. Очерки по осетинскому языку. М., 1965.

Абаев 1983 – *В.И. Абаев*. Сложные слова – хранители древней лексики // ВЯ. 1983. № 4.

Гамкрелидзе, Иванов Вяч.Вс. 1984 – *Т.В. Гамкрелидзе, Вяч.Вс. Иванов*. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Т. I–II. Тб., 1984.

Миллер 1881; 1882; 1887 – *Вс.Ф. Миллер*. Осетинские этюды. Ч. 1. М., 1881; Ч. 2. М., 1882; Ч. 3. М., 1887.

Опыт 1975 – Опыт историко-типологического исследования иранских языков. Т. I–II. М., 1975.

Основы 1979–1997 – Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки. М., 1979; Среднеиранские языки. М., 1981; Новоиранские языки. Западная группа, прикаспийские языки. М., 1982; Новоиранские языки. Восточная группа. М., 1987; Новоиранские языки. Северо-западная группа. I. М., 1991; Новоиранские языки. Северо-западная группа. II. М., 1997.

Расторгуева 1964 – *В.С. Расторгуева*. Опыт сравнительного изучения таджикских говоров. М., 1964.

Расторгуева 1990 – *В.С. Расторгуева*. Сравнительно-историческая грамматика западноиранских языков. Фонология. М., 1990.

Соколова 1967 – *В.С. Соколова*. Генетические отношения язгулямского языка и шугнанской языковой группы. Л., 1967.

Соколова 1973 – *В.С. Соколова*. Генетические отношения мунджанского языка и шугнано-язгулямской языковой группы. Л., 1973.

Соколов 1979 – *С.Н. Соколов*. Язык Авесты // Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки. М., 1979.

Стеблин-Каменский 1971 – *И.М. Стеблин-Каменский*. Историческая фонетика ваханского языка: Дис. … канд. филол. наук. Л., 1971.

Стеблин-Каменский 1979 – *И.М. Стеблин-Каменский*. "Колени" и "локти" памирского субстрата // Переднеазиатский сборник. III. История и филология стран Древнего Востока. М., 1979.

Стеблин-Каменский 1981 – *И.М. Стеблин-Каменский*. Историческая классификация ваханских глаголов // Иранское языкознание. Ежегодник. 1980. М., 1981.

Стеблин-Каменский 1982 – *И.М. Стеблин-Каменский*. Очерки по истории лексики памирских языков. Названия культурных растений. М., 1982.

---

[6] Примером пограничного случая между "вторичной омонимией" и "полисемией" являются праиранские **nāu-* 'лодка' и **nāu-* 'желоб', связанные этимологически с индоевропейским корнем **nāu-*, обозначавшим предположительно 'выдолбленный ствол (дерева)' [Pokorny 1959: 755–756], и разошедшиеся в значении (второе слово могло также контаминироваться с производными от глагольного корня **nau-* 'двигаться'). Трактовка их как относящихся к одному и тому же общеиранскому слову или как омонимов зависит от того, к какому периоду относится семантическое расщепление рефлексов индоевропейского прототипа (подробнее с материалом разных языков см. [Эдельман 1994: 72–74]).

Стеблин-Каменский 1985 – *И.М. Стеблин-Каменский*. Название пахотного орудия в памирских языках // Иранское языкознание. Ежегодник. 1981. М., 1985.
Стеблин-Каменский 1987 – *И.М. Стеблин-Каменский*. Термины орошения в памирских языках // Иранское языкознание. Ежегодник. 1982. М., 1987.
Стеблин-Каменский 1999 – *И.М. Стеблин-Каменский*. Этимологический словарь ваханского языка. СПб., 1999.
Трубачев 1967 – *О.Н. Трубачев*. Из славяно-иранских лексических отношений // Этимология 1965. М., 1967.
Трубачев 1974 – *О.Н. Трубачев*. От редактора // ЭССЯ. Т. 1. М., 1974.
Трубачев 1994 – *О.Н. Трубачев*. Маргиналии к новому "Этимологическому словарю древнеиндоарийского языка" М. Майрхофера // ВЯ. 1994. № 3.
Хромов 1965 – *А.Л. Хромов*. Согдийские слова в говорах таджикского языка // Изв. АН ТаджССР, Отделение общественных наук. Душанбе, 1965. № 3 (41).
Цаболов 2001 – *Р.Л. Цаболов*. Этимологический словарь курдского языка. Т. I (А–М). М., 2001.
Эдельман 1968 – *Д.И. Эдельман*. Основные вопросы лингвистической географии (на материале индоиранских языков). М., 1968.
Эдельман 1971 – *Д.И. Эдельман*. К вопросу о словообразовании местоимений в иранских языках // Индийская и иранская филология. Вопросы лексики. М., 1971.
Эдельман 1982 – *Д.И. Эдельман*. К перспективам реконструкции общеиранского состояния // ВЯ. 1982. № 1.
Эдельман 1986 – *Д.И. Эдельман*. Сравнительная грамматика восточноиранских языков. Фонология. М., 1986.
Эдельман 1990 – *Д.И. Эдельман*. Сравнительная грамматика восточноиранских языков. Морфология. Элементы синтаксиса. М., 1990.
Эдельман 1992 – *Д.И. Эдельман*. Еще раз об этапах филиации арийской языковой общности // ВЯ. 1992. № 3.
Эдельман 1994 – *Д.И. Эдельман*. Состояние и перспективы сравнительно-исторической лексикологии иранских языков // ВЯ. 1994. № 3.
Эдельман 1995 – *Д.И. Эдельман*. Еще раз о взаимодействии языковых уровней в истории иранских языков // ВЯ. 1995. № 4.
Эдельман 1996 – *Д.И. Эдельман*. Свидетельства "малых" языков об истории языковой семьи (на примере "Этимологического словаря иранских языков") // Гуманитарная наука в России. Соросовские лауреаты. Филология. Литературоведение. Культурология. Лингвистика. Искусствознание. М., 1996.
Эдельман 1999 – *Д.И. Эдельман*. К истории форм терминов родства на **-tar* в иранских языках // Уч. зап. С.-Петербургского ун-та. № 432. Серия востоковедческих наук. Вып. 37. Востоковедение. 21. Филологические исследования. СПб., 1999.
Эдельман 2000 – *Д.И. Эдельман*. Введение // ЭСИЯ 1. М., 2000.
ЭСИЯ 1 – *В.С. Расторгуева, Д.И. Эдельман*. Этимологический словарь иранских языков. Т. 1. М., 2000.
ЭСИЯ 2 – *В.С. Расторгуева, Д.И. Эдельман*. Этимологический словарь иранских языков. Т. 1. М., 2003.
ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1– / Под ред. О.Н. Трубачева. М. 1974–.
Bailey 1979 – *H.W. Bailey*. Dictionary of Khotan Saka. Cambridge; London; New York; Melbourne, 1979.
Bartholomae 1904 – *Chr. Bartholomae*. Altiranisches Wörterbuch. Strassburg, 1904 (repr.: Berlin; New York, 1979).
Benveniste 1935 – *É. Benveniste*. Les infinitifs avestiques. Paris, 1935.
Compendium 1989 – Compendium linguarum Iranicarum / Hrsg. von R. Schmitt. Wiesbaden, 1989.
Edelman 1980 – *D.I. Edelman*. History of the consonant systems of the North-Pamir languages // IIJ. 1980. V. 22. Pt 4.
Edelman 1983 – *D.I. Edelman*. The Dardic and Nuristani languages. M., 1983.
Emmerick 1968 – *R.E. Emmerick*. Saka grammatical studies. London, 1968.
Emmerick, Skjærvø 1982, 1987 – *R.E. Emmerick, P.O. Skjærvø*. Studies in the vocabulary of Khotanese. Wien, I – 1982; II – 1987.
Gershevitch 1954 – *I. Gershevitch*. A grammar of Manichean Sogdian. Oxford, 1954.
Gharib 1995 – *B. Gharib*. Sogdian dictionary. Sogdian-Persian-English. Tehran, 1995.
GIPh I, 2 – Grundriss der Iranischen Philologie. Bd. I. Abt. 2. Strassburg, 1898–1901.

Henning 1977 – *W.B. Henning*. Selected papers. V. I–II. Téhéran; Liège, 1977 (Acta Iranica. T. 14–15).
Kazama 1986 – *Kiozo Kazama*. A phase of the history of Indic // The journal of Indo-European studies. Washington, 1986. V. 14. № 3–4.
Mann 1984 – *S.E. Mann*. An Indo-European comparative dictionary. V. I. Fasc. 1–... Hamburg, 1984–...
Mayrhofer 1992 – *M. Mayrhofer*. Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. Fasc. 10. Heidelberg, 1992.
Morgenstierne 1927 – *G. Morgenstierne*. An etymological vocabulary of Pashto. Oslo, 1927.
Morgenstierne 1928 – *G. Morgenstierne*. Notes on Shughni // NTS. 1928. Bd. I.
Morgenstierne 1929–1973 – *G. Morgenstierne*. Indo-Iranian frontier languages. V. I – 1929; V. II – 1938; V. III, pt 1 – 1967, pt 2 – 1944, pt 3 – 1956; V. IV – 1973. Oslo.
Morgenstierne 1958 – *G. Morgenstierne*. Neu-iranische Sprachen // Handbuch der Orientalistik. 1958. Abt. 1. Bd. 4. Abschnitt 1.
Morgenstierne 1974 – *G. Morgenstierne*. Etymological vocabulary of the Shughni group. Wiesbaden, 1974.
Pokorny 1959 – *J. Pokorny*. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1959.
Szemerényi 1959 – *O. Szemerényi*. Iranian studies I // KZ. 1959. Bd. 76. Hft. 1–2.
Szemerényi 1967 – *O. Szemerényi*. Iranica II // Die Sprache. 1967. T. XII. № 2. Wien.
Watkins 1990 – *C. Watkins*. Etymologies, equations, and comparanda: Types and values, and criteria for judgement // Linguistic change and reconstruction methodology/Ed. by Ph. Baldi (Trends in linguistics. Studies and monographs 45). Berlin; New York, 1990.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 2005

© 2005 г. А. А. ЗАЛИЗНЯК, Е. В. ТОРОПОВА, В. Л. ЯНИН

БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ ИЗ РАСКОПОК 2004 г. В НОВГОРОДЕ И СТАРОЙ РУССЕ*

Статья представляет собой предварительную публикацию берестяных грамот, найденных в Новгороде и Старой Руссе в археологическом сезоне 2004 г.

Раскопки 2004 года в Великом Новгороде и в Старой Руссе принесли небольшое число новых берестяных грамот — всего пять. Но из них три представляют собой выдающиеся находки — это целые, относительно большие, безупречно сохранившиеся документы чрезвычайно интересного содержания, проливающие свет на ряд типовых ситуаций в повседневной жизни древней Руси и дающие новый ценный материал для истории русского языка.

НОВГОРОД

В Новгороде на Троицком раскопе продолжались работы на 13-м участке (руководитель работ А. Н. Сорокин) и на 14-м участке (руководитель работ А. М. Степанов). Здесь пройдены напластования середины XII века и найдено три грамоты (№ 951–953).

В истекшем сезоне доведены до конца работы на открытом в 2002 г. Никитинском раскопе (руководитель работ Г. Е. Дубровин). Напластования культурного слоя доходили здесь до уровня XIII в., но берестяных грамот на этом раскопе больше не было.

Из трех найденных в этом сезоне в Новгороде берестяных грамот две представляют собой лишь мелкие фрагменты и в настоящую предварительную публикацию не включены.

Принципы записи текста и комментирования — такие же, как в предшествующих публикациях данной серии. Указанные при грамотах стратиграфические датировки носят предварительный характер.

Грамота № 952. Троицкий раскоп. Целый документ из шести строк; он содержит два разных письма, написанных, однако, одним почерком.

Предварительная стратиграфическая оценка: середина – вторая половина XII века. Внестратиграфическая оценка: 1140-е – 1170-е гг.

ѿ радъка къ отьцьви поклонание товарьць єсьмо посълалъ
смольньскоу а поутилоу ти оубили а хотать ны ати въ ѳо-
моу съ вацьшькою а мълъва заплатите четъри съта гривьнъ
или а зовите ѳомоу сѣмо пакы ли да въсадимо вы въ погрьбо
и поклонание ѿ вацьшькѣ къ лазорьви послалъ єсмь конь
юковоуцько а самь єсмь доспѣлъ

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 03-04-00109а) и INTAS (проект № 03-51-3867). Экспедиционные работы в Новгороде и Старой Руссе поддержаны проектами РГНФ № 04-01-18010е, 04-01-18106е.

В предпоследней строке покланание переправлено из покланаю ти са, а именно, аккуратно заштрихованы буквы ютиса, после чего выписано ние. Ясно, что писавший закончил первое письмо этикетной формулой 'и кланяюсь тебе'. Но когда он начал записывать второе письмо (что́ могло произойти и не сразу), он, по-видимому, сбился, приняв уже стоящее в тексте покланаю ти са за написанное с ошибками покланание, и произвел соответствующее исправление (менее вероятно, что он сознательно решил переделать заключительную формулу первого письма в начальную формулу второго).

Перевод: 'От Радка поклон отцу. Товарец я послал в Смоленск. А Путилу-то убили. А нас с Вячешкой хотят арестовать за Фому, говоря: "Заплати́те четыреста гривен или же зовите сюда Фому. Если же нет, то всадим вас в погреб".

И поклон от Вячешки Лазорю. Я послал коня вьючного, а сам готов (приготовился)'.

Адресат второго письма — возможно, тот же, что и адресат первого (т.е. отец Радка).

В грамоте отразилась драматическая ситуация, представляющая чрезвычайный интерес. Группа новгородцев — Радко, Вячешка (Вячеслав), Путила и еще какие-то лица (возможно, их слуги или домочадцы) — прибыли в чужой город со своим товаром. Здесь у них возник конфликт с кем-то из местных людей, в ходе которого Путила был убит. Остальных же не выпустили из города, хотя в момент написания данного письма они еще не арестованы — арестом им только угрожают.

Речь явно идет о так называемом "рубеже" — конфискации имущества (или штрафе) за вину третьего лица, происходящего из того же города, — в данном случае некоего Фомы. При этом, правда, требуемая от авторов сумма неимоверно велика: если речь идет о гривнах кун, то это около 20 кг серебра, если о гривнах серебра — то около 80 кг. Возможно, сумма названа без расчета на реальную выплату, а просто как средство давления или устрашения (ср. в этом отношении берестяную грамоту № 30 из Старой Руссы, где автор угрожает адресату неправдоподобно большим штрафом в сто гривен в случае, если тот не доставит два воза сушеной рыбы).

Автору письма Радку удалось, однако, переправить свой товар в другой город (в Смоленск). Об успехе такого же рода пишет и второй автор (Вячешка): он отослал вьючного коня — очевидно, с грузом.

Авторы сообщают о постигшем их бедствии в Новгород — видимо, рассчитывая на то, что новгородцы смогут им как-то помочь в их положении.

Слово *товарьць* древнерусским словарям неизвестно, но смысл его ясен: это уменьшительно-ласкательная форма от *товаръ*, несущая, судя по контексту, тот же фамильярный оттенок, что и *товарец* в современном языке.

В выражении *ꙗти въ Ѳомоу* предлог *въ* выступает в значении 'за вину' — как в выражениях типа *рути кого* (*A*) *въ кого* (*B*) 'подвергнуть лицо А конфискации имущества за вину лица В' (см. [НГБ VIII: 168–174]).

Во фразе *а хотꙗть ны ꙗти въ Ѳомоу съ Вꙗцьшькою* роль Вячешки еще неясна: в принципе можно понимать эту фразу как 'хотят нас арестовать за вину Фомы и Вячешки' или как 'хотят арестовать нас с Вячешкой за вину Фомы'. Но дальнейший текст уже ясно свидетельствует в пользу второго понимания.

Местоимение *ны* (множ. число), а не *на* (двойств. число), в этой фразе показывает, что угроза ареста распространяется не только на Радка и Вячешку, но и на каких-то сопровождающих их людей (возможно, слуг или домочадцев).

Мълъвꙗ формально может быть причастием (деепричастием) или словоформой 3-го лица множ. числа презенса. Но нормам древнерусского синтаксиса несомненно больше соответствует первое. Ср. фразу *а хотꙗть ны ꙗти ..., а мълъвꙗ* с такими од-

нозначными с данной точки зрения фразами, как, например. *оже оно поехало проце, а река тако* (берестяная грамота № 531); *а еще мене зазва(лъ) ..., а рка такъ* (№ 697); *или иметь и, а река тако* (Правда Русская, ст. 85); *и одариша князь роусьскыхъ, а рекоуче тако* (НПЛ [1224], л. 97); *оже жены наиболѣ кланаютьсѧ въ соуботу до земла, тако молвѧ* (Вопрошание Кириково, ст. 9). То же и с глаголами других семантических групп, например: *ѧ како доспьво буду, а борьць оставиво* 'я, как только управлюсь, приеду, оставив [вместо себя] сборщика' (берестяная грамота № 68).

Добавим к этому, что при интерпретации *мълъвѧ* как презенса пришлось бы признать присутствие в одной и той же фразе словоформ 3-го лица множ. числа с *-ть* (*хотѧть*) и без *-ть* (*мълъвѧ*), при том, что никаких семантических оснований для такого различия в данном случае нет.

Признав *мълъвѧ* причастием, мы должны констатировать, что оно не согласовано в числе со сказуемым *хотѧть*. Тем самым перед нами один из самых ранних примеров несогласованного причастия в оригиналах (а не списках) древнерусских текстов.

Отметим *или а* 'если же нет, то', где *или* еще сохраняет свою древнейшую способность играть роль целого предложения ('а если дело обстоит иначе'). Практически то же значение, что *или а*, имеет и *пакы ли да* в продолжении той же фразы.

Отметим *-ите* в императиве *зовите* — один из ранних примеров древненовгородского диалектного окончания в данной форме.

Значительную трудность составил анализ отрезка *коньюковоуцько* в последней фразе, где неочевидно даже словоделение. Из разных гипотетических интерпретаций этого отрезка безусловно предпочтительной оказывается следующая: это словосочетание *конь юковоуцько*, где второе слово — это сложное прилагательное *юк-о-вуч-ьк-ъ* (В. ед. муж.), являющееся определением к слову *конь*.

Элемент *юко-* здесь принадлежит слову *юкъ* 'вьюк', встречающемуся, в частности, у Афанасия Никитина (см. [Срезн., III: 1626]) и сохранившемуся в архангельских говорах (см. [Даль, IV: 667]); известно также древнерусское производное *ючьныи* 'вьючный' (*товара ючного* — Лавр. [1295], л. 171). Фонетический вариант *юкъ* непосредственно соответствует своему тюркскому первоисточнику (*jük*), см. [Фасмер, I: 373] (статья *вьюк*), тогда как современное *вьюк* — результат позднейшей адаптации иноязычного слова с созданием "русскообразного" начала, сходного с *вью*, *вьюга* (ср. такой же эффект в простонародном варианте *вьюноша* у слова *юноша*).

Элемент *вуч-*, очевидно, представляет собой корень *выч-* с таким же переходом *вы* > *ву*, как в *вудра* из *выдра* в берестяной грамоте № 713 или *буть* из *быть* в № 68 (см. [ДНД$_2$, § 2.35]). Другой теоретически возможный вариант состоит в том, что *вуч-* — это корень *уч-* с протетическим *в*. Но по смыслу корень *выч-* (ср. *выкнуть*, *привыкнуть*, *привычка*) здесь уместнее, чем *уч-* (*учить*, *учиться*). В самом деле, прилагательные с суффиксом *-ък-* (*-ьк-*) в большинстве случаев означают свойство субъекта непереходного глагола (часто возвратного), например: *зябкий* ('который зябнет'), *пылкий* ('который пылает'), *качкий* ('который качается'), *вёрткий* ('который вертится') и т. п. (Заметим, впрочем, что для установления смысла слова *юковучькыи* между корнями *выч-* и *уч-* большой разницы нет, что́ неудивительно, поскольку с исторической точки зрения это просто алломорфы одного и того же корня.)

Все слово в целом имело, таким образом (до перехода *вы* > *ву*), вид *юк-о-выч-ькыи* 'вьючный' (букв. "вьюкопривычный"). Оно построено в точности по той же модели, что, например, современные *труд-о-ём-к-ий*, *огн-е-стой-к-ий*, *вод-о-стой-к-ий*, *яйц-е-нос-к-ий*, *дальн-о-зор-к-ий* и т. п. Использование в данном контексте краткой формы (*юковучькъ*) вполне соответствует древнерусскому узусу: ср. *конь полоубоуивъ* (в берестяной грамоте № 735), *конь рыжь* и т. п. (в актах), *конь блѣдъ* (в Апокалипсисе).

Слово *доспѣти* многозначно (см. [Срезн., I: 710, Слов. XI–XVII, 4: 331], а также [СРНГ, 8: 142]); наиболее подходящим к контексту представляется значение 'приготовиться, изготовиться, быть готовым'. Ср. в Повести временных лет (в эпизоде с поиском богатыря для единоборства с печенегом): *и наутрии придоша Печенѣзи, почаша звати: нѣ ли мужа, се нашь доспѣлъ* (Лавр., под 992 г., л. 42 об.; в Радзивилловском и Академическом списках *се нашь готовъ*). Очевидно, Вячешка сообщает Лазарю о том, что ему удалось послать коня с грузом и он сам приготовился к побегу.

СТАРАЯ РУССА

В 2004 году были продолжены археологические исследования в Старой Руссе на Пятницком раскопе (площадь 220 кв. м), расположенном на территории древнейшего городского конца Середка. Общая мощность культурного слоя на этом участке составляет более 6,5 м. В этом сезоне изучены культурные напластования 9–11 пластов (глубина 160–220 см). Исследования выявили, что в раскоп вошли фрагменты двух усадебных комплексов — "усадьба А", к северу от межусадебного частокола, и "усадьба Б", к югу. Берестяные грамоты №№ 39 и 40 были обнаружены "на усадьбе А" на глубине 220 см на территории, свободной от жилой и хозяйственной застройки. Стратиграфические наблюдения позволяют предварительно датировать культурные напластования этого уровня последней четвертью XIV века.

Грамота № 39. Пятницкий раскоп, участок А. Целый документ из восьми строк (между пятой и шестой строкой вставлено, более мелкими буквами, еще три слова).

Предварительная стратиграфическая оценка: последняя четверть XIV века. Внестратиграфическая оценка: 1380-е – 1410-е гг.

поклонъ ѿ грорьи ермолѣ
и ѡзѣкѣю . посласмь к тобѣ
шесть боцекъ вина . какъ
палѣцѣ хвати и ты то ѡ-
смотри горазно а продаи какъ
ли то продале
и тѣ по тому же и ты то ѿшли
а моимъ роб[ѣ]-амъ не даваи
серебра п[ошл]и з до^гомъ

Грорьи — явно описка вместо *Григорьи* (пропуск букв *иг*).

В последнем слове грамоты надстрочное *л* реально находится над *д*; но древние писцы обычно и не считали нужным ставить надписанную букву строго над ее местом в слове.

Перевод: 'Поклон от Григория Ермоле и Озекею. Я послал тебе шесть бочек вина, [уровень] — как палец достанет, так что ты это хорошенько проверь. А продай как и те, на тех же условиях; а продал — так ты это [полученное] отошли. А моим ребятам (?) денег не давай — пошли вместе с долгом'.

Как и во многих других берестяных грамотах, автор, указав двух адресатов, в тексте уже обращается только к одному из них — очевидно, первому.

Об импорте в Новгород вина, доставляемого ганзейскими купцами, было известно из традиционных письменных источников. В берестяной грамоте вино упоминается впервые. Грамота была найдена 26 июля, в день празднования находки берестяной грамоты № 1, и упоминание в ней шести бочек вина было с большим энтузиазмом встречено собравшимися на праздник.

С лингвистической точки зрения необычайно интересна словоформа *посласмь* 'я послал'. Из берестяных грамот мы уже знаем, что в древнерусском языке существо-

вала особая, ранее неизвестная форма прошедшего времени — так называемый безэлевый перфект (см. [ДНД2, § 3.39]). Она отличается от обычного перфекта тем, что вместо *l*-причастия в ней выступает форма без конечного *л*, равная основе инфинитива (*взѧ*, *посла*, *отда*), например: *взѧ ѥсме* (№ 482), *посла ѥси* (№ 99), *ѥси ѡдода* (№ 311). Как и в обычном перфекте, присутствует (по крайней мере, в 1-м и 2-м лицах) связка, причем, как видно из примеров, она в принципе может стоять как после глагольной формы, так и перед ней.

Но в данной грамоте первый раз в истории русского языка зафиксирован безэлевый перфект в слитной форме: *посласмь*. Такое образование явно сходно с польским прошедшим временем типа *posłałem* 'я послал', с тем, однако, отличием, что в состав польского *posłałem* входит обычное *l*-причастие, а не его усеченнная форма. Таким образом, мы узнаем из данной грамоты, что в северо-западном регионе складывалась особая слитная форма прошедшего времени, не получившая, однако, дальнейшего развития в связи с общим угасанием древненовгородского диалекта. (Осторожность требует, правда, признать, что, пока в нашем распоряжении имеется всего один пример, нельзя исключать и простой пропуск буквы *ѥ* на письме; но ввиду сходства с польским эта версия представляется маловероятной. Разрешить эту проблему должны новые находки берестяных грамот.)

Один из адресатов носит редчайшее имя *Ѡзѣкѣи*. Это народная адаптация библейского имени *Езекия* (греч. Ἐζεκίας): начальному греческому ε закономерно соответствует русское *о*; все имя переведено из женского морфологического рода в мужской (как *Еремѣи* из *Иеремия*, *Захарии* из *Захария* и т. п.). Конечное *-ѣи* — такое же, как, например, в *Еремѣи*, *Олексѣи* и др. (хотя в таких случаях обычно имеются и варианты с *-ии*). Но для первого *ѣ* в имени *Ѡзѣкѣи* специальных оснований нет; здесь проявилось просто общее пристрастие писавшего к букве *ѣ*, которое обнаруживается также в написании *палѣцѣ* и, возможно, в *роб*[*ѣ*]*-амъ* (см. ниже).

В написании *палѣцѣ* оба ятя (или по крайней мере первый) выступают как замена для *е* или *ь*. Возможны интерпретации: *палець* (обычный И. ед.), *пальце* (И. ед. с окончанием *-е*, как в примерах типа *Нездильце* [см. ДНД2, § 3.8]), *пальцѣ* (В. мн.); предпочтительны первые две (но для выбора между ними нужных данных нет).

Слова *какъ палѣцѣ хвати* ('как палец ухватит [достанет]') наглядно показывают, как проверялась полнота бочки: вынимали затычку в крышке бочки и проверяли, достанет ли палец до уровня жидкости. Автор подчеркивает, что посланные им бочки — полные, и требует тщательно проверить, не произошло ли убыли вина в пути.

Этот пассаж дает ключ к решению одного доныне не решенного вопроса из истории значений русских слов: каким образом слово *хватит* (т. е. 'схватит, ухватит') со временем получило также значение 'достаточно', 'enough', не имеющее, на первый взгляд, с исходным значением ничего общего? Грамота наглядно показывает, как проблема "достаточно или недостаточно" может сводиться к тому, схватит ли рука (палец, инструмент) находящийся на некотором расстоянии предмет (или поверхность). Ср. также примеры из Даля [IV: 544]: *шест не хватает дна*; *шест берега не хватит*. Очевидно, именно из таких измерений родилась возможность на вопросы типа *Полна ли уже бочка? Не надо ли еще долить?* отвечать словами *Уже хватит!* или просто *Хватит!* Это легко приводит к переосмыслению *хватит* как 'достаточно', после чего уже открыта дорога для сочетаний типа *мне хватит* (которые ранее, разумеется, были невозможны).

Заметим, что и слово *достаточно*, означающее то же самое, имеет сходную семантическую историю: оно прозрачным образом связано с глаголом *достать* в значении 'дотянуться', 'суметь прикоснуться'.

По тому же — хорошо известное из более поздней деловой письменности выражение, означающее 'на тех же условиях' (т. е. 'из того же расчета', 'по той же цене' и

т. п.). Слова *продаи какъ и тѣ по тому же* ясно показывают, что автор и адресаты совершают данную торговую операцию не первый раз.

Написав фразу *а продаи какъ и тѣ по тому же, и ты то ѿшли* 'а продай как и те, на тех же условиях, и [затем] ты это [полученное] отошли', автор решил ее уточнить и вписал слова *ли то продале*. Судя по слову *ли*, это не начало отдельной фразы, а вставка в уже имеющуюся фразу — явно после слов *по тому же*. Но с формальной точки зрения это значит, что несколько изменилось членение всей фразы (хотя сам автор мог этого и не осознать), а именно, получилось: *а продаи какъ и тѣ; по тому же ли то продале, и ты то ѿшли* 'а продай как и те; если же ты на тех же условиях это продал, то ты это [полученное] отошли'. Крайне сомнительно, однако, чтобы автор в самом деле решил требовать полученную сумму только в том случае, если вино продано на тех же условиях. Скорее всего он просто хотел добавить к первоначальному тексту слова, означающие 'как продашь', но выполнил это не вполне удачно, а передактированием всей фразы в целом не занимался. (Подобные случаи, когда правка текста приводит к некоторым синтаксическим нестыковкам, иногда встречаются и в других берестяных грамотах.)

Интересно отметить, что словоформой *продале* обозначено событие, которое еще никоим образом не могло произойти к моменту написания письма. Такое употребление возможно и в современной разговорной речи, например: *Отправляйся на рынок и продай; а как продал, вернешься сюда.*

Трудное место составляет *роб[ѣ]-амъ* в предпоследней строке. Из-за дырки в бересте здесь неясны две буквы. Судя по сохранившимся элементам, четвертая буква — *ѣ* или, может быть, *ъ*; пятая — *т*, *ч* или *ц*. Хотя эти утраты столь незначительны, надежной конъектуры здесь, как это ни поразительно, нет. Наиболее вероятно все же, что в тексте стояло *робѣтамъ* — вместо *робѧтамъ* 'ребятам', 'слугам' (*-амъ* вместо *-омъ* в этот период уже вполне возможно); но *ѣ* здесь не удается объяснить ничем, кроме прямой ошибки (или совершенно неумеренного пристрастия автора к этой букве). Другая возможность — *робѣцамъ*, с *ѣ* вместо *ь*, или *робъцамъ* (или такие же варианты с *ч*, а не *ц*); такое слово в принципе могло бы означать 'холопишкам' (или что-то близкое), но никаких его следов обнаружить не удается.

Грамота № 40. Пятницкий раскоп, участок А. Целое письмо из шести строк. Написано очень уверенной рукой, устойчивым почерком. Буквы глубоко врезаны в бересту, так что документ внешне напоминает надписи, вырезанные на медных пластинах.

Предварительная стратиграфическая оценка: последняя четверть XIV века. Внестратиграфическая оценка: последнее 20-летие XIV века.

покⷧонъ ѿ ѡксини і ѡнани к родиво=
ну і сестри моѥі татиани поідите в г=
ородъ к сеі недили давати ми доци а се=
стри моѥі приставницать а азъ ѡ=
сподину своѥму родивону і своі сесⷮри
моѥі мⷩого целомъ бию

В предпоследней строке в слове *своѥму* после *сво* зачеркнуто *в*. В этой же строке написано *своі* (вместо *своѥі*) *сестри*; заменой этого ошибочного *своі* служит *моѥі* в следующей строке (но *своі* оставлено незачеркнутым).

Перевод: 'Поклон от Оксиньи и Онании Родивону и сестре моей Татьяне. Поезжайте в город к этому воскресенью: мне выдавать дочь, а сестре моей быть распорядительницей. А я господину своему Родивону и сестре моей челом бью'.

Оксинья и ее муж Онания обращаются к Родивону и его жене Татьяне — сестре Оксиньи. По-видимому, Оксинья и Онания живут в Новгороде, а Родивон и Татьяна — в Русе. Родственники должны приехать на свадьбу в город, т. е. в Новгород.

Письмо имеет ряд общих черт со знаменитой грамотой №731 — посланием от Янки с Селятой к свахе Ярине. В обоих случаях речь идет о свадьбе сына или дочери авторов; в обоих случаях реальным автором является мать и она называет себя первой, но все же формально включает в число авторов и своего мужа (который в дальнейшем тексте уже никак более не упоминается); в обоих случаях в основном тексте письма говорится не "мы", а "я", и это "я" принадлежит матери.

Письмо состоит из трех частей почти одинаковой длины: 1) адресная формула; 2) само сообщение, т. е. собственно письмо; 3) заключительная формула вежливости. Собственно письмо чрезвычайно лаконично: *Поідите в городъ к сеі недили: давати ми доци, а сестри моєі приставницать.*

В документе **ѣ* со стопроцентной последовательностью реализуется в виде *и*.

В орфографии отметим, в частности, строгое различение *и* (после согласной) и *і* (после гласной), а также написание одиночного *и* вместо двойного.

В указанных условиях словоформа *поідите* оказывается двусмысленной: она может воплощать как *поидите*, так и *поѣдите*. Вопрос решается тем, что, согласно наблюдениям А. А. Гиппиуса, в качестве немаркированного обозначения для передвижения из одного города в другой глагол *поити* употребляется лишь в древнейший период (по XIII век включительно); позднее в этой роли выступает уже *поѣхати*. Тем самым в данном тексте следует предполагать *по(ѣ)дите*.

Фраза *давати ми доци* означает 'мне [предстоит] выдавать дочь'. *Давати* (в матримониальном смысле) как синоним для *выдавати* известно; ср. *своіхъ дочереі не давати за нихъ ни оу нихъ поімати* (Паисиев сборник, см. [СДРЯ, II: 419]).

Доци (= *дочи*) — именит. падеж (в отличие от винит. *дочерь*); таким образом, в грамоте представлена северновеликорусская конструкция типа *трава косити, вода пити* — с той особенностью, что здесь в ней участвует существительное не *а*-склонения, а консонантного склонения. Это важный новый факт для исторического синтаксиса русского языка.

Слово *приставничать* встречается в древнерусских памятниках, насколько можно судить, впервые. В грамоте этим глаголом обозначена та роль, которую на свадьбе предстоит играть Оксиньиной сестре Татьяне — тетке невесты. Установить смысл этого глагола помогают данные этнографии, из которых явствует, что на русской свадьбе действовала распорядительница, выбиравшаяся из числа ближайших родственниц невесты (кроме матери).

Значение 'распоряжаться', 'быть распорядителем', которое устанавливается тем самым для слова *приставничать*, явно производно от *приставъ* и *приставникъ*. У обоих этих слов первоначальное значение — 'лицо, приставленное к чему-либо или к кому-либо (для надзора, охраны и т. д.)', откуда далее уже просто 'надзиратель, распорядитель, начальник'. Ср. также *приставничество* 'управление (домом, хозяйством', 'опекунство, попечительство' [Слов. XI–XVII, 20: 30].

Отметим различие между инфинитивом *приставничать* (с *-ть*) и *давати ми* (с *-ти*). В рассматриваемую эпоху, вообще говоря, существовало и простое варьирование форм с *-ти* и с *-ть* (см. [ДНД$_2$, § 3.34]). Но в данном случае видна и дополнительная причина такого различия: словоформа *приставничать* стоит на конце фразы, а словоформа *давати* входит в состав тактовой группы ("фонетического слова") *давати ми*, т. е. слог *-ти* "защищен" здесь энклитикой *ми*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Вопрошание Кириково — Вопрошание Кириково // Русская Историческая библиотека. Т. 6. СПб., 1908.

Даль — *В. И. Даль*. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I–IV. М., 1955.

ДНД$_2$ — *А. А. Зализняк*. Древненовгородский диалект. 2-е изд. М., 2004.

Лавр. — Полное собрание русских летописей. Том первый. Лаврентьевская летопись. Вып. 1–3. Л., 1926–1928.

НГБ VIII — *В. Л. Янин, А. А. Зализняк*. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). Комментарии и словоуказатель к берестяным грамотам (из раскопок 1951–1983 гг.). М., 1986.

НПЛ — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950.

Правда Русская — Правда Русская. Т. 1–3. М.; Л., 1940–1963.

СДРЯ — Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. 1– . М., 1988– .

Слов. XI–XVII — Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–. М., 1975–.

Срезн. — *И. И. Срезневский*. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. I–III. СПб., 1893–1903.

СРНГ — Словарь русских народных говоров. Вып. 1–. М.; Л., 1965–.

Фасмер — *М. Фасмер*. Этимологический словарь русского языка. Т. 1–4. М., 1964–1973.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 2005

© 2005 г. О.Ф. ЖОЛОБОВ

ТРИДЕВѦТО АНЕЕЛО ТРИДЕВѦ АРОХАНЕЛО
(функция и формы числительных в берестяной грамоте № 715)

Статья посвящена разбору числительного *тридевять* '3 × 9', хорошо известного по восточнославянским фольклорным источникам. Исследователи новгородских берестяных грамот обнаружили очень ранний пример этого числительного в грамоте XIII в. В статье рассмотрение текста грамоты проводится на широком фоне разнообразных источников, начиная с индоевропейских, в которых содержалось числительное '3 × 9'. Оно интерпретируется в статье не как сочетание двух сакральных чисел, где второе число отражает кратный рост первого, а как реальная числовая формула. Ее строение отражало количество дней сидерического лунного месяца, который противопоставлялся синодическому лунному месяцу. Это противопоставление выражало два календарных типа. Если первый был связан с ритуально-магической функцией, то второй – с хозяйственно-бытовой. Первый календарный тип соотносился с символикой божественной плеромы. В статье разбирается также теория о так называемом девятичном счислении, с которым связывают часто числительное '3 × 9'. Кроме того, в работе дается грамматическая интерпретация форм числительного в упомянутой берестяной грамоте.

Наиболее ранний пример так называемого девятичного счета содержится в одном из древнейших заговорных текстов, который сохранился в ГрБ № 715 (XIII_1) [Зализняк 1995]. Этот источник будет рассмотрен ниже, а сначала необходимо предпослать этому исторические свидетельства о девятичном счете и предварительные итоги его лингвистической интерпретации.

Сложилось устойчивое мнение о существовании особого девятичного счисления в древнерусском языке. А.И. Соболевский [Соболевский 1926–1927: 451–453] сформулировал этот взгляд в своих "Заметках по славянской морфологии". Он ссылался на следующие примеры: в одном из древнерусских слов, обличающих русских двоеверов, говорилось, что те поклоняются "виламъ и Мокоши, упиремъ и берегынямъ, ихъже нарицаютъ три 9 сестрениць". Сходное чтение есть и у Срезневского: Вѣруютъ... въ вилы. ихже числом г҃.ѳ҃. сестрениць Сл. Христ. Паис. сб. (Срезн. I: 651). Кроме того, Соболевский напомнил известную формулу русских сказок – "за тридевять земель", а также привел очень выразительные примеры с числительным "тридевять" из свадебного чина московских бояр XVI–XVII вв. по спискам "Домостроя". Там говорится, что для новобрачных "изготовятъ *3 девять* сноповъ ржаныхъ, поставятъ ихъ стоймо и на то ковер и постелю", "(боярыня держитъ на блюдѣ) *3 девять* лоскутов розныхъ цвѣтовъ камки и тафты, *3 девять* пѣнязей серебряныхъ золоченыхъ малыхъ". К девятичному счету Соболевский отнес также редкие примеры счета по 90 вроде сообщения неизвестного по имени Суздальца о пути на Флорентийский собор: "отъ Новагорода до Пскова *два 90* верстъ (Малинин, Старец... Филофей, Киев 1901, приложения, стр. 82, 77)".

И. Поливка [Polívka 1927: 217–223] привел массу примеров девятичного счета из восточнославянского фольклора:

после полетели они за *тридевять земель*; замыкаю я вас *тридевятью* замками, запираю я вас *тридевятью* ключами; Пойду из ворот воротами выду я в цистоё полё. В цистом поли стрецю *тридевять* морь, *тридевять* озёр, *тридевять* рек, *тридевять* руцьёф, *тридевять* лушкоф. Как с этых морь, с этых рек, с этых руцьёф, с

этых зеленых лушкоф стекается вся вода в синёё морё, так бы у моей жывотинки стекалось молоцько в титоцки; одизімать *тридевять* ячменин; уизжаеть іон у чужоя царства, у чужья пакаления у *тридиватыя* гусударства и т.д.

И. Поливка нашел сходные выражения в древнегреческих источниках и в связи с этим предположил, что восточнославянские формы заимствованы у черноморских греков, с которыми восточные славяне контактировали. В действительности данная формула отражает индоевропейский архаизм, поскольку встречается и в других индоевропейских языках, вне предполагаемой греко-восточнославянской параллели.

Б. Унбегаун [Unbegaun 1935: 418–419] обнаружил девятичный счет в дипломатической переписке 1515–1517 гг., связанной с крымскими татарами:

одну девять поминков взял, 1516, ДСК, II, 310; а съ нимъ бы еси прислалъ ко мнѣ *девять* кречатовъ, да *девять* портищъ соболей, да *третью девять* пришли горностаевъ, 1517, ibid., 445; дай ты сыну моему Алпу отъ себя *три девяти* поминковъ, 1516, ДСК, II, 274; пожаловалъ есми сына своего Алпа царевича *трема девятми*, и ты дай отъ себя сыну моему Алпу *двѣдевяти*, *а третею девять* язъ ему отъ себя дамъ изъ казны, ibid.; проси шедъ у Ивана отъ царя Алпу царевичу *дву девятей* поминков, ibid., 275; и др. В композите *тридевять*: и ты бы мнѣ прислалъ *тридевять* кречетовъ молодиковъ, 1515, ДСК, II, 156; да за *тридевять* поминковъ запросныхъ чтобъ было узорочье, 1517, ibid., 445.

Данные примеры могут отражать тюркский обычай делать подарки-подношения из 9 различных предметов[1]. Если это так, то он проявляется с "русским акцентом", потому что в переписке упоминаются не просто девять различных предметов, а тридевять одинаковых "поминков"-подарков, по девять одинаковых предметов в каждой группе. Нет следов инородности и в морфосинтаксической природе выражений *одну девять, третью девять*, поскольку последнее сочетание обнаружено и в церковно-правовом источнике – КЕ XII: 242b (см. подробнее ниже). В любом случае счет по девяти здесь связан не с особым девятичным счислением, а с ритуальной отмеченностью числа 9. В приведенных примерах говорится о "поминках", т.е. дарах, преподносимых царственным особам. Дарение в этом случае выступает в качестве социально-культурной составляющей в межэтнической дипломатии. По своему обрядовому характеру оно напоминает названное подношение даров на свадьбе.

Невозможно согласиться с Унбегауном, который усматривал в счете по девяти не типологическую параллель, а непосредственное тюркское влияние. Не выходя за рамки обнаруженных примеров, опрометчиво делать подобный вывод. Ю. Шевелев [Scherech 1952: 92] в своей книге, посвященной истории славянских числительных, отклонил это предположение Унбегауна, потому что оно не только не содержало доказательств, но и противоречило общему характеру тюркских заимствований у славян. Эти заимствования не касались духовно-религиозной сферы.

Существует и современная тюркская параллель девятичному счету. Наряду с примерами счета по пяти и по двадцати в отдельных тюркских языках, нашелся локальный пример применения счета по девяти у женщин в хазараспском говоре узбекского языка: *іккі dokkïz чöрäк* '18 лепешек', *ўч dokkïz nämijp* '27 лепешек', а также в говорах ёмудского диалекта туркменского языка: *іккі dokkуz* – 18 [Щербак 1977: 140]. Обращает на себя внимание бытовой, утилитарный характер этого счета. Понятно, что чрезвычайная скудность и локальная ограниченность этого материала свидетельствует в пользу заключения Шевелева и позволяет рассматривать его лишь как едва выраженную и отдаленную типологическую параллель.

[1] За указание на этот факт благодарю И.Г. Добродомова.

Ю. Шевелев особо подчеркнул народный характер текстов с девятичным счетом и отверг какое-либо церковно-книжное влияние. Вместе с тем он привел примеры аналогичного девятичного счета в латышском, указав на его отсутствие в литовском. Шевелев предположил, что в латышском фольклоре сказалось северно-русское влияние, обусловленное соседством с псково-новгородским регионом. Сама формальная реализация девятичного счета в латышском совпадает со славянской, и счет девятками здесь также не превышает уровня трех. С другой стороны, Шевелев не обнаружил ясных свидетельств финно-угорского влияния в распространении девятичного счета.

Ср. отдельные примеры употребления числительного *тридевять* в латышских заговорах, которые включены в статью Э. Олупе [1993: 130 и др.]:

"Трое мужчин бредут по морю, у всех розы в руках. Все все [розы] упали в море, утонули, исчезли, рассеялись, потонули на дне – синяя, красная, белая; другие разные – увядшие, засохшие как табачный лист. В море *тридевять* кузнецов, *тридевять* молотков, *тридевять* наковален: они их закуют, они их разобьют, они их засекут *тридевятью* мечами – погибли, развеялись все, как луна на ущербе, как старый гриб-дождевик" (от рожи)[2];

"Придут с моря *тридевять* молний, *тридевять* громов, они тебя разгромят, они тебя забьют на *тридевять* сажен, на *тридевять* миль в землю. Там твой отец, там твоя мать, там твои братья, там твои сестры, там ты сам, там ты внутри оставайся, вовеки наверх не поднимайся – пока это солнце, пока эта земля [существует] – без конца" (от испуга)[3].

Компоненты числительного *тридевять* могут употребляться независимо, будучи объединенными композиционно. Ср.:

"*Девять* черных мужиков, *девять* вороных коней, *девять* черных псов – сбежались, съехались на *трех* перекрестках, меж *трех* камней. Там мужики схватили, там кони залягали, там псы растерзали [того], кто пугает моего ребенка, кто не дает ему спать".

Латышские фольклорные источники, как было установлено, обладают чрезвычайной архаичностью. Так, латышские примеры заговоров, продолжая древнюю традицию, позволяют составить представление об индоевропейской структуре этого рода текстов (см. [Лекомцева 1993: 212 и др.]). Числа-символы в этой традиции, как и в других случаях, отражают свойства реальных объектов с постоянной структурой. В частности, числительные '3 × 9', или '27', передают **полносчетное множество** – число дней лунного месяца (см. ниже).

В своей статье [Жолобов 2002: 300] мы приняли как данность утверждение Ю. Шевелева об отсутствии топоса '3 × 9' в литовском языке при распространенности его в латышских источниках. При перепроверке этого вывода выяснилось, что он совершенно безоснователен. Важное место в литовской традиции занимало божество плодородия Самбарис, которое связано с праздником Sambarios или Saborios, называемым также "**трижды девять**" [Мифы 1997, II: 398][4]. Он мог так называться потому, что на

---

[2] "Trīs vīri brien pa jūru, visiem rozes rokā. Visas visas iekrita jūrā, noslīka, pazuda, izklīda, iegrima dibenāzilā, sakranā, baltā; citas dažādas – savītušas, sakaltušas kā tabaka lapa. Jūrā *trejdeviņi* kalēji, *trejdeviņi* āmari, *trejdeviņas* laktas: tie viņas sasitīs, tie viņas sakapās *trejdeviņiem* zobeiniem – iznīka, izputēja visas kā vecs mēnesis, ka vecs pūpēdis" (rožu vardi).

[3] Здесь точнее было бы перевести *трижды девять*. См.:

"Nāks no jūras *trīsreiz deviņas* zibenes, *trīsreiz deviņi* pērkoni: tie tevi spers, tie tevi sitis pa *trīsreiz deviņi* asi, pa *trīsreiz deviņi* jūdzi iekš zemes. Tur tavs tēvs, tur tava māte, tur tavi brāļi, tur tavas māsas, tur tu pats, tur tu iekšā paliec, mūžam augšā necelies, – kamēr šī saule, kamēr šī zeme – bez gala" (izbīla vārdi).

[4] Благодарю Пьетро У. Дини за указание на принадлежность этого праздника литовской традиции и на соответствующую словарную статью.

праздник "каждый земледелец набирал по *девять* полных пригоршней зерна разных сортов... и разделял каждую на *три* части. После этого *двадцать семь* кучек зерна разного сорта ссыпали в одну и перемешивали..." [Фрэзер 1998: 503–504]. Описание праздника было дано в XVIII в. М. Преториусом. Оно приводится также у Дж. Фрэзера.

Славянский ареал распространения числительного *тридевять* вовсе не ограничен восточнославянской областью. Есть его следы у западных славян, в польских источниках (SP, III: 91). Образ '3 × 9' засвидетельствован в западнославянском языческом ритуале: "при гаданиях вороного коня Триглава трижды водили через девять копий, положенных на землю" [Мифы 1997, II: 524]. Согласно недавней публикации, числительное *тридевет* встречается в юго-западных болгарских говорах, а в других фольклорно-диалектных болгарских материалах употребляется композит *тришдевет* [Витанова 2001: 15–16][5]. Эти примеры позволяют усматривать в случаях использования подобных числовых выражений продолжение общеславянской праформы.

В ряде этимологических словарей числительное *девѧносъто* трактуется как праславянская диалектная инновация. Отмечается, что данное числительное – след древнего счета девятками, так что *девѧносъто* должно пониматься как "девятная сотня" (SP, III: 88; НРЭ I: 73–75). Как было показано в работе Л. Хонти [Хонти 1989: 159–164], для этого предположения нет надежных оснований.

Счет по девяноста в русских летописях точно отражает соотнесенность '9' и '90' в **десятичной системе счисления**. Мифологизированному счетному выражению '3 × 9' в летописях соответствует '3 × 90':

> Домонтъ со Псковичи *съ тремя девяносты* плѣни землю Литовскую... *два же девяноста* мужь отпровади съ полономъ въ Псковъ (Новг. IV л. 6774 г.); *Двѣ же девяностѣ* мужь отпровади съ полономъ, а *во единомъ девяностѣ* самъ ся оста, жда по себѣ погони (Псков. I л. 6773 г.; Срезн. I: 650).

В балто-славянском разделе монографии "Indo-european numerals" Б. Комри [Comrie 1992: 722], подводя итоги многолетних исследований, отмечает, что происхождение "нональной" системы счисления в восточнославянских языках и в латышском остается неясным (ограничение девятичного счисления восточнославянскими и латышским языками, вероятно, вызвано опорой на работу Шевелева).

Вопреки этому взгляду, следует заключить, что девятичного счисления не существовало, а девятичный счет был ограничен и не переходил троекратного рубежа ('3 × '). Этот счет у славян имеет индоевропейские корни. Числительные '7' и '9' у древних индоевропейцев варьируют, поскольку выражают **"конкурентные" формы членения временного континуума** – промежутки лунного календаря [Roscher 1904: 73 и др.]. В древних хронологических системах 28-дневный месяц, состоящий из четырех 7-дневных недель, основывается на смене лунных фаз, а 27-дневный месяц, складывающийся из трех 9-дневных недель, соответствует периоду, в течение которого Луна проходит зодиакальный круг[6]. Это противопоставление находит поддержку в современных аст-

---

[5] Ср., например:

(*Гюргя самовила*)
Ми прѐвела тридевет йзвори
И ѐднесла ѐдлу в рамнѐ поле;
Мйе бѐфме трйдевет мѐмчин'а
Йа чўвафме гѐра Богдѐнов;
Той съ чул прочул прис триждев'ът къдълъкъ,
тъ му съ пратили триждев'ът желти бъклички.

[6] Впрочем, и фазовый подход мог приводить к троичному членению лунного цикла. Ср. выделение трех фаз в заговоре:

на новом месяце и на ветхи месяце, и на перекрое месяце, во вся меженные дни, не могла бы она, раба Божия Н., без меня раба Божия Н., ни жить, ни быть (РусНар: 251).

рофизических представлениях, согласно которым различают три разновидности лунного месяца [Берри 1904: 66–67; РЭС 2001: 937]: а) синодический месяц – период смены лунных фаз, равный 29,5306 средних солнечных суток; б) сидерический месяц – время полного оборота Луны вокруг Земли относительно звезд, равный 27,3217 суток; в) драконический месяц – промежуток между двумя последовательными прохождениями Луны через один и тот же узел орбиты, равный 27,2122 суток.

Отмеченная Рошером конкуренция двух хронотипов в действительности могла означать противопоставление "фазового" и "звездного" месяцев как **хозяйственно-бытовой и ритуально-магической календарных систем**. О ритуально-магической природе звездного месяца явственно свидетельствует западнославянская языческая практика, когда коня-оракула в святилище Триглава трижды проводили через девять копий, разложенных на земле. Ср. указания на фазы синодического месяца, а также сообщение о 27-дневном, сидерическом, месяце в древнерусских источниках:

се соуть ѡбразы лоуньнии четыре ·а҃·ѥ новоѥ гл҃ють(с) · мѣсѧчьныи наричють · ·в҃·ѥ перекрои ·г҃·ѥѥ · ѡбоꙗмо горбаво ·д҃·ѥ свѣтло (КН 1285–1291: 566а–б); а се лунамъ. перекрои. и полньꙗ. и настатьꙗ. перекрои въ .и҃. днь. полньє въ .є҃і. други перекрои послѣдни въ .кв҃. а исхо(д) и настатьѥ ищи в лоунницѣ. колико в к(о)ѥи днии (НЗЧ 1354: 169в);

vs.

Луна... кругъ мінуѥть двѣма же десѧтьма и ·з҃· дн҃ии и третиною ѥдиного дн҃е рекше ·и҃· ча(с) (Пал 1406: 8б).

Исходя из счета дней звездного календаря, "магические формулы", которые обязательно сопровождали приготовление лекарственных снадобий, согласно древнеримским источникам, требовалось произносить 9 или 3 × 9 раз, из 9 книг кумской Сивиллы по легенде уцелели 3 и сопровождали их на процессиях "ter novenae virgines", а в кельтских памятниках '3' может варьировать с '27', сочетание числительных '3' и '9' зафиксировано в иранских источниках и германских юридических текстах (см. [Numbers 1961: 410–411; Roscher 1904: 56, 65]) и т.д.

В качестве предположения необходимо отметить[7], что древнеславянские контексты с упоминавшимися ранее "тридевятью сестреницами" – берегинями или вилами – могут быть родственными ведийской традиции, в которой 27 дочерей бога Дакши, персонифицирующие сидерический месячный цикл, были отданы в жены богу Соме, связанному с Луной, растительностью и влагой. Эти атрибуты присущи и славянским берегиням или вилам, а индоевропейская параллель проясняет их происхождение и функциональность. Между славянской и ведийской линией здесь слишком много сходного, чтобы оказаться простым совпадением. В исследованиях по мифологии в характеристике этих персонажей (берегинь и вил) до сих пор нет даже видимости единства (см. [Слав. древности 1995: 155–156, 369–371]).

В то же время следует иметь в виду, что '9' имеет особую природу. Оно обозначает **полное число** счетных единиц на разных уровнях **десятичного счисления**. Поэтому в древнегреческом счетном инструменте – абаке – счет, находясь в границах десятичного счисления, фактически велся с помощью девяти камешков (бобов, косточек и под.) на разных уровнях этого счисления. Действительно, единиц в десятичном счете – 9, десятков – 9, сотен – 9 и т. д. Более чем явственно эта особенность десятичного счисления проявилась в греческой, а затем и в греко-славянской письменной традиции. В греческой и славянской системах цифровых обозначений ровно 27 знаков, которые разбиваются на 3 группы по 9 знаков в каждой. См.:

[7] Оно до сих пор не было высказано и может оказаться полезным в дальнейшем исследовании персонажей славянской мифологии.

Первые девять знаков – единицы	Вторые девять знаков – десятки	Третьи девять знаков – сотни
1 α' ·а҃·	1 ι' ·і҃·	1 ρ' ·р҃·
2 β' ·в҃·	2 κ' ·к҃·	2 σ' ·с҃·
3 γ ·г҃·	3 λ' ·л҃·	3 τ' ·т҃·
4 δ' ·д҃·	4 μ' ·м҃·	4 υ' ·ѵ҃·
5 ε' ·є҃·	5 ν' ·н҃·	5 φ' ·ф҃·
6 ς' ·ѕ҃·	6 ξ' ·ѯ҃·	6 χ' ·х҃·
7 ζ' ·з҃·	7 ο' ·о҃·	7 ψ' ·ѱ҃·
8 η' ·и҃·	8 π' ·п҃·	8 ω' ·ѡ҃·
9 θ' ·ѳ҃·	9 ϙ' ·ϙ҃·	9 ϡ' ·ѧ҃·

В том, что кириллица точно следует за греческой цифирью, и в том, что она распространилась, несмотря на существование глаголической письменности, нельзя не видеть свидетельств опережающего усвоения славянами греческой буквенной цифири по сравнению со звуковым алфавитом. Существуют и "документированные свидетельства использования цифровых записей" уже в середине и во второй половине X в. в Тамани и Белой Веже, "где Русь тесно соприкасалась с византийским миром и Хазарией" [Медынцева 2000: 245].

Как известно, для обозначения тысяч, десятков и сотен тысяч в греко-славянской азбуке использовались обозначения трех первых разрядов, дополненные особыми значками. Таким образом, с помощью 27 знаков удавалось передать сколько угодно большие числа. Вполне реалистичным выглядит предположение о том, что совпадение структуры греко-славянского алфавита с традиционным символическим выражением '3 × 9' могло сознаваться. В буквенной цифири символика полносчетного множества приобретала завершающий характер в идее исчерпанности количественного ряда. Сакрально-магическая природа алфавита отложилась в композиционной фигуре акростиха.

В Древней Руси был известен сакрально-магический символизм 27-буквенной греко-славянской азбуки. Яркий пример тому один из наиболее древних абецедариев, записанных на стене киевской Софии в XI в. Найден он был и впервые описан С.А. Высоцким [1976: 12 и сл.], а недавно вновь рассмотрен А.А. Зализняком [1999: 555–558], который указал на его "четко ощутимый сакральный характер". В этом греко-славянском алфавите лишь 27 букв, и поэтому он не мог использоваться по своему прямому назначению – как перечень знаков для записи славянской речи. В алфавите 24 буквы греческие, а 3 – славянские – **б, ж, ш**. Причем греческая буква "пси" записана сходно со славянской буквой "шта". Славянские буквы заменяют отсутствующие греческие буквы стигма, коппа и сампи, которые имели цифровое значение и в обычную греческую азбуку не включались. Алфавит начинается с альфы (по-славянски *азъ*) и заканчивается омегой (по-славянски *отъ*), являясь сакрально-символической отсылкой к стиху Апокалипсиса (1, 8)[8]: **А҆́зъ є҆́смь а҆́лфа и҆ ѡ҆ме́га, нача́токъ и҆ коне́цъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь, сы́и, и҆ и҆́же бѣ и҆ грѧды́й, вседержи́тель**. 27-буквенный греческий алфавит использовался в особо торжественных случаях, когда на первый план выступала идея полноты-плеромы. В рассматриваемом примере особенно любопытно смешение греческих и славянских букв, которое четко укладывается в границы 27 обозначений, хотя автор надписи был свободен в выборе количественных параметров этого смешения. Три славянские

[8] См. несколько иной перевод: Азъ єсмь алфа и ѡ · гл҃ть г(с)ь бъ҃ · иже сыи · и єже бѣ · и грѧдыи вседержите(л) (НЗЧ 1354: 149а: Откр. 1, 8).

буквы, которыми он ограничился, подчеркивают нацеленность на число 27 и в таком случае могут сигнализировать о трехчастном членении алфавита: '27' = '3 × 9'.

В целом славянские примеры ограниченного девятичного счета, восходя к одному прототипу, могут обнаруживать рано сложившуюся полимотивированность обозначения '3 × 9', которая подкреплялась новыми культурными влияниями в письменную эпоху[9].

А.А. Зализняк [1993: 105] полагает, что числительное *тридевять* не может обозначать точного количества (например, 27)[10]. Это "мифологизированное обозначение некоего большого количества, соединяющее в себе сакральные свойства числа девять и числа три"[11]. Это не так. Сохранилось немалое число примеров, где, не теряя своего мифологизированного характера, это числительное передает точную арифметическую величину – 27 (выше некоторые примеры были приведены). В восточнославянской мифологии сохраняется связь данного числительного с конкретным счетом, который имел ритуально-магический характер. Вот еще один выразительный пример:

> «В поморье Кемского уезда, перед возвращением промышленников с Мурманского берега домой, бабы целым селением отправляются к морю молить ветер, чтобы не серчал и давал бы льготу дорогим летникам… На следующую ночь, после богомолья, все выходят на берег своей деревенской реки… и стараются припомнить и сосчистать ровно двадцать семь 3 × 9 плешивых из знакомых своих в одной волости и даже в деревне, если только есть возможность к тому. Вспоминая имя плешивого, **делают рубеж** на лучинке углем или ножом; произнеся имя последнего, 27-го, нарезывают уже крест. С этими лучинами все женское население деревни выходит на задворки и выкрикивает сколь возможно громко. "Восток, да обедник, пора потянуть! Запад да шалоник, пора покидать! **Тридевять** плешей все **сосчитанные**, **пересчитанные**; встокова плешь наперед пошла"…» (РусНар: 315–316).

В рассмотренном случае присутствуют "черты-резы", которые применялись в календарных расчетах, а также ясно проявляется субститационная связь этих расчетов с определенными персонажами, которым придавалась в счете магическая функция.

Значение данного числительного в мифологической традиции состояло в следующем: числительное '3 × 9', или '27', восходящее к счету дней сидерического (звездного) месяца, **воплощало идею полносчетного множества, которое обладало магической силой**, вобравшей в себя магические возможности каждого из 27 его "ангелов-покровителей". Данное значение так или иначе присутствует во всех приводившихся балтославянских примерах.

Одно из наиболее древних свидетельств подобного девятичного счета – новгородская берестяная грамота № 715, которая датируется первой половиной XIII в.:

тридєвѧ<т>о анєєло тридєвѧ ароханєло
избави раба жєѧ михєѧ трасавичє
молитвами свѧт'ыѧ богородичѧ

Как было отмечено А.А. Зализняком [1993: 104; 1995: 428], грамота представляет собой древнейший восточнославянский заговорный текст, а берёста с записью могла использоваться в качестве науза.

---

[9] В латышском фольклоре архаичная индоевропейская традиция девятичного счета в позднем средневековье причудливо переплелась с каббалистической практикой (см. [Лекомцева 1993]).

[10] См. также Л. Хонти [Хонти 1989: 160 и др.]. Он отвергает предположения о девятеричной системе счисления как в финно-угорских языках в целом, так и в древнерусском, не считая возможным связывать числительное *тридевять* с реальным счетом.

[11] Очень близкая характеристика содержалась в нашей статье [Жолобов 2001: 105–106].

Числительное '3 × 9' восходит к дохристианской традиции, являясь индоевропейским архаизмом (таким же, как, например, дуалис)[12]. Оно имеет в ГрБ № 715 ритуально-магическую функцию, обозначая полносчетное, плероматическое множество[13]. Автор использует, кроме того, парную формулу *ангелы и архангелы*, что обычно для народно-мифологической традиции, где удвоение имеет функцию сакральной "идеализации" (см. [Жолобов 1997: 203])[14].

Образ "тридевяти" как плероматический символ обнаруживают греко-византийские церковно-юридические тексты, откуда он проник в древнерусскую письменность. Числительное *тридевять* содержится в переводном тексте XII в. – Ефремовской Кормчей. Здесь встречаются следующие формы:

три девѧти... лѣтъ (242б) (греч. τρίς ἐννέα... ἐνιαυτοί); *въ третиюю же девѧть* (греч. ἐν δὲ τῇ τρίτῃ ἐννάδι / ἐννεάδι)[15].

Славянский перевод во всем фрагменте довольно невнятен. Из греческого текста явствует, что убийство может быть искуплено в "трегубый" срок, где каждая из трех ступеней длится девять лет. В первые девять лет совершивший преступление лишается церковного общения, во вторые девять лет ему может быть дозволено лишь стоять в притворе с оглашенными, в третью "девятерицу" (в греч. здесь существительное) он допускается к общей молитве и причастию. Таким образом, здесь составное числительное *три девѧти* обозначает реальное число 27. Однако эта реальная величина является и величиной идеальной, которая символизирует плероматическое множество. В Древней Руси идеально-символический характер этого образа был, по-видимому, вполне очевиден, поскольку установления кормчих книг, как правило, вовсе не становились руководством в правовой практике, да и знакомство с юридическими источниками подобного рода не было сколько-нибудь широким.

В данной юридической статье указано также, что срок в девять лет на каждой из трех ступеней может быть сокращен до восьми, семи и т. д. лет при скором исправлении провинившегося. Это только подчеркивает особый характер исходной величины,

---

[12] Составитель заговора отвлекается и от христианско-ветхозаветной традиции, согласно которой число архангелов равно семи, а имена трех из них общеизвестны – это Михаил, Гавриил, Рафаил (см. [Мифы 1997, I: 110]).

[13] Ср. топос счета в фольклорной заговорной традиции:

и упрашиваю и умаливаю ***по числу херувимов*** *и пасущих мя,* ***по числу серафимов****, стерегущих мя, и замкните меня... в роде сем от злых человек* (РусНар: 270).

[14] Термин "идеализация" (сказочная, эпическая и т. д.) принадлежит А.А. Потебне [1968: 418].

[15] См.:

ѥгда къто съплетыисѧ которою сила же и бикмъ · нанесеть нѣ на кокго оудареник · роучьныа ради раны · ѥдиною бо гнѣвъмь и стрьмлѥникмь ѧрости · ѿлоучивъ ничьто же бы · чрѣсъ врѣмѧ страсти ѿсѣщи зълок · могоущихъ · на оумъ прииметь · ако и ѥже ѿ плетѥниа · съвьршеник оубииства · въ дѣло изволѥниа · а не на полоученик възводить · невольнии же ѩвленаа имоуть · съказаниа · ѥгда къто къ иномоу кок потъщаник имѣа · ѿ нелоучениа нѣчьто неицѣльныихъ · сътворить на сихъ оубо оубиистьо · на трьгоубо лѣто (εἰς τριπλασίονα χρόνον) простираѥтьсѧ · обращеникмь цѣлѧщиимъ вольныа сквьрны · **три девѧти** бо лѣтъ (τρὶς ἐννέα γὰρ ἐνιαυτοί) въ кыижьдо чинъ · **девѧтааго** лѣтъмь заповѣданомъ (ἕκαστον βαθμὸν τῆς ἐννάδος τῶν ἐτῶν ὁρισθείσης) ако въ ѿлоученик оубо ѿноудъ · ѥдино лѣто быти · възбранѧѥмоу ѿ цр҃кве · дроугаа же толика лѣта въ притворѣ да стаѥть съ оглашеныими и да послоушаа оучениа исходить · и съ людьми въноутрь цр҃кве съподобитьсѧ · и съ оглашеныими не исходить · **въ третиюю же девѧть** (ἐν δὲ τῇ τρίτῃ ἐννάδι) съ обращеникмь молящюсѧ · тако прити къ причастию освѣщеныихъ · ѩвѣ ако и на таковѣмь съблюденик боудеть · ѿ съмотрѧщааго цр҃къвъ · и къ словоу ѡбращениа раздѣлитьсѧ ѥмоу запрѣщеник простьрениа · ако въ **девѧти** лѣтъ 243а мѣсто · на кокмьждо чиноу осмок или семок · или шесток · или пѧток · ѥдинѣмь быти · нежели велиист[в]о обращениа одолѣѥть врѣмени (KE XII: 242а–243а).

символизирующей хронологическую полноту. Символический характер сроков наказания в КЕ XII выступает особенно отчетливо в их непременном трехчастном делении.

Непростым вопросом является грамматическая интерпретация числительных, встретившихся в ГрБ № 715. В первом случае в подлиннике грамоты не читается одна буква. А.А. Зализняк предлагает конъектуру *тридевѧ<т>о* [Зализняк 1993: 105] и *три девѧ<т>о* [Зализняк 1995: 428]. Хотя на фоне последующего *тридевѧ* здесь было бы возможно допустить другое чтение – *тридевѧ <?>о* или, например, *тридевѧ <б>о*...

В работе 1993 г. А.А. Зализняк исходит из композита *тридевѧто* (т.е. *тридевѧтъ* в традиционной орфографии) и *тридевѧ*. А в монографии "Древненовгородский диалект" здесь восстанавливаются составные числительные *три девѧто* и *три девѧ*. Он усматривает в этих формах фонетические диалектные черты – отвердение [т'], а затем и вовсе его отпадение. В монографии интепретация форм усложняется, потому что, исходя из исконного *три девѧти*, автор вынужден констатировать утрату флексии (!) ИП множ. числа *-и*. Здесь смущает то, что фонетические правила введены специально для отдельных словоформ числительных, в то время как за рамками числительных данные правила не действуют. Так, например, в 3 лице презенса появление флективного *-тъ* вместо *-ть* отмечается в единичных случаях лишь с середины XIV в. Отпадение конечного *-ть* в числительных А.А. Зализняк усматривает в примерах, которые, как уже отмечалось [Жолобов 2002: 297–299], соответствуют исконным формам и являются грамматическими архаизмами: *дьвѧ* рьзно ГрБ № 621 (50 XII–10 XIII); пѧть на *десѧ* дежекъ овьса ГрБ № 219 (XII/XIII) и под.

Идентичные фонетические изменения А.А. Зализняк усматривает в другом составном числительном: поло трьтиѧ *дьсѧто* гривьно сьрьбра ГрБ № 61 (30–60 XIII). Здесь выстраивается следующая цепь фонетических изменений: (*полъ третьѧ*) *десѧте* > > (*полъ третьѧ*) *десѧть* > (*полъ третьѧ*) *десѧтъ*; *три девѧти* > *три девѧть* > *три девѧто*. Эту фонетическую интепретацию принять трудно. Дело в том, что составное числительное *поло трьтиѧ дьсѧто* имеет прозрачное грамматическое объяснение. Это морфосинтаксическая инновация – обобщение модели составных числительных – большого квантитатива *пѧть десѧтъ*, *шесть десѧтъ* и под. Ср. это же поновление в чуть более позднем источнике той же диалектной принадлежности:

пришли бо бѧхоу въ *полоу шеста дьсѧтъ* шнекъ (ЛН XIII$_2$: 32 об. под 1164 г.); слоуживъшю ѥмоу ѹ ст҃го иѩкова *полъ пѧта дьсѧтъ* лѣ(т) (ЛН XIII$_2$: 48 об. под 1188 г.).

Идентичную морфосинтаксическую инновацию допустимо видеть в числительном *тридевѧто* (т.е. *тридевѧтъ* по образцу *пѧтьдесѧтъ* и под.)[16] – рядом с иным вариантом – числительным *тридевѧ*, которое происходит из сложения. Хотя возможно вернуться и к раннему предположению А.А. Зализняка об исходном композите *тридевѧть*, в котором конечный согласный отвердел. Ср. с предполагаемым отвердением: *пѧтъ кнъ* – ГрБ № 219 (XII/XIII), где, впрочем, Ъ в *пѧтъ* может быть опиской (см. [Зализняк 1995: 365]).

Числительное *тридевѧ* представляет сложение, в котором использован архаизм *девѧ*, в то время как глубоким архаизмом является и сам тип числового выражения '3 × 9'. Нет оснований видеть уникальное фонетическое упрощение *три девѧ* < *три девѧть* < < *три девѧти* там, где представлено обычное композитное образование.

Однотипные композитные обозначения числительных '20' и '30' фиксируются уже в Супр. Вероятно, они спорадически допускались в праславянском, отражая противопоставление счетной и количественной функций. См.:

[16] Ср. в позднедревнерусских источниках: ихъ(ж) дн҃и ращитаѥмъ съ *четырью дьсѧтъ* лѣ(т) поустынны(х) (ГА XIV$_1$: 60б); семь же недѣль бе соуботъ и недѣль бываеть · *тридесѧтъ* и пѧть дн҃ии (ПНЧ к. XIV: 194г).

жиста девѧть сътъ · и л҃лѣтъ · родивъша с҃нъ и дъштери · отъ нихъже исп'лънъ сѧ миръ вьсь · адамоу же отъ ослоушаниꙗ конець прикм'шоу по девѧти сътъ и тридесѧти лѣтѣхъ (Супр I: 5); бѣахѫ бо въ широтѫ пѧти лакътъ · а вы дльготѫ двадесѧти ти пѧти лакътъ (Супр I: 115 об.).

Употребление таких форм отражает корреляцию количественных и порядковых числительных, из которых последние были представлены исключительно в сложениях. Ср.:

Вь лѣто двоdесѧтъноk и четврьтоk · цѣсара диѡклитиана · мѧтежь бысть великъ (Супр I: 110 об.); дъвадесѧтъноуоуѹмоу оубо и осмоуѹмоу лѣтоу пришьдъшоу (Супр III: 6 об.); въ двадесѧтъноk своkѧ kмоу връсты лѣто · и осмоk епископъ поставьkнъ бы (Супр III: 17).

Со второй половины XIII в. композиты широко представлены в древнерусских книжных источниках, наряду с более привычными составными формами. См.:

и поидоста ѡба и *тридесѧть* моужь · ѿ с҃нвъ пр(о)рчьскъ · и сташа прѧмо издалеча (Парем 1271: 12в); трии сътъ лакътъ въ широтоу · и *тридесѧти* лакътъ · въ высотоу (72б); и распалашесѧ пламень надъ пещью · на *четырї҃десꙗть* и ·ѳ҃· лакътъ (216г); съшедъшемъ же (с) еп(с)кпмъ тремъ стомъ · *четыредесѧть* и единомоу (КР 1284: 86); *тридесѧть* шестаꙗ же гра(н) шестьдесѧтныхъ книгъ (49г); *Двадесѧть* и второк правило с҃тхъ ап(с)лъ (106в); въ *двадесѧть* д҃нии (342б).

Композитные формы в берестяной письменности фиксируются очень рано – уже в грамоте № 630 (20–50 XII):

о: ньжька *довадьсѧть* бьрковьско бьз ьрьковьска оу гоницѧ бьз бьрьковьска *довадьсѧть*.

Фонетическую редукцию *-и* и звуковой переход *дъва десѧти* в *дъва десѧть*, как и обсуждавшийся выше переход *три девѧти* в *три девѧть* и далее в *три девѧ*, о которых говорит А.А. Зализняк [Зализняк 1995: 116], принять нельзя, потому что *-и* выражает падежно-числовое значение, а его утрата разрушает нормальные грамматические связи в тексте. Рассматриваемые числительные не сопоставимы с примерами сокращения конечного гласного в случаях вроде *ходити* > *ходить, ходиши* > *ходишь*, в которых гласный не входит в парадигматические противопоставления и является морфологически выхолощенным. К тому же в грамотах нет примеров сокращения инфинитивных форм, хотя однажды представлена ранняя форма с сокращением гласного во 2 лице ед. числа: *воземеше* – ГрБ № 227 (60–70 XII)[17].

Особенности новгородской орфографической системы позволяют интерпретировать *довадьсѧть* как *дъва десѧте*. Но отклонение от правильного двойственного числа маловероятно в условиях живого его употребления, при том что в этой же грамоте встречается закономерная форма дуалиса (с опиской: *бьз доувоу ногоутоу*).

Итак, можно подвести итоги. Благодаря находке новгородоведов, в ГрБ № 715 (XIII_1) обнаружены древнейшие из известных примеры числительного ‘3 × 9’: *тридевѧтъ* и *тридевѧ*. Собственно фонетическое истолкование этих словоформ вызывает сомнения, более реалистичным представляется решение, опирающееся на морфосинтаксические параметры. Есть основания полагать, что данные числительные являются сложениями, как и закрепившееся в поздних источниках числительное *тридевять*.

[17] Эта форма может быть опиской, так как конечное *ше* могло быть записано по инерции под влиянием двух предшествующих *зе-ме*.

Вопреки распространенной точке зрения, числительное *тридевять* не является остатком особого девятичного счисления, которого, судя по всему, не существовало. Нельзя говорить о девятичном счислении там, где допустимо вести речь лишь об ограниченном счете по девяти, имевшем ритуально-магический характер. В то же время данное числительное нельзя отождествлять и с обычным совмещением двух сакральных чисел, не обозначающим точного количества.

ИСТОЧНИКИ

ГА XIV_1 – *В.М. Истрин.* Книги временные и образные Георгия Мниха: Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Т. I: Текст. Пг., 1920.

ГрБ (+ номер грамоты) – Новгородские грамоты на бересте // А.А. Зализняк. Древненовгородский диалект. 1995.

КЕ XII – *В.Н. Бенешевич.* Древнеславянская кормчая XIV титулов без толкований. Т. I. Вып. 1–3. СПб., 1906–1907.

КН 1285–1291 – Новгородская кормчая. Рукопись ГИМ, Син., № 132 (по фотокопии).

КР 1284 – Рязанская кормчая. Рукопись РНБ, F. п. I. 1 (по фотокопии).

ЛН – Новгородская харатейная летопись / Издано под наблюдением М.Н. Тихомирова. М., 1964: ЛН XIII_2 – л. 1–118 об.

НЗЧ 1354 – Чудовская рукопись Нового Завета 1354 года. М., 2001.

Пал 1406 – Палея толковая по списку, сделанному в Коломне в 1406 г. Вып. 1–2. М., 1892–1896.

Парем 1271 – Захариинский паремейник. Рукопись РНБ, Q. п. I. 13.

ПНЧ к. XIV – Пандекты Никона Черногорца. Рукопись ГИМ, Чуд. № 16 (по фотокопии).

РусНар – Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия / Собр. М. Забылиным. Кн. 1. М., 1996.

Супр – Супрасльская рукопись Труд Сергея Северьянова // Памятники старославянского языка. Т. II. Вып. 1. СПб., 1904.

СЛОВАРИ

НРЭ – Новое в русской этимологии. I. М., 2003.

РЭС – Российский энциклопедический словарь. Кн. 1. М., 2001.

Слав. древности 1995 – Славянские древности: этнолингвистический словарь / Под ред. Н.И. Толстого. Т. 1. М., 1995.

Срезн. – И.И. Срезневский. Материалы для Словаря древнерусского языка. Т. I–III. СПб., 1893–1903.

SP – Słownik prasłowiański / Pod red. Fr. Sławskiego. T. 1–7. Wrocław etc., 1974–1995.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Берри 1904 – *А. Берри.* Краткая история астрономии. М., 1904.

Витанова 2001 – *М. Витанова.* Следи от бройни системи, различни от десетичната, в българските говори // Българска реч. Год. VII / 2001. Кн. 3.

Высоцкий 1976 – *С.А. Высоцкий.* Средневековые надписи Софии Киевской. XI–XVII вв. Киев, 1976.

Жолобов 1997 – *О.Ф. Жолобов.* Очерк теории гендиадиса (к описанию древнеславянской нумерологии) // Studien zur russischen Sprache und Literatur des 11.–18. Jahrhunderts. Frankfurt-am-Main etc., 1997.

Жолобов 2001 – *О.Ф. Жолобов.* Древнеславянские числительные как часть речи // ВЯ. 2001. № 2.

Жолобов 2002 – *О.Ф. Жолобов.* Древнерусский счет: *деся, наця, тридевя...* // RLing. 2002. V. 26. № 3.

Зализняк 1993 – *А.А. Зализняк.* Древнейший восточнославянский заговорный текст // Исследования в области балто-славянской культуры. Заговор. М., 1993.

Зализняк 1995 – *А.А. Зализняк.* Древненовгородский диалект. М., 1995.

Зализняк 1999 – *А.А. Зализняк*. О древнейших кириллических абецедариях // Поэтика. История литературы. Лингвистика. Сб. к 70-летию Вяч. Вс. Иванова. М., 1999.
Лекомцева 1993 – *М.И. Лекомцева*. Семиотический анализ одной инновации в латышских заговорах // Исследования в области балто-славянской культуры. Заговор. М., 1993.
Медынцева 2000 – *А.А. Медынцева*. Грамотность в Древней Руси (По памятникам эпиграфики X – первой половины XIII века). М., 2000.
Мифы 1997 – Мифы народов мира: Энциклопедия. Т. 1–2. М., 1997.
Олупе 1993 – *Э. Олупе*. Формула уничтожения в латышских заговорах // Исследования в области балто-славянской культуры. Заговор. М., 1993.
Потебня 1968 – *А.А. Потебня*. Из записок по русской грамматике. Т. III: Об изменениях значения и заменах существительного. М., 1968.
Соболевский 1926–1927 – *А.И. Соболевский*. Заметки по славянской морфологии // Slavia. 1926–1927. T. V.
Фрэзер 1998 – *Дж.Дж. Фрэзер*. Золотая ветвь: Исследования магии и религии. М., 1998.
Хонти 1989 – *Л. Хонти*. Заметка по этимологии русского числительного *девяносто* // Этимология. 1986–1987. М., 1989.
Щербак 1977 – *А.М. Щербак*. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков (имя). Л., 1977.
Comrie 1992 – *B. Comrie*. Balto-Slavonic // Indo-european numerals / Trends in linguistics. Studies and monographs. V. 57. Berlin; New York, 1992.
Numbers 1961 – Numbers // Encyclopaedia of religion and ethics. V. IX. Edinburg, 1961.
Polívka 1927 – *J. Polívka*. Les nombres 9 et 3 × 9 dans les contes des slaves de l'est // RÉSl. 1927. V. VII.
Roscher 1904 – *W.H. Roscher*. Die Sieben- und Neunzahl im Kultus und Mythus der Griechen / Abhandl. d. K. S. Gesellsch., d. Wissensch., phil.-hist. Kl. XXIV, 1. Leipzig, 1904.
Scherech 1952 – *Ju. Scherech*. Probleme der Bildung des Zahlwortes als Redeteil in den slavischen Sprachen. Lund, 1952.
Unbegaun 1935 – *B. Unbegaun*. La langue russe au XVIe siécle (1500–1550). La flexion des noms. Paris, 1935.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 2005

© 2005 г. И.А. СЕДАКОВА

ЗАИМСТВОВАННОЕ СЛОВО И ЕГО ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (болг. *КЪСМЕТ*)

Статья посвящена этнолингвистическому анализу ключевого для словаря традиционной культуры болгар слова-концепта *КЪСМЕТ*. Этот балканизм, известный другим языкам балканского языкового союза, обозначает широкий круг понятий, образующих в совокупности концепты СУДЬБА, ДОЛЯ и их конкретные проявления: "участь", "счастье", "удел", "удача", "везенье". Исследование этого термина, почти вытеснившего в болг. языке славянские соответствия (*чест, среща* и др.), проводится на широком языковом, этнографическом и фольклорном материале и демонстрирует механизмы проникновения и усвоения "не своего" слова и его семантики в языке-реципиенте.

Болгарский язык, как и другие члены балканского языкового союза (БЯС), отличается большим количеством заимствований в области лексики. Перекрестное межбалканское влияние распространяется и на экстралингвистическую реальность, благодаря чему сложилась та удивительная культурная и этнографическая общность народов Балканского полуострова, которую отмечают многие исследователи. Т.В. Цивьян высказала предположение о существовании не только БЯС, но и специфической, балканской модели мира [Цивьян 1990; 1999][1]. Сходство видения и конструирования мира проявляется отчасти в наличии слов-балканизмов и клишированных выражений неславянского происхождения, характеризующих этнокультурные понятия и реалии. Подобная лексика зафиксирована в фольклорных текстах самых разных жанров, в метаязыке обрядности, в вербализованных рекомендациях и запретах, связанных с народными поверьями, и пр. Балканизмы встречаются в современной диалектной речи, причем, как показывает экспедиционная практика [ДИОС 2000, 2001][2], не только в рассказах о прошлом, о местных традициях, но и в нарративах о жизненных перипетиях, в рассуждениях на современные бытовые, исторические и политические темы. Не обходится без этнокультурных балканизмов и современный болгарский язык, поскольку традиционная культура и народные представления не только в селах, но и в городах Болгарии характеризуются большой сохранностью.

Этнолингвистический анализ лексики традиционной духовной культуры позволяет выявить некоторые механизмы отбора и функционирования "не своего" и его роли в развитии и трансформации народных представлений, обрядности, поверий, фольклорных произведений. В зависимости от контекста употребления "не свое" может становиться "своим", то есть полностью ассимилироваться и вытеснять славянские эквиваленты на периферию. В подобных случаях заимствование подвергается народной этимологии и служит источником для возникновения целых ритуальных комплексов, например календарной магии [Толстой 1995; Попов 2003 и др.]. "Не свое" слово мо-

[1] В русле этих идей регулярно проводятся симпозиумы, на которых обсуждаются проблемы языковой и культурной общности балканских народов (упомянем хотя бы последние издания материалов [Знаки Балкан 1994; БЧ 5 1999; БЧ 6 2001; БЧ 7 2003]).

[2] Выражаю глубокую благодарность болгарским коллегам за предоставленную мне возможность работать в архивах Софии и в экспедициях.

жет оставаться "чужим" и использоваться для передачи семантики "инородного", "нечеловеческого", "природного", не заменяя собой славянские синонимы.

Возьмем несколько примеров из терминологии и обрядности болгарских родин, для которой характерно сосуществование славянских и неславянских лексем (подробнее см. [Седакова 2004]). Балканизмы неславянского происхождения служат целям табуированного обозначения компонентов столь опасного, по народным воззрениям, и трудно объяснимого явления, как рождение младенца. Табу на оповещение посторонних о беременности женщины, затем родов, имени младенца; запреты на упоминание роженицы и новорожденного коррелируют с употреблением заимствованной терминологии. "Чужое" слово с неславянским звучанием и непрозрачным значением не так "страшно" в речевом узусе. Впечатляющим этнолингвистическим фактом в этом плане следует считать наличие у болгар значительного множества имен для некрещеных младенцев, – имен, в основном заимствованных из соседних балканских языков[3]. Показательно, что эта лексика или отсутствует в этимологических словарях болгарского языка [МЕПР 1941; БЕР 1971–2002], или подвергается сомнительной этимологизации, ср. статьи *джавдже* [БЕР 1 1971: 352], *клефък* [МЕПР 1941: 240; БЕР 2 1979: 441], *къже* [БЕР 3 1986; 183], *маламка* [БЕР 3 1986: 625] и др.

Однако использование слов неславянского происхождения нельзя объяснить лишь процессом табуирования, важной причиной служит и многовековое взаимодействие разнородных культур и конфессий. Неславянская лексика часто встречается в зоне непосредственных контактов болгар с иноязычным населением (с помаками, румынами, греками)[4], хотя не только и не столько в этих регионах. Так, болг. *гебе* 'беременная' (из тур. *gebe* – 'то же') имеет довольно широкое ареальное распространение на юге Болгарии [Родопи 1984: 121; Сакар 2002; 256]. Параллельно с этим турцизмом употребляется и славянская лексика: *трудна, т'ошка* [Родопи 1984; 121], *непразна, временна, тварна* [Сакар 2002: 256] – типичный пример "пестроты" балканской диалектной терминосистемы[5].

Итак, заимствование и в том числе балканизмы, могут иметь статус общеболгарских (общесербских и т.д.) или диалектно ограниченных. Отсюда следует существенность такого важного показателя, как **освоенность/неосвоенность** слова в языке. Некоторые иноязычные лексемы (для болгарского языка это, например, *късмет* 'судьба', *орисници* 'демоны судьбы', *курбан* 'жертвоприношение' и мн. др.) "вросли" в славянские языки на Балканах, они образуют словообразовательные и формообразовательные варианты с использованием славянских и неславянских аффиксов, органично вписываются в литературный язык и не имеют ограничений в узусе. Однако несмотря на то, что в художественной литературе XIX – XX веков заимствования с абстрактным и предметным значением зачастую не маркированы, лексикографические издания (речь идет о толковых и переводных словарях) весьма приблизительно отражают семантический объем таких балканизмов. В этимологическом словаре болгарского языка (учитывающем данные говоров), в диалектных и фразеологических словарях содержится больше информации, и это не случайно: многие значения и контексты употребления балканизмов все же тесно связаны с разнообразными явлениями народной культуры в их диалектном многообразии, и расширение семантики происходит именно в рамках локальных традиций.

---

[3] Работа с этнографическими источниками позволила составить словарь болгарских терминов для обозначения младенцев до крещения и имянаречения, который включает в себя около 200 единиц.

[4] Ср., например, родопские именования женщины, родившей вне брака: *ажадия, брантия, мастия, сюргун* [Родопи 1984; 119]; болг. диал. (Ново село, Видинско) *мошул* – 'повитуха и ее супруг' от рум. *moş* 'дед' [БЕР 4 1995: 269] и др. локальные заимствования.

[5] Географию распространения заимствованной и исконно славянской этнокультурной лексики подробно изучают в наши дни диалектологи и этнолингвисты [БЧ 7 2003; Соболев 2001; Плотникова 2004 и др.].

Такая ситуация характерна для *белег, нишан* 'знак'[6], подробнее см. [Седакова 1999]. В терминологии болгарских семейных и календарных обрядов *белег, нишан* – слова, обладающие существенными этнокультурными коннотациями (что почти не отражено словарями болгарского языка). Они обозначают этапы и реалии предсвадебной обрядности (сватовство, помолвка; дар невесте и др.), а также небольшой, но очень важный фрагмент родинной обрядности, связанный с появлением родимых пятен и отметин на теле младенца. По народным поверьям, наличие знака на теле новорожденного обусловлено неверным поведением матери в период беременности и Божьим наказанием за ее грехи[7]. Эти слова входят в ряд фразеологизмов и пословиц "От бележен далеч бягай" (*От меченого держись подальше*) [Славейков 1972: 351], "Господ го белязал" [ФРБЕ 1 1974: 220] (ср. рус. "Бог шельму метит"). *Белег* и *нишан* в некоторых контекстах употребления (как 'знак судьбы, жребий' в девичьих обрядах гадания о женихе и пр.) являются синонимами *късмет*, о котором и пойдет речь дальше.

Болг. *късмет* заимствовано из турецкого диал. *kismet*, возможно, через сербскохорватский [БЕР 3 1986: 231–232]. *Kisma, kismet* в арабском обозначают 'часть, порция', позднее получают семантику "судьба, определенная заранее участь человека" [EI 1986: 184]. Это балканизм известен албанскому, греческому, македонскому, сербскому и хорватскому языкам, однако с наибольшей частотой и регулярностью он встречается в болгарском, поэтому в данной статье мы сосредоточимся преимущественно на этнолингвистических материалах из Болгарии. Предположение о важности этого слова-концепта, вначале возникшее при работе с этнографическими и фольклорными данными, подтвердилось в ходе экспедиций в болгарские села; см. статью о семантике и узусе слова *късмет* в говоре с. Равна [Седакова 2000].

Късмет, согласно словарям болгарского языка XIX–XX вв. [Геров 2 1976: 446; МБТР 1951: 1122; БТР 1973: 404; РЧДБЕ 1982: 465], обозначает широкий круг понятий, образующих в совокупности концепты СУДЬБА, ДОЛЯ и их конкретные проявления "счастье", "удел", "удача", "везенье" (в том числе в браке) и др. По частотности употребления и по семиотической насыщенности этот термин можно считать ключевым в этнокультурном словаре болгар. Заимствование почти вытеснило славянские соответствия: *чест, доброчестина* ('участь, доля'), *църнилка* ('черная, несчастливая судьба') встречаются исключительно в фольклоре (хотя прилагательное *честит* 'счастливый' не оказалось на периферии литературного языка), *среща* (*срек'а*)[8], *намера* являются диалектными. Другие обозначения судьбы и удачи являются окказионализ-

---

[6] Отметим, что в этнокультурном словаре болгарского языка немало ранних заимствований, не относящихся к периоду османского владычества, но явно поддержанных пятивековым турецким господством. Эти заимствования имеют статус балканизмов, но они зафиксированы в старославянском, древнерусском языках, упоминаются в словарях украинского, а порой и белорусского языков (ср. [Цыхун 1998; 329]). Так, болг., в.-серб. *белег* – в др.-рус. *бѣлѣгъ* 'знак, пятно, белый струп' и 'подписанный бланк для удостоверения личности предъявителя' (ср. тур. *bilgü* 'знак'); болг., в.-серб. *нишан* – в др.-рус. *нишанъ* 'печать'; "А назади у грамоты нишанъ, а в нишане имя его хана, Ахметь царь" *нашенный* 'нишенный 'имеющий печать' [СлРЯ 1986: 388] (ср. тур. *nisan* 'диск, знак' [Фасмер 1: 146; 3: 77]). Еще один пример из народной правовой и родинной терминологии *Копеле, копиле* (с неясной этимологией – (?) лат., (?) алб., (?) греч., (?) тур. [БЕР 2 1979; 614; МБТР 1951: 1067]) доминирует как термин ('незаконнорожденный ребенок') в болгарской и сербской обрядности. В этом значении КОПЕЛЪ употребляется еще в Слепченском Апостоле, в русских текстах XVI в. (*копеличище* – "иже не от законныа жены отроча" [СлРЯ 1980: 296]). Это слово известно и другим балканским языкам: алб. *kopill*, рум., арум. *copil* и украинскому (*копильча, копилюк*) [БЕР 2 1979: 613–615].

[7] Такие родимые пятна известны многим европейским традициям, но количество рассказов и устойчивость болгарских представлений являются уникальными.

[8] *Срек'а* в значении 'судьба, удача' распространено на западе Болгарии, используется идентично серб. *срећа*, которое в сербскохорватском языке обладает большей полисемантичностью и частотностью, чем синонимичная заимствованная лексика [Якушкина 2004: 73].

мами – это относится к исконной славянской лексике, вербализующей представления о судьбе (*изрок* 'сказанное'; *раг'а* 'заданное от рождения' [ИДР (рукопись)] – или поздними русизмами (*съдба, съдбина*). Заимствования со значением 'судьба', очевидно, пришли на славянскую почву со своими этнокультурными коннотациями (*к'орка* [ИДР (рукопись)] – идея слепоты, из тур. *kür* 'слепой' [БЕР 3 1986: 243–244]; *вадьо* [ИДР (рукопись)] – судьба как определенный отрезок жизненного времени, через тур. *vade* из араб. *vade* 'срок' [БЕР 1 1971: 111], *аджель, еджель, ежел* [ИДР (рукопись)] 'судьба = смерть' через тур. *ecel* от араб. *äğäl* 'смерть, смертный час' [БЕР 1 1971: 478][9] и некоторые другие). Конкурирующими лексемами и выражениями со значением 'судьба' являются *орисия, орис* (из греч.) и безл., пассив. *Така ми било писано, наречено, орисано* ("Так мне было написано, предсказано").

Лексема *късмет* хорошо освоена в болгарском, ср. *късметлия, късметлив, късметен* ("счастливчик, удачник"), *късметсъз* (неудачник), *късметниче* (растение). Распространены и личные имена, фамилии (*Късметски* [БЕР 3 1986: 231]). При словообразовании используются не только турецкие суффиксы, но и собственно славянские (*късметец* и др.). *Късмет* подвергается и диалектным фонетическим изменениям – смягчению конечного согласного, подобно болгарским словам (*път', кон'*). Этот факт отмечен, в частности, в с. Равна.

Рассуждения о концептах судьбы, счастья и удачи, вербализованных в болг. *късмет*, основываются на исследованиях последних лет в этом направлении [Вежбицкая 1999; Топоров 1993; Концепт судьбы 1994; Николаева 1997; Михайлова 2001; Толстая 2002; Воркачев 2002; Якушкина 2004 и мн. др.]. Представляется, что прежде всего следует обозначить основные моменты судьбы, которая в народной интерпретации тесно связывается с рождением.

Универсальная идея многогранной связи **рождения** человека и его **судьбы** отчетливо прослеживается в языковых, этнографических и фольклорных материалах. Судьба в традиционной картине мира – это прежде всего основные этапы жизненного пути человека: вступление в брак, появление детей и смерть [Толстая 2002]. В понятие судьбы входят в другие аспекты человеческого бытия – удача, здоровье, богатство, черты и свойства личности, внешние данные, профессиональные навыки и др. Все эти параметры закладываются преимущественно в акциональную и вербальную магию родинной обрядности, которая призвана обеспечить нормальное протекание жизни и даровать младенцу благополучие.

При этом стремление человека повлиять на ход событий доминирующей идеей в народном связывании рождения и судьбы является фатализм[10], представление о заданности судьбы от рождения: человек или рождается с определенной участью: *Секи се е родил с късметя си* [БНМ 1968: 211] ("Каждый рождается со своей участью, судьбой"); *Казват, секи човек се рожда с късметя* [Равна 1997], с *долей* или получает ее вскоре после появления на свет (от Бога, реже – Богородицы, святых), ср. *Госпот' дава късметя* [Равна 1997], *Кога Господ давна късмет, не пита чий си син* [МБТР [1951: 1122] ("Когда Господь наделяет судьбой, не спрашивает, чей ты сын").

У южных славян и в некоторых регионах западной Славии сильна вера в демонов судьбы (*наречници, орисници, суденици*), которые *записывают* или *предсказывают* будущее младенца в первые дни после его рождения (см. выше *орисия, изрок*), см. подробно [Седакова 1994]. Кроме божественных и демонических сил, важную роль в определении судьбы играют земные обстоятельства: хронотоп и особенности рождения, очередность детей в семье (первый-последний маркированы), пол младенца, внешние

---

[9] Ср. о судьбе как смерти [Михайлова 2001: 73].

[10] Мы оставляет в стороне спорный вопрос о фатализме в мусульманской религии (выражаемом частично через концепт *kismet* в восточных странах, исповедующих ислам). Этому вопросу посвящена обширная литература, см. [EI 1986; ERE 1914], обсуждение которой не входит в задачи данной работы.

признаки, данное ему имя и пр. Существенны также поверья о влиянии на судьбу младенца рода (особенно в патриархальной болгарской среде) и родственников, крестных родителей, повитухи, кормилицы и др. Христианские и языческие представления сосуществуют, смешиваются, образуя пеструю картину разноплановых представлений: "все от Бога", "на роду/на родах написано", "наречено от наречници" (то есть от демонов судьбы), *такъв ми е късметьо* и др. Ср., например, клишированные объяснения судьбы = жизненного сценария, записанные от одной информантки в зап.-болг. с. Стакевци [ДИОС 2000, 2001]: "Божа работа", "Което Бог писал, така", "То му е писано от Бога" и вслед за этим "Одурисница така му и писала", "Така писано".

Связь судьбы с рождением актуализируется в случае трагических событий в жизни, например, смерти, что находит отражение в причитаниях. Зап.-болг. и макед. оплакивания отражают подобное смешение представлений о том, **кто, как** и **что** дает младенцу при рождении в качестве его судьбы:

Зер вака ти се нарекло / От пустине наречници, / Ога си се ти родило / Вдойца да останиш, / Младоста да си поцърниш ("Так ли тебе предсказано / Проклятыми наречницами / Когда ты родилась / Вдовой остаться / Молодой в темноте (черноте) жить";

или в другом причитании: *Що лош късмет сум имала / Що ми било наречено / Наречено и писано / Кога сум се яз родила / Трекьа вечер напишана / Да останам из вдоица* ("Что за несчастлива судьба у меня / Что мне было написано / Предсказано и написано / Когда я родилась / На третий вечер написано / Вдовой мне остаться") [Цепенков 172].

Следует отметить, что в вост.-болг. селе Равна обстоятельства жизни значительно чаще объясняют через *късмет* как в значении 'судьба', так и в значениях 'удача', 'случай'. Здесь *късмет* имеет в основном положительные коннотации, в противоположность терминам *орисия, орисница*, маркированным отрицательно. Пожилые люди, анализируя прожитую жизнь, описывая состояние здоровья, выбирают именно эту пару антонимов. Так, информантка, перенесшая много операций, говорит, что, когда она думает о своих болезнях, всегда вспоминает *орисницу*: *Каква орисница ме е орисала, та толкова боледувам* ("Какая же орисница меня орисала, что я столько хвораю"). Другие страдания, трагедии (смерть жены, например) также описываются подобным образом: *Орисала ме е орисницата тъй да се наказвам* ("Это меня орисница так орисала, чтобы я терпел такие наказания"). Информант 85 лет, который, несмотря на преклонный возраст, почти не знает, что такое болезнь, объясняет это своей счастливой судьбой: *Здраф съм, не знам што е крак да боли – такъф ми е късметьо* ("Я здоров, не знаю даже, что это такое – боль в ноге, такая уж у меня судьба, удача").

В последнем примере отделение значений 'судьба' 'удача' весьма затруднено, так же как и в этнографических описаниях и в фольклоре, когда говорится, что младенцу дается *късмет*. В некоторых контекстах понятно, что речь идет об удаче и моделировании с ч а с т ь я (именно на это направлена праздничная обрядность родин, одаривание младенца, произнесение благопожеланий), ср. также *Орисницата е орисала да имат късмет* "Орисница их орисала, чтобы они были счастливы" [Равна 1997]. Некоторые приметы также явно указывают на значение в е з е н ь я, у д а ч и: если ребенок родится спинкой вверх, будет удачливым, животом вверх – нет, и мн. др.

Късмет в значении "дача", "везенье", как полагают, дается при рождении: *Роди ма, мамо, с късмет, че ма фърли на смет, аз пак ще стана за кмет* [Славейков 1972: 429] ("Роди меня, мама, счастливой, и выброси меня на помойку, я все равно удачно выйду замуж"), но не обязательно: *Бес късмет сме родени* [БД 1980, 8: 257]. Врожденной удачи и везенья также можно лишиться, не соблюдая некоторые ограничения, см. ниже.

Кроме общей семантики "удача, доля, везенье, судьба", *късмет* имеет и более узкое значение и соотносится со вступлением в брак. Множество фразеологизмов и клише, устойчивых народных выражений построено на этом термине-концепте: *Като не му излезе късметя* ("Раз уж не судьба (жениться)"); *излезе късметя* (букв. 'Вышло, выпало счастье') метафорически означает "пришло время выйти замуж". Девушка ждет

определенного времени – *късмет*, чтобы и ее судьба была решена, то есть *Да й излезе късметя* [Пл. кр. 1986: 215]. Свое согласие на брак дочь при сватовстве выражает родителям клишированной фразой: *Щом ми е късмет* [Пир. кр. 1980: 392] ("Раз уж так мне суждено").

Безбрачие или более позднее, чем это принято, замужество связано с временными аспектами, обозначаемыми как късмет: *Още не му е излязъл късметя* ("Еще не подошло время жениться"), *Като му излезе късметьо, ше се омъжи* ("Подойдет время, выйдет замуж"). Запоздалое замужество часто комментируется в этнографической литературе и связывается с неправильным, несвоевременным выполнением родинных обрядов [Седакова 1998]. Пословица утешает в таком случае *Престояла погача, поарен късмет изчеква* [СбНУ 45/1949: 190] ("Выпеченный хлеб ждет лучшей участи").

Късмет как 'замужество, женитьба' (хотя это все же чаще девичья доля, возможно в связи с тем, что в сватовстве, в заключении брака девушкам отводится более пассивная роль) встречается во всех болгарских говорах. Здесь *късмет* реализует также и другие свои значения: "счастье, судьба, случай". Именно этим объясняются различные обстоятельства женитьбы. Удачная женитьба в с. Шипково комментируется следующим образом: *Късмет, улучила в женението* ("Счастье, ей повезло в замужестве" [ДИОС 2000, 2001], с. Шипково). женитьба на девушке из дальнего села объясняется ее "уделом, судьбой": *Такъф късмет, късметьо й било тука* ("Такая судьба, ее счастье там было" [Равна 1997]). Не только место, но и статус жениха зависит от понятия *късмет*, ср. *Ако имаше късмет Иглика, щеше да вземе владика* [БНМ 1968: 37] ("Если бы Иглика была счастливой, она бы вышла замуж за владыку (архиерея)").

Интересный случай представляет собой развитие семантики слова *risk* (первоначально 'риск, опасность' – болг. *риск*), ставшее в огласовке *ризик* на балканославянской почве синонимом *късмет*[11]. Ср. параллельное употребление двух заимствований с одним и тем же эпитетом: *Пусти ризик да плачиме* ("Проклятая доля оплакивать") и *Пусти к ъ с м е т* [Цепенков 1972: 110].

В болгарских и македонских диалектах *ризик, ризик* – это 'удел, доля, счастье, судьба': солун. *Тъко ми й бил ризику* ("Такой у меня удел"); *Ништу ни могъъ дъ стор'а – ризик* ("Ничего не могу поделать – судьба") [Вачева-Хотева, Керемидчиева 2002: 340]; макед. *На свој ризик* ("На свое везенье"). *Ризик* нередко встречается в причитаниях: *Църни ризик сум имала. Сирак да бидам до века* ("Черная судьба у меня, сиротой остаться на всю жизнь"); В болгарском языке эти значения оформлены в различные слова: *ризик* и *риск. Леле снао мила къерко... / Що си била безризична!* ("О-ох, невестка, милая дочка, Что же ты такая несчастная!") [Цепенков 1972: 118].

Уникальное значение *ризик*, которое не представлено ни одной другой лексемой, но заложено в концепте 'судьба', – это возможность женщины родить ребенка (бесплодие в браке приводило к тому, что женщина имела маргинальный статус в селе и не могла участвовать во многих обрядах, так как считалось, что она приносит несчастье): *Ризик немала, чедо не добила* ("Счастья не было, ребенка не родила") [PMJ 3: 117]. Ср. и болг. народную песнью:

Сирмо, Сирмо, р и з и к а р н а,	"Счастливица Сирма, Сирма,
Ако имаш два р и з и к а,	Если у тебя счастье двойное,
Да ми родиш мъжко чедо	Роди мне мальчика, сына,
Да ми родиш женско чедо	Роди мне девочку, дочку"
[Геров 5 1977: 79]	

Приведу небольшую балканскую параллель к этому заимствованию. В плане развития семантики и прагматики основы показательны эвфемистические именования

[11] *Рызик* в русских переводных церковных документах XI в. транскрибировало греческое и означало 'счастье' [Гальковский 2000: 158].

греческих нереид καλορίζικες 'с доброй судьбой' [Климова 2004]. В албанском (misik) и в греческом отмечены те же значения 'счастье, удел и пр.', но сохранено и первичное значение 'опасность' [БЕР 6 2002; 255]. Полисемия этого слова и семантические сдвиги заимствования в славянских языках не кажутся случайными, если учесть весь комплекс народных представлений о судьбе как фатуме, череде опасных и преимущественно несчастливых событий, а далее – как прохождение обязательных этапов на жизненном пути.

Късмет имеет не только абстрактные, но и предметные значения, которые, однако, так или иначе сопряжены с представлениями о судьбе, доле, жребии: это различные атрибуты для гаданий (кизиловые веточки, монетка в пироге для предсказывания будущего на Новый год – *баница с късмети, зел'ник с късмети*; знаки, по которым гадают девушки о предстоящем замужестве – *късмете*).

Представления о доле, счастье и удаче, выражаемые лексемой *късмет*, часто эксплицируются в полуритуализованной жизни. В народной традиции строго регламентируется поведение человека и обрядовое, и повседневное для того, чтобы семья, человек не утратили везенья и благополучия. *Късмет* в таких текстах предстает как нечто материальное, физическое, некая субстанция: его можно **съесть** (об обжоре говорят: *Изял си късметя*); **стряхнуть** с себя, если после еды отряхиваешь руки [РКС (рукопись), Нови Хан, Новоселско], **вычесать**, причесываясь не подпоясавшись; **отдать**, давая взаймы продукты или деньги в первый день сева; вынося хлеб нищему на тарелке [РКС (рукопись): 280]; **выбросить**, кидая хлеб со стола собаке; **потерять**, не доев свой кусок хлеба; **оставить**, не доев положенную на тарелку пищу; **вымести**, заметая мусор в темноте [РКС (рукопись): 339], **миновать**, перепрыгнув через метлу [РКС (рукопись): 179], и т.д. Идея вещности удачи, возможно, универсальна, ср. др.-ирл. материал в [Михайлова 2001: 78–80]. Пустота связывается с несчастьем, неудачливостью – так, запрет беременной кипятить воду мотивируется тем, что родившийся ребенок будет невезучим, *без късмет* [РКС (рукопись): 309].

Удачу можно и **обрести**, если найти на дороге подкову; **ускорить** (для этого совершают ритуальную кражу младенца); **освободить** (*да разкопчае късмета*), расстегнув пуговицу на рубашке умершего мужа, чтобы вдова впоследствии вышла замуж, и др.

Кроме акционального ряда *късмет* образует и объектное синонимичное поле: основные жизненноважные продукты (соль, уксус, закваска, зерно, мука), а также огонь, вода воплощают собой удачу и материальное благополучие дома. Отсюда следуют и указанные выше запреты и рекомендации, и обрядовые действия, например, при выносе покойника в погребальной обрядности. Жито и соль, после смерти положенные в гроб, при отправлении из дома на кладбище вынимают и относят в загон к домашним животным; через руки покойного пропускают отруби; на месте, где человек умер, в пол или лавку забивают гвозь [РКС (рукопись): 310, 323, 335], оставляя таким образом *късмет* умершего в доме [РКС (рукопись): 335], ср. идентичные восточнославянские материалы [Седакова О.А. 2004].

Слово *късмет* может означать и жизненную силу человека, которую также можно утратить, совершая неверные, с точки зрения носителей традиционной культуры, действия. Например, старый человек не может поливать на руки молодому, иначе последний передаст старшему свою долю, свой век [РКС (рукопись): 44], [Журавлев 1998; Седакова О.А. 2004].

Особый раздел поверий относится к человеку удачливому – *късметлия* (это рожденный в рубашке; внебрачный ребенок; появившийся на свет в воскресенье или на Пасху и др.). В рамках народной традиции *късметлия* наделяется определенными функциями, свойствами, он становится маркированным членом общества, он играет определенную роль в сельской ритуальной и повседневной жизни. Обычно именно таких людей приглашают на роль полазника в день св. Игнатия 20.12/2.01 для того, чтобы в новом году велась домашняя птица. На чужую (лучшую) удачу надеются в семьях, где "не держатся дети", когда оставляют ребенка в ожидании первого встречного,

чтобы он его крестил. Младенца вручают ему со словами: *Тебе ти е на късмет* ("Это на твою удачу") [СбНУ 48/1954: 378]. Аналогично совершается ритуал символического дарения ребенка в случае его болезни соседу *на негов късмет* ("на его счастье") [Равна 1997].

Сосредоточившись на анализе болг. *късмет*, мы оставили за пределами статьи целый ряд заимствованных лексем со значением 'судьба, доля, счастье, удача' и их этнокультурных коннотаций (*аир, бахт, нафака, сотра, илиум, огли, некас* [ИДР], *прокопсия, паало* 'счастье' от тур. *pahal* "дорогой" и др.). Этим словам будет посвящено отдельное исследование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

БД 1962 и сл. – Българска диалектология. Материали и проучвания. София. Т. 1–, 1962 – (продолжающееся издание).

БЕР 1971–2002 – Български етимологичен речник. Т. 1–6. София, 1971–2002.

БНМ 1968 – Балканска народна мъдрост. София, 1968.

БТР 1973 – Български тълковен речник. София, 1973.

БЧ 5 1999 – Балканские чтения 5. В поисках "балканского" на Балканах. М., 1999.

БЧ 6 2001 – Балканские чтения 6. Homo Balcanicus. Поведенческие сценарии и культурные роди. Античность. Средневековье. Новое время. М., 2001.

БЧ 7 2003 – Балканские чтения 7. В поисках "ориентального" на Балканах. Античность. Средневековье. Новое время. М., 2003.

Вачева-Хотева, Керемидчиева 2000 – *М. Вачева-Хотева, С. Керемидчиева*. Говорът на село Зарово, Солунско. София, 2000.

Вежбицкая 1999 – *А. Вежбицкая*. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999.

Воркачев 2002 – *С.Г. Воркачев*. Концепт счастья: значимостная составляющая // Язык, коммуникация и социальная среда. Вып. 2. Воронеж, 2002.

Гальковский 2000 – *Н.М. Гальковский*. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. М., 2000 (репринт).

Геров 1975–1978 – *Н. Геров*. Речник на българския език. София, 1975–1978. Т. 1–6.

ДИОС 2000, 2001 – Материалы, собранные автором в составе экспедиций болгарского общества ДИОС (с. Шипково, Троянская обл. – 2000 г.; с. Стакевци, Белоградчишская обл. – 2001 г.).

Журавлев 1998 – *А.Ф. Журавлев*. К реконструкции древнеславянского мировидения (о категориях "доли" и "меры" в их языковом и культурном выражении) // Проблемы славянского языкознания. Три доклада к XII Международному съезду славистов. М., 1998.

Знаки Балкан 1994 – Балканские чтения. Знаки Балкан. Ч. 1–2. М., 1994.

ИДР (рукопись) – Идеографический диалектный словарь болгарского языка (Картотека хранится в Софийском университете).

Климова 2004 – *К.А. Климова*. Нереиды в традиционной культуре современной Греции // IX конгресс по изучению юго-восточной Европы. Доклады российской делегации. СПБ., 2004.

МБТР 1951 – Български тълковен речник с оглед към народните говори / Стъкми Ст. Младенов. Т. 1. София, 1951.

МЕПР 1941 – *Ст. Младенов*. Етимологически и правописен речник на българския книжовен език. София, 1941.

Михайлова 2001 – *Т.А. Михайлова*. *СУДЬБА* и *ДОЛЯ*: к проблеме лексического оформления детерминистских представлений в раннеирландской традиции // ВЯ. 2001. № 6.

Николаева 1997 – *Т.М. Николаева*. "Слово о полку Игореве" и пушкинские тексты. § 2. Тема *Судьбы*. М., 1997.

Пир. кр. 1980 – Пирински край. Етнографски, фолклорни и езикови проучвания. София, 1980.

Пл. кр. 1986 – Пловдивски край. Етнографски и езикови проучвания. София, 1986.

Плотникова 2004 – *А.А. Плотникова*. Этнолингвистическая география Южной Славии. М., 2004.

Понятие судьбы 1994 – Понятие судьбы в контексте разных культур. М., 1994.

Попов 2004 – *Р. Попов*. Народная этимология и культ святых // Язык культуры: семантика и грамматика. К 80-летию со дня рождения академика Никиты Ильича Толстого. М., 2004.

Равна 1997 – Материалы, собранные автором в болгарском селе Равна, Провадия, Варненская обл. по программе Малого диалектного атласа балканских языков (руководитель проекта А.Н. Соболев, ИЛИ РАН, СПб.).
РКС (рукопись) – *Архив Ст. Романского (хранится в Софийском Университете им. Климента* Охридского, Болгария).
РМЈ 1961 – Речник на македонскиот јазик. Т. 1–3. Скопје, 1961.
Родопи 1984 – Родопи. Традиционна народна духовна култура и социалнонормативна култура. София, 1984.
РСКНЈ 1961 – Речник народног српскохрватског књижевног и народног језика. Београд, 1959–. Вып. 1 – (продолжающееся издание).
РЧДБЕ 1982 – Речник на чуждите думи в българския език. София, 1982.
Сакар 2002 – Сакар: Етнографско, фолклорно и езиково изследване. София, 2002.
СбНУ – Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. Книга 1–. София, 1889–.
Седакова 1994 – *И.А. Седакова.* Славянобалканские демоны судьбы: Трансформации во времени и в пространстве // Время в пространстве Балкан. М., 1994.
Седакова 1998 – *И.А. Седакова.* Матримониальные мотивы в славянских родинах // Кодови словенских култура. Свадба. Бр. 3. Београд.
Седакова 1999 – *И.А. Седакова.* О "знаках" и "отметинах" в традиционной культуре южных славян (*белег* и *нишан*) // Славянские этюды. Сборник к юбилею С.М. Толстой. М., 1999.
Седакова 2000 – *И.А. Седакова.* "'Живота е късмет'" (Об одной лексеме в словаре болгарского села Равна) Малый диалектологический атлас балканских языков. Материалы Четвертого рабочего совещания. Санкт-Петербург. СПб., 2000.
Седакова 2004 – *И.А. Седакова.* Балканское в терминологии и обрядности южнославянских родин // IX конгресс по изучению юго-восточной Европы. Доклады российской делегации. СПб., 2004.
Седакова О.А. 2004 – *О.А. Седакова.* Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян. М., 2004.
Славейков 1972 – *П.Р. Славейков.* Български притчи или пословици и характерни думи. София, 1972.
СлРЯ 1980 – Словарь русского языка XI–XVII вв. Т. К. М., 1980.
Соболев 2001 – *А.Н. Соболев.* Болгарский широкоыкский говор: Синтаксис. Лексика духовной культуры. Тексты. Marburg; Lahn, 2001.
Толстой 1995 – *Н.И. Толстой.* Народная этимология и "этимологическая магия" // Н.И. Толстой. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995.
Толстая 2002 – *С.М. Толстая.* Судьба // Славянская мифология. М., 2002.
Топоров 1993 – *В.Н. Топоров.* Эней – человек судьбы. М., 1993.
Фасмер 1986–1987 – *М. Фасмер.* Этимологический словарь русского языка. Т. 1–4. М., 1986–1987.
ФРБЕ 1974 – Фразеологичен речник на *българския* език. Т. 1–2. София, 1974.
Цивьян 1990 – *Т.В. Цивьян.* Лингвистические основы балканской модели мира. М., 1990.
Цивьян 1999 – *Т.В. Цивьян.* Движение и путь в балканской модели мира. Исследования по структуре текста. М., 1999.
Цепенков 1972 – *М. Цепенков.* Македонски народни умотворби. Скопје, 1972.
Цыхун 1998 – *Г. Цыхун.* З балгарска-беларускіх моўных паралеляў // Слово и культура. Памяти Н.И. Толстого. М., 1998. Т. 1.
Якушкина 2004 – *Е.И. Якушкина.* Балканославянская семантика судьбы в свете славяно-турецких языковых контактов // Проблемы изучения межъязыковых влияний в истории славянских языков и диалектов: социокультурный аспект. М., 2004.
EI 1986 – Encyclopedia of Islam / Ed. by C.E. Bosworth, E van Donzel, B. Lewis and Ch. Pellat. Vol.V. Leiden, 1986.
ERE 1914 – Encyclopaedia of religion and ethics / Ed. by James Hastings. V. 8. Edinburgh, 1914.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 2005

© 2005 г. Г.И. КУСТОВА

О СЕМАНТИЧЕСКОМ ПОТЕНЦИАЛЕ СЛОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ЭКСПЕРИЕНЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ*

В статье рассматриваются возможности (и ограничения) образования производных значений у предикатных слов с разными типами исходных значений. Семантический потенциал слов энергетической сферы (прежде всего, глаголов физического действия) реализуется за счет извлечения из исходного значения и связанной с ним прототипической ситуации семантической схемы, которая используется для концептуализации разных типов ситуаций – как физических, так и нефизических – по принципу аналогии. Для слов экспериенциальной сферы (ощущений, перцептивных и эмоциональных состояний) основной механизм языкового расширения – перенос по смежности: на ситуации, каузирующие или эксплицирующие внутреннее состояние (*грустная история; грустный взгляд*), а также на иерархически более высокие состояния внутри самой экспериенциальной сферы (ощущение → эмоция → оценка; восприятие → знание).

В данной статье обобщены некоторые наблюдения, сделанные в ходе описания многозначности и основных тенденций семантического развития слов с разными типами исходных значений [Кустова 1996; 1998а; 1998б; 1999а; 1999б; 2000а; 2000б; 2002а; 2002б].

Теоретически можно было бы представить себе развитие языка как процесс механического увеличения семиотических ресурсов (новый объект/ситуация → новый знак). Реально этого, как известно, не происходит. Язык идет по пути распространения уже существующих, "старых" знаков на другие, "новые" объекты и ситуации.

Этот процесс можно назвать **языковым расширением**, поскольку сфера "охвата" объектов или ситуаций, к которым применяется данное слово, расширяется. Однако вовлечение в орбиту слова новых объектов или ситуаций – лишь внешняя сторона процесса расширения. "Изнутри", на уровне семантики, происходит приспособление (модификация, адаптация) исходной семантической структуры и возникают другие значения (в том числе и в результате расширения как семантического процесса (генерализации), а также в результате метафорического переноса, метонимического смещения, специализации и их различных комбинаций).

Отношения между значениями многозначного слова по-разному трактуются в лингвистической теории и по-разному отражаются в лексикографической практике.

Такие классики филологической мысли, как А.А. Потебня и Л.В. Щерба, предлагали рассматривать каждое "следующее" значение как самостоятельное слово, что вело к отказу от понятия полисемии как явления синхронии.

Более распространенная модель полисемии представлена традиционными словарями, где совокупность значений слова обычно фиксируется в виде "первого" значения (исходного, основного, свободного, номинативного и т.д.) и "не-первых" (производных, переносных, контекстно обусловленных). Причем количество значений и границы между

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 05-04-04130а, и РФФИ, проект № 05-06-80396.

Основные положения статьи докладывались на семинарах под рук. Ю.Д. Апресяна и Н.Д. Арутюновой. Автор благодарит руководителей и участников семинаров за доброжелательное и конструктивное обсуждение работы.

значениями, фиксируемые словарями, до известной степени условны и выделяются поразному. Это может зависеть не только от различий применяемых лингвистических процедур, но также от таких экстралингвистических факторов, как объем словаря и аудитория, на которую он ориентирован (ср. 4-томный "Словарь русского языка" под ред. А.П. Евгеньевой (МАС) и Словарь Ожегова–Шведовой).

Для современных лингвистических теорий и моделей характерны попытки представить значения многозначного слова как некоторую структуру, элементы которой связаны определенными отношениями (это может быть попытка возведения всех значений к инварианту; представление значений в виде семантической сети, распространенное в когнитивной лингвистике, см. обзор [Рахилина 1998]; выделение концептуальной схемы [Зализняк 2004] или концептуальной структуры [Розина 1999]).

При этом природа механизмов образования производных значений понимается поразному.

В работах Ю.Д. Апресяна, в русле общей идеи системной организации лексики, вводится понятие регулярной многозначности (см. особенно [Апресян 1974: 193–215]) и на разнообразном языковом материале рассматриваются различные типы регулярных (т.е. повторяющихся) соотношений между значениями. Однако сами эти соотношения не являются актуально действующими правилами, по которым мы можем неограниченно образовывать новые значения, т.е. большинство таких соотношений, будучи регулярными, являются непродуктивными[1].

В работах Е.В. Падучевой [Падучева 2000; 2004], напротив, акцент сделан на динамическом аспекте образования значений, что подчеркивается термином "семантическая деривация" (ср. название итоговой монографии "Динамические модели в семантике лексики". М, 2004). Особенность такого подхода состоит в том, что производные значения слова рассматриваются как получаемые, выводимые из исходного – "корневого" – по определенным правилам, в результате определенных типов преобразований [Падучева 2000: 398]. В первую очередь это относится, конечно, к диатетическим преобразованиям (ср. часть III, главы 2, 4, 5, 8 монографии [Падучева 2004]).

Поскольку в данной статье речь пойдет о связях производных значений с исходным и способах получения одних значений из других, мы хотим обозначить те позиции, с которых эти явления будут рассматриваться:

а) независимо от того, понимать ли полисемию как статическое явление (данность) или как динамическое (механизм, процесс), новые значения у слов постоянно появляются (см., в частности, словарь "Новые слова и значения". М., 1984), и эти значения отражают и демонстрируют общие семантические и когнитивные механизмы, действующие в данной сфере;

б) независимо от того, является ли производное значение регулярным или нерегулярным, продуктивным или непродуктивным, независимо от того, выводимо ли оно "целиком" из исходного по определенным правилам или содержит некоторые невыводимые добавки и приращения, оно возникло на базе некоторого исходного значения; а поскольку исходные значения разные, то и возможности их семантического развития разные: из исходного значения можно получить не любое производное, а прежде всего такое, которое предусмотрено, предопределено его типом и связанной с ним ситуацией.

Подход, принятый в настоящей статье, переносит акцент с производных значений на возможности (семантический потенциал) исходного значения: речь будет идти не только и даже не столько о типах производных значений, сколько о способах (типах) использования исходных значений. Прежде чем перейти к рассмотрению языкового материала, коротко прокомментируем некоторые основные понятия и положения этого подхода.

---

[1] Как заметил Ю.Д. Апресян (устно), производные значения следует описывать не в терминах "образуются", а в терминах "образованы", "мотивированы"; аналогичный подход и терминология преобладают и в современном словообразовании.

Языковое расширение – это результат (закономерный и неизбежный) действия другого фундаментального принципа, который и лежит в основе полисемии. Принцип этот состоит в том, что лексическая единица рано или поздно начинает использоваться для обозначения новых объектов и ситуаций, для которых она первоначально не была предназначена.

Из этого принципа "вторичного", многократного использования слова вытекает, что слово – это не только "единица хранения" информации о мире, но и инструмент когнитивного освоения реальности, средство концептуализации новых объектов и ситуаций, средство не только что-то назвать, но и что-то осмыслить. Причем это относится ко всем словам, в том числе однозначным, поскольку любое слово может быть использовано "вторично". Однако наибольший интерес представляют, конечно, многозначные слова, т.е. те, которые сами говорящие считают наиболее подходящими, содержащими наибольшие возможности для концептуализации новых ситуаций, те, которые служат основным источником семантических моделей.

Весьма показательно, что один из излюбленных сюжетов когнитивной лингвистики (см. [Lakoff, Johnson 1980; Talmy 1983; 1988]) – метафорическое использование основных пространственных понятий (верх/низ, внутреннее/внешнее, точка, линия, плоскость, контейнер). Действительно, предметно-пространственные модели лежат в основе концептуализации самых разных непространственных и вообще нематериальных явлений.

Но не меньший интерес представляют в этом отношении и возможности предикатной лексики. Как отмечала Н.Д. Арутюнова [Арутюнова 1979], именно предикатная, признаковая лексика является основным образным и когнитивным ресурсом языка (в частности, дает обозначения для "невидимых миров"). Предметная же лексика – это всего лишь номинативный ресурс, она дает названия для предметов (ср. *глазное яблоко*) главным образом на основании внешнего (и тем самым случайного, несущественного, несущностного) сходства[2].

В данной статье будет показано, как используются предикатные слова (в первую очередь, глаголы, но также и другие признаковые слова: прилагательные, наречия, предикативы), т.е. слова, обозначающие ситуации, для концептуализации других ситуаций; какие семантические модели можно извлечь из предикатной лексики.

Поскольку человек, в основном, не придумывает новых слов, а обходится теми, которые уже существуют, приспосабливая их к новым функциям, развивая и актуализируя то, что в них "заложено", то главные вопросы, которые в связи с этим возникают: что заложено? каковы ресурсы семантического развития слов разных семантических классов? каков их семантический потенциал?

Семантический потенциал слова включает два аспекта: (1) "что можно извлечь"; какой семантический материал содержится в самом предикатном слове и связанной с

---

[2] Разумеется, для предметной лексики возможны переносные употребления и на базе функционального сходства, но такой перенос основан уже на предикате, участвующем в толковании предметного имени и отражающем существенные свойства предмета. Сравним новое значение существительного *зебра* ("пешеходный переход"), зафиксированное словарем [НСЗ 1984], и жаргонное значение существительного *копыта* ("ноги" – о человеке). В первом случае для метафоры используется признак хотя и броский, но случайный. Полосатость, в отличие, например, от копыт, не относится к существенным признакам лошадей (разновидностью которых является зебра). С другой стороны, какой именно полосатый предмет будет обозначен словом *зебра*, угадать нельзя. Человек должен знать, что зебра – это "полосатый" пешеходный переход, а, например, не полосатый мармелад или полосатая тельняшка, поскольку для одежды, мармелада и даже перехода полосатость тоже является признаком случайным и не имеющим никакой существенной связи с зеброй. Совсем другое дело, когда мы применительно к человеку говорим *шевели копытами* – здесь однозначно имеются в виду ноги; при этом используется не внешнее сходство, а функциональное, т.е., в конечном счете, предикат "перемещаться". Такой перенос, использующий существенные признаки, является семантически (если угодно, когнитивно) мотивированным.

ним ситуации; (2) "к чему это можно применить", на какие другие типы ситуаций можно распространить этот материал.

Потенциал – это именно возможность (точнее, набор возможностей), а возможность может быть реализована многократно, а может не быть реализована ни разу. Например, у слова может быть несколько значений некоторого типа, а может не быть ни одного[3]. В данной статье не ставится задача объяснить, почему каких-то значений нет (хотя иногда это можно объяснить действием частных семантических факторов). Акцент переносится на то, какие типы значений возможны, что предусмотрено устройством исходного значения. При этом не важно, отражены ли эти возможности в словаре. Так, у слова *двигатель* в словарях фиксируется метафорическое значение (*двигатель прогресса*), у слова *мотор* аналогичное метафорическое значение в словарях не отражается, но оно, конечно, тоже есть (*мотор реформ*).

Потенциал – это не только возможности, но и ограничения, в которые человек должен "уложиться". Из слова нельзя извлечь что угодно и применить это к чему угодно. Одной из наглядных иллюстраций таких ограничений, обусловленных "разностью потенциалов", является работа основных семантических механизмов порождения значений – метафоры и метонимии.

Наряду с традиционными терминами "метафора" и "метонимия" мы будем использовать более широкие понятия АНАЛОГИИ и СВЯЗИ. Это те более общие принципы, на которых базируются метафора как перенос по сходству и метонимия как перенос по смежности. Аналогия бывает не только метафорическая; принцип связи охватывает не только пространственную или временную смежность, но и связь импликативно-логическую, причинную, семиотическую [Metonymy 1999] (попутно отметим, что в основе двух других традиционно выделяемых семантических процессов – расширения и сужения значения, т.е. генерализации и специализации, – также лежит, в конечном счете, аналогия, осложненная логическими отношениями включения).

Метафора и метонимия известны со времен Аристотеля и античных риторик, и в этой сфере вряд ли стоит ожидать каких-то кардинальных изменений или новых открытий: просто потому, что аналогия и связь – это основные механизмы когнитивного освоения реальности человеком. Однако работа этих механизмов на разном языковом материале, применение их к разным группам лексики с разными типами исходных значений дает, как будет показано ниже, существенно разные результаты.

Семантический потенциал слова зависит не только от исходного значения, но и от ситуации, к которой оно относится, т.е., в конечном счете, от того, какую сферу описывает данное слово – **энергетическую** (физический мир – мир материальных объектов (куда входит и тело человека как физический объект), физических процессов и физических воздействий, ср. *Ящик / солдата отбросило взрывной волной*) или **информационную** (ощущения, восприятие, сознание, эмоции, речь, социальное взаимодействие). В рамках энергетической сферы мы рассмотрим слова, исходно обозначающие **физические действия** человека, в рамках информационной сферы – слова с **экспериенциальной семантикой** и семантической ролью Экспериенцера (см. [Blake 1994; Chafe 1971; Croft 1991; Fillmore 1968; Van Valin 1993; Кибрик 1992]), а именно: слова со значением ощущения, физиологических и эмоциональных реакций, восприятия, знания. Исследуя механизмы многозначности, можно, конечно, обнаружить закономерности, общие для обеих сфер. Но нас будут интересовать в первую очередь их различия.

Для семантического развития слов энергетической сферы принципиальным является обращение человека к **прототипической ситуации**, которую эти слова описывают в

[3] Например, в работе [Апресян 1974] представлены многочисленные примеры регулярной многозначности, которая при этом не является продуктивной: у одних слов некоторого семантического класса определенное значение есть, а у других, которые теоретически имеют те же возможности семантического развития, такого значения нет.

исходном значении. Она является важнейшим источником семантического материала для производных значений[4].

Именно от того, что человек в состоянии "увидеть" в прототипической ситуации, что он в состоянии из нее извлечь, зависит, на какие другие ситуации данное слово можно распространить, т.е., в конечном счете, какие у него будут производные значения. Кроме базовой семантической структуры, которая отражается в исходном значении, из прототипической ситуации извлекаются многочисленные импликации, связанные как с самим действием, так и со свойствами его прототипических участников. В рамках структуралистской парадигмы чрезвычайно актуальным и животрепещущим был вопрос о том, что входит, а что не входит в значение слова, какая информация является собственно языковой, а какая – экстралингвистической, энциклопедической. Отвечая на этот вопрос, можно сказать, что большинство импликаций прототипической ситуации не входит в исходное значение слова. Но они "входят" в другие значения и потому являются одним из главных объектов лингвистического описания. Без них нельзя объяснить ни откуда берутся производные значения слова, ни как они связаны между собой.

Например, в исходное значение глагола *сорвать* (*яблоко, цветок*) не входит компонент 'нарушить', это импликация прототипической ситуации ('если сорвать цветок или плод, тем самым нарушается его органическая связь с другим объектом'), но именно с этой импликацией связана целая группа значений, которые реализуют идею нарушения и ущерба (*сорвать кожу на пальце; сорвать резьбу на гайке; сорвать голос; сорвать урок*); в исходное значение глагола *закрыть* (*кастрюлю крышкой*) не входит компонент 'перестать видеть (содержимое)', для данного действия этот результат не важен, – но он есть в ситуации и используется в других значениях (*Тучи закрыли солнце; Ты мне закрываешь экран*).

С другой стороны, прототипическая ситуация является "гарантом" единства многозначного слова, условием связи всех его значений, в том числе и тех, которые не имеют общих компонентов: они связаны постольку, поскольку возводимы к тем или иным фрагментам или импликациям прототипической ситуации (соответственно, если такая "мотивированная возводимость" к исходной ситуации утрачивается, развивается омонимия).

Легализация прототипической ситуации имеет важные следствия для решения проблемы единства слова, т.е. сохранения связей между значениями многозначного слова в виде общих компонентов (что традиционно считалось критерием различения полисемии и омонимии), и, с другой стороны, проблемы "распада" многозначного слова, т.е. утраты связей между значениями. Сама формулировка проблемы единства слова в терминах наличия общих компонентов предполагает, что значения получены одно из другого (тогда они, разумеется, неизбежно будут иметь общие компоненты). Однако значения многозначного слова вовсе не обязательно "производятся" одно из другого и поэтому вовсе не обязательно должны иметь общие компоненты (ср. [Апресян 1974: 178–179] о словарном представлении многозначности слов типа *молния*).

Все значения слова связаны потому, что имеют ОБЩИЙ ИСТОЧНИК. Источником значений является та концептуальная структура, которую мы условно называем ситуацией. Это, конечно, не фрагмент внеязыковой реальности, а его когнитивная модель, т.е. смысл. В процессе семантического развития слова происходит постепенное исчерпание семантического потенциала этой концептуальной (когнитивной) структуры. Исходное значение – это всего лишь один из вариантов концептуализации ситуации, оно "вырезает" и фиксирует определенную конфигурацию компонентов. Эта конфигурация

---

[4] Обращение к ситуации естественно и неизбежно при решении самых разных лингвистических (в частности, лексикографических) и логико-семантических задач [Апресян 1974: 99–100; Гак 1972; 1973; Кошелев 1989; 1999; Мартемьянов 1964; Петров, Переверзев 1988], ср. также [Селиверстова 1990: 97], где в рамках контрастивного описания используется понятие "протоденотативной ситуации".

зависит, в частности, от того, какие другие знаки есть в системе для обозначения той же или похожей ситуации.

В глаголе содержится НЕ ВСЯ информация об обозначаемой им ситуации. Это следует хотя бы из того, что ОДНА И ТА ЖЕ ситуация может быть обозначена РАЗНЫМИ глаголами. Например, члены синонимических рядов по-разному представляют одно и то же действие, выделяют и акцентируют разные аспекты и элементы содержания ситуации. Если мы рассмотрим синонимический ряд *достать/вынуть/вытащить* (*кошелек из кармана*), окажется, что ***достать*** подчеркивает, акцентирует расстояние до объекта (Ю.Д. Апресян определяет этот признак ситуации как 'X не находится непосредственно в пределах досягаемости субъекта' [Апресян 1974: 160]), ср. *достать книгу с полки* (но не **достать со стола* (если речь не идет о маленьком ребенке), со стола – *взять*), *достать рукой до потолка* (это разные значения, но эксплуатируется одна и та же идея); ***вынуть*** акцентирует то, что объект находился в закрытом пространстве (ср. [Апресян 1974: 160]): *достать из шкафа – с полки; вынуть из шкафа – *с полки; достать* тоже допускает закрытое пространство, но не требует его; наконец, ***вытащить*** помимо той же идеи перемещения из закрытого пространства в более открытое, что и *вынуть* (благодаря приставке *вы-*), подчеркивает контакт с поверхностью по пути движения объекта (из-за значения корня *тащить* – волоком и (обычно, но не всегда тяжелое). Когда вы достаете кошелек из кармана, вы его все равно "тащите", задеваете о поверхность, т.е. в ситуации этот признак есть, но глагол *достать* – это такой способ представления ситуации, который данный ее аспект не отражает.

Таким образом, разные глаголы могут "вырезать" из одной и той же ситуации разные аспекты, представлять разные ее модели, потому что содержание ситуации больше, чем содержание глагола.

Аналогичным образом ведут себя разные значения одного и того же глагола. Они тоже "вырезают" из исходной ситуации разные семантические конфигурации, но эти конфигурации применяются уже к другим, похожим ситуациям. Например, глагол *сорвать* (*цветок*) можно использовать для обозначения ситуации *сорвать шашку со стены / шапку с прохожего*. В действительности, ситуацию "снятия" можно было бы обозначить и другим глаголом, но глагол *сорвать* по целому ряду признаков подходит для обозначения такого вида "снятия": предмет берут рукой и перемещают резким движением (рывком), хотя он и не "прикреплен" к месту, как цветок или плод. Еще больше подходит этот глагол для обозначения ситуации *сорвать погоны*, которые, в отличие от шапки, еще и прикреплены к месту, хотя и не так, как цветок или плод.

Таким образом, знак ситуации выступает в качестве посредника, способа извлечения из исходной структуры компонентов, подходящих для описания и осмысления других ситуаций. И поскольку сами эти ситуации имеют значительное сходство, то и соответствующие им значения имеют значительную общую часть. Поэтому в лингвистических описаниях их удобно представлять как образованные, "произведенные" одно от другого (ср. [Падучева 2000]). И применительно к таким значениям никто не говорит об утрате семантических связей или о распаде слова.

Другое дело, когда с помощью слова, исходно относящегося к конкретной физической ситуации с физическими объектами, нужно обозначить абстрактную ситуацию. Например, глагол *вести* (*отряд через лес, ребенка в школу*) используется для обозначения ситуаций *вести урок*; *вести переговоры*. Глагол физического движения, вообще говоря, не лучшее средство для обозначения нефизического процесса, но, с точки зрения говорящих, из исходной ситуации "управляемого движения" все-таки можно извлечь подходящую абстрактную схему для концептуализации таких ситуаций, как *вести урок*.

Исходная физическая ситуация *X ведет Y-а* характеризуется множеством признаков: X знает дорогу, X (обычно) идет впереди (ср. *вести за собой*); Y не знает дорогу или по каким-то другим причинам не может двигаться самостоятельно (иначе бы он шел сам); движение Y-а в правильном направлении (и, следовательно, достижение конечной точки – цели) ЗАВИСИТ от X-а. Из этого множества признаков исходного фи-

зического движения для концептуализации нефизической ситуации можно использовать только очень общую и абстрактную идею "осуществлять контроль процесса, направлять ход процесса в нужную сторону". В другом значении – *К беде неопытность ведет* – используется идея «от Х-а зависит достижение конечной точки и происходящего в ней события; наличие Х-а задает, обусловливает "движение" в "направлении" этой "точки" (события)». Есть другой глагол "совместного", одновременного движения – *следить* (идти не впереди, как в случае *вести*, а сзади, "по следам", ср. [Падучева 2004: 234]), и из него извлекается другая схема – не "управлять процессом движения", а просто "регистрировать происходящие события" (*следить за чайником; следить за событиями*).

Таким образом, дело не в том, что значения теряют связи друг с другом и происходит "распад" слова, а в том, что сами ситуации очень слабо связаны и очень мало похожи: абстрактная ситуация слишком далеко отстоит от физической, чтобы иметь с ней сколько-нибудь существенное сходство.

К словам экспериенциальной сферы – предикатам ощущения, восприятия, эмоционального состояния, знания, мнения – понятие прототипической ситуации в том виде, в каком оно используется в энергетической сфере, неприменимо. Состояния, обозначаемые словами *больно, тяжело, страшно, весело, видеть, слышать, понимать* и под., – внутренние, "невидимые", и мы не можем получать информацию об их устройстве и содержании таким же способом, как о физических ситуациях, т.е. путем непосредственного наблюдения. Зато "видимыми", воспринимаемыми, известными являются другие ситуации, связанные с внутренними состояниями, т.е. их "денотативное окружение". Поэтому при описании экспериенциальных состояний (ощущений, восприятия, эмоциональных реакций) под ситуацией можно понимать те внешние условия, в которых эти состояния возникают. Например, очень трудно описать состояние "тяжело", но можно описать прототипическую ситуацию взаимодействия человека с тяжелыми объектами; нельзя охарактеризовать состояние "видеть" подобно тому, как мы характеризуем ситуации типа "сорвать цветок" или "вытащить кошелек", перечисляя элементы, из которых эти ситуации состоят, "построены", но можно охарактеризовать ситуацию зрительного восприятия: органы восприятия, условия восприятия, типы воспринимаемых объектов; сами же внутренние состояния характеризуются обычно косвенно: чем они отличаются друг от друга (*видеть* от *слышать*, *знать* от *понимать*), в чем они проявляются (например, что может сказать человек, находящийся в таком состоянии, – этот способ описания широко использует, например, А. Вежбицкая [Вежбицка 1986]); аналогичным "косвенным" способом часто описывают эмоциональные состояния и реакции – через ситуации, которыми они вызваны, и через внешние (телесные, речевые и т.д.) проявления (ср. [Апресян В.Ю., Апресян Ю.Д. 1993; Иорданская 1970; 1972; Wierzbicka 1980; 1990]).

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СФЕРА: СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГЛАГОЛОВ ФИЗИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

Основной класс предикатов энергетической сферы – глаголы физического действия (агентивные каузативы). Этот класс является самым представительным и по количеству единиц, и по многозначности отдельных единиц, и по разнообразию значений многозначных слов (что, конечно же, не случайно).

Глагол физического действия в исходном значении описывает определенный **тип изменения** физического объекта в результате определенного **типа воздействия**.

Бесприставочные глаголы НСВ *бить, рвать, тереть, мести* и т.д., которые мы условно называем глаголами способа, можно считать естественной языковой классификацией основных способов (типов) воздействия человека на физические объекты (в том числе – собственное тело или тело другого человека) с целью их изменения. Приставочные дериваты этих глаголов (*разбить, вытереть, смести* и т.д.), соответственно, являются естественной классификацией основных типов результатов, возникающих при применении этих способов к разным типам объектов, т.е. классификацией

типов изменений объекта. Эта классификация могла бы быть другой. Например, действия *тереть* и *мести* могли бы обозначаться одним глаголом. Однако в русском языке существует именно такая естественная классификация действий. Это классификация в с е х ситуаций, в той или другой степени подводимых под данные схемы. И наоборот, это те схемы, под которые человек будет подводить другие ситуации.

Сама схема измениться не может, поскольку это тот же самый глагол, меняются только актанты; другое дело, что из глагола может извлекаться не одна схема, а несколько (см. ниже).

Разумеется, эти глаголы могут объединяться в более крупные классы, обозначающие одинаковые типы изменений. Но даже каждый отдельный глагол – это уже тип изменения, под который можно подвести разные ситуации, соответствующие разным значениям этого глагола.

Основные типы изменений:

удаление Объекта-предмета из исходной точки (*сбить яблоко с ветки, выполоть сорняки*);

удаление Объекта-вещества с поверхности (*стереть помаду с губ*);

извлечение Объекта-вещества из вместилища (*выдавить пасту из тюбика*);

прикрепление Объекта-предмета (*приклеить марку; пришить пуговицу; приколоть значок*);

нанесение Объекта-вещества на поверхность (*мазать масло на хлеб*);

обработка Объекта-места (*вытереть стол; намазать спину мазью; выполоть грядки*);

деформация Объекта-предмета (*разбить, пробить, проколоть, порвать*);

преобразование Объекта (*тереть морковь, тереть краски*) и т.п.

Кроме того, возможны более кардинальные изменения – создание и уничтожение Объекта.

Таким образом, классы удаления, нанесения, извлечения, обработки, деформации и т.п., которые обычно рассматриваются как семантические подклассы глаголов действия, могут рассматриваться и как семантические модели (схемы изменения), которые применяются к другим ситуациям с другими объектами, либо служат источником для других, производных (импликативных) моделей (например, удаление вещества → уничтожение вещества, см. ниже). Совокупность таких моделей (семантических схем) и есть тот арсенал, тот "когнитивный словарь", которым располагают говорящие для осмысления и описания происходящих в мире изменений, для концептуализации ситуации разных типов и разной природы.

Агентивные значения

Основные модели изменений заложены уже в глаголах способа (типа воздействия). У каждого типа воздействия есть свой потенциал: воздействуя определенным способом, можно достичь разных результатов (а) применительно к разным участникам той же самой ситуации и (б) применительно к разным типам участников. Например, способом ТЕРЕТЬ можно удалить вещество и тем самым обработать (очистить) поверхность (*тереть тряпкой грязную стену; оттереть пятно; стереть пыль; вытереть стол*) или, наоборот, нанести вещество и обработать поверхность (*натереть спину мазью*); способом БИТЬ (ударом/ударами) достигаются следующие результаты (как намеренные – цели, так и ненамеренные – случайные результаты): ущерб живому (*избить/побить младшего брата; отбить ладони*); уничтожение живого (*бить рыбу острогой*); ущерб/уничтожение неживого (*разбить телегу; разбить вазу*); преобразование/создание (*сбить ящик из досок; сбить масло*); удаление/отделение/ликвидация контакта (*сбить яблоко с ветки; выбить пробку из бутылки; отбить носик чайника*); прикрепление/каузация контакта (*вбить колышек; прибить табличку*); извлечение звука и создание "текста" (*бить в барабан; отбить побудку*, метонимически – *отбить телеграмму*).

Однако сами по себе глаголы способа семантически акцентируют только тип воздействия; тип изменения – это их импликация. И эта импликация в глаголе СВ "проясняется" приставкой. Таким образом, потенциал способа в русском языке реализуется главным образом за счет приставочных глаголов СВ (*стереть, натереть, потереть, вытереть, растереть, оттереть, протереть, обтереть* и т.д.). Приставочные глаголы, в свою очередь, объединяются в семантические классы уже не по способу, а по типу результата (в частности, по значению приставки, но не только): в один класс попадают глаголы, обозначающие одинаковый результат, достигаемый разными способами: *смыть, стереть, смести, сбить* – удаление разными способами; *прибить, приклеить, приколоть, пришить* – прикрепление разными способами.

Кроме импликаций, реализуемых приставками, каждый способ обладает своего рода семантическим ореолом, который является важным источником образов для метафорических значений. Причем способы воздействия, которые с физической точки зрения можно было бы отнести к одному классу (давления – "жать" и "давить", деформации – "рвать" и "резать"), имеют существенно разные наборы импликаций. Так, глаголы группы *жать* будут содержать идею усилий (*Нажмем, ребята*), а глаголы группы *давить* – идею отрицательного воздействия (в том числе – психологического), ущерба или даже уничтожения (*давить на администрацию; подавить восстание; в подавленном состоянии; раздавлен горем*); группа *рвать* – идею насильственного прекращения, ликвидации естественных органических связей и контактов (*оторвать от семьи; оторвать взгляд; порвать отношения*); группа *резать* – идею окончательности и невосстановимости (*Мы отрезаны от своих* – нельзя соединиться; *Нет! – отрезал он* – нельзя вернуться к обсуждению).

Результат действия, а значит, и семантические схемы, извлекаемые из прототипической ситуации, существенным образом зависят от свойств актантов, в первую очередь – Объекта. Именно поэтому одним и тем же способом можно достичь разных (в том числе – противоположных) результатов, а разными способами (применительно к разным типам Объектов) – сходного результата (*стереть пыль / смести снег с валенок / сорвать погоны / сбить яблоко* – удаление вещества/объекта). Основные признаки Объекта, которые влияют на результат и на его интерпретацию, – это (а) онтологические классы Объектов: предметы и вещества и их подклассы (натуральные классы и артефакты; нежидкие и жидкие вещества); (б) исходное состояние (положение) Объекта: свободный – фиксированный контакт с Местом (прикрепленность), ср. *снять* vs. *сорвать*; (в) более частные характеристики Объекта: очень важной характеристикой Объекта является его тяжесть или другие причины сопротивления воздействию, требующие от Субъекта специальных, маркированных усилий и имеющие специальные обозначения (*сбросить* vs. *свалить*; *нести* vs. *тянуть / тащить*); семантическая схема изменения зависит также от (г) характеристики Места: поверхность vs. вместилище, ср. *стереть пыль со стола* vs. *выдавить пасту из тюбика*.

Например, есть общая семантическая схема УДАЛЕНИЕ ОБЪЕКТА, ликвидация его контакта с Местом. В результате альтернации типа Объекта (предмет vs. вещество), типа Места (поверхность vs. вместилище), типа контакта Объекта с Местом (свободный vs. фиксированный) у этой схемы изменения возникают варианты (модификации, конкретизации): удаление предмета (*сбить яблоко; сорвать погоны*); удаление вещества/массы с поверхности (*стереть пыль с тумбочки; смести крошки со стола*); удаление вещества из вместилища (*выбить пепел из трубки*).

И схемы изменений, и их импликации являются, в конечном счете, интерпретациями. Интерпретация изменения зависит не только от свойств объектов, но и от целей человека. Например, сама схема УДАЛЕНИЕ является, в свою очередь, конкретизацией более абстрактной схемы 'ликвидировать контакт Объекта с Местом и каузировать последующее перемещение Объекта'. Эта абстрактная схема осмысляется как "удаление" потому, что цель человека – "удалить", т.е. сделать так, чтобы Объект перестал находиться в исходной точке (т.к. Объект не нужен человеку в этом месте или вообще ненужный).

Если Объект нужный (вообще) или нужен человеку, удаление Объекта из исходного положения может имплицировать ПОЛУЧЕНИЕ этого Объекта Субъектом (*сорвать яблоко* – для себя; *вырвать сумку* – отнять, получить в свое распоряжение; *выжать сок из лимона*).

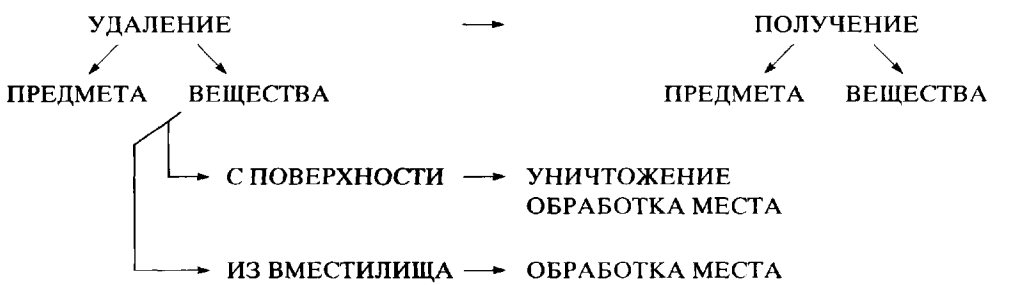
Удаление прикрепленного, или укрепленного, или "устойчивого" Объекта может имплицировать НАРУШЕНИЕ исходного состояния (*сбить с ног*).

Удаление вещества может имплицировать его УНИЧТОЖЕНИЕ, поэтому глаголы, обозначающие удаление вещества с поверхности (*стереть пыль с тумбочки; вытереть пот*) могут обозначать и уничтожение Объекта (*стереть надпись, вытереть лужу* – обычно такой объект находится на поверхности и/или состоит из вещества).

Удаление вещества с поверхности или из вместилища может имплицировать ОБРАБОТКУ Места, "очищение" (*вытереть пыль → вытереть тумбочку*; *выбить пепел из трубки → выбить трубку*). Однако такую интерпретацию получает только удаление ненужного вещества. Извлечение нужного вещества тоже имплицирует изменение состояния Места-вместилища (*выжать сок из лимона → выжать лимон*), но это изменение не рассматривается человеком как обработка (т.е. "улучшение" состояния) Места-вместилища[5].

Получается следующий набор основных возможностей схемы "ликвидация контакта, удаление из исходного положения" (см. таблицы 1 и 2).

Таблица 1



Из таблицы 2 видно, что "удаление/отделение" и "извлечение/получение" есть как у предмета, так и у вещества, а импликация изменения Места – только у вещества. Это связано, видимо, с тем, что удаление вещества более кардинально меняет состояние Места, чем удаление предмета, т.к. вещество, в отличие от предмета, имеющего контакт с Местом в одной точке, занимает всю поверхность Места или весь объем вместилища. Это изменение Места аналогично ситуациям, описываемым глаголами полного охвата [Апресян 1974: 279–280; Падучева, Розина 1993]. Удаление предмета тоже может вызывать изменение состояния Места, но тогда это будет множество, масса предметов, ср. *оборвал все яблоки с яблони → оборвал всю яблоню*.

---

[5] Соотношения значений типа деформация / каузация (*долбить дерево – улей*), обработка / ликвидация (*вытирать глаза – пот*), обработка / удаление (*полоть грядки – лебеду*), обработка / каузация (*варить картошку – суп*) и мн. др. описаны в [Апресян 1974: 203–210]. Однако там они рассматриваются как примеры регулярной многозначности. В рамках нашей темы подобные пары значений – лишь один из результатов использования основной семантической схемы и импликаций, извлекаемых из соответствующей прототипической ситуации, а именно, результат действия метонимических и импликативных механизмов (принципа связи). Для нас существенно, что та же самая семантическая схема будет эксплуатироваться и в значениях, базирующихся на аналогии – денотативной или метафорической, см. ниже.

Таблица 2

	УДАЛЕНИЕ, ОТДЕЛЕНИЕ → ОБЪЕКТА	ОБРАБОТКА, ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА
УДАЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА		
сверху или с поверхности прикрепленного предмета	*сбить яблоко с ветки*	
	сорвать объявление	
"укрепленного" предмета	*выбить пробку из бутылки*	
	вырвать больной зуб	
ОТДЕЛЕНИЕ части или прикрепленной детали	отбить горлышко ампулы	
	оторвать пуговицу	
УДАЛЕНИЕ ВЕЩЕСТВА	*стереть пыль с тумбочки*	
с поверхности	*смыть шампунь с головы* →	*смыть голову* (разг.)
	смести снег с валенок	
	вытереть пыль со стола →	*вытереть стол*
полностью из вместилища	*выбить пепел из трубки* →	*выбить трубку*
	выжать воду из тряпки →	*выжать тряпку*
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВА	*выжать сок* →	*выжать лимон*
путем удаления из вместилища	*выдавить пасту* →	*выдавить тюбик* (разг.)
ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА	*вырвать сумку у кого*	
путем ликвидации контакта с Местом	*сорвать себе яблоко*	

Благодаря альтернации признаков актантов и смещению акцента в рамках одной и той же ситуации у глагола может быть несколько агентивных значений:

(а) денотативная альтернация (различаются признаки Объекта и Места):

выжать воду из тряпки – удаление ненужного;

выжать сок из лимона – извлечение нужного;

стереть пыль с тумбочки; стереть помаду с губ – удаление ненужного;

стереть надпись с доски – уничтожение;

(б) внутренняя (актантная) метонимия:

выжать воду – выжать тряпку,

выжать сок – выжать лимон.

У глаголов ДЕФОРМАЦИИ нет альтернации "предмет/вещество", поскольку деформации (изменению, разрушению формы) подвержены только имеющие форму предметы, но не "бесформенные" вещества. Рассмотрим две схемы деформации: нарушение целостности путем создания отверстия (*пробить / прорвать / проколоть картон*) и деление на части (*разбить копилку, разорвать письмо*).

Внутреннюю метонимию имеет только первая схема: нарушение целостности Объекта путем создания отверстия → создание отверстия:

пробить лед → пробить лунку;

прорвать картон → прорвать дыру.

Во второй схеме (нарушение целостности путем деления на части) такого метонимического сдвига нет (возможно, потому, что результат – части – имеет синтаксическое выражение уже в исходном значении: "на части"). Но смещение акцента с целого на части в рамках исходной физической ситуации происходит, благодаря чему из нее извлекаются две разные производные семантические схемы: а) нарушение целостности исходного объекта (*разбить копилку*) и б) создание частей из целого (*порвать рубаху на лоскуты*).

В метафорических значениях используются обе эти схемы:
разбить надежды – разрушение целого;
разбить отряд на группы – создание частей.
Типичными импликациями нарушения целостности являются:
– ущерб: *порезать палец, порвать рукав;*
– уничтожение: *разбить чашку, сломать сарай;*
– прекращение функционирования, невозможность использования (для артефактов): *разбить часы* (поскольку часы имеют металлический корпус, их нельзя полностью "разбить", просто от удара они перестают идти); *сломать выключатель* (вывести из строя).

Следует подчеркнуть, что модели изменений вовсе не являются результатом сочетания "всего со всем", каждого признака с каждым другим признаком, т.е. не являются результатом механического "перемножения" признаков. Признаки с самого начала согласуются между собой: если Место – контейнер, то значение приставки – "движение изнутри наружу" (*вы-*): *выбить пепел из трубки*, если Место – поверхность – "движение сверху или с поверхности" (*с-*): *смести крошки со стола*; если у глагола нет актанта "Место" (ср. глаголы деформации *разбить, порвать*), значит, не будет и связанных с ним импликаций обработки Места.

Но главный и решающий фактор при интерпретации физического изменения – "антропоцентрический". Типы изменений согласуются со способами обращения человека с объектами, с целями человека и с оценкой человеком полученного результата. Поэтому вряд ли имеет смысл рассматривать все теоретически возможные типы изменений. У глагола появляются те производные значения, которые предусмотрены исходной ситуацией и которые, кроме того, пропущены фильтром антропологических ограничений.

Например, теоретически у способа воздействия есть три результата: изменение, создание и уничтожение. Но поскольку человек обычно ничего не создает путем удаления объекта из какого-то места, то у глаголов удаления (*стереть, смести, оторвать, вырвать*) нет значения создания, и это не случайная лакуна, а закономерное отсутствие: такое значение "не предусмотрено" (ср. глагол *долбить*, у которого есть значение создания: *долбить, выдолбить дупло / лодку; долбить* не является глаголом удаления вещества, хотя обозначаемая им ситуация и включает такую денотативную составляющую).

Напротив, способом *мазать* или *красить*, т.е. способом нанесения, каузации контакта вещества с поверхностью, что-то можно создать – если не физический объект, то хотя бы семиотический (образ, рисунок). При этом у глагола *красить* тоже нет значения создания, однако это случайная лакуна: у него вполне могло бы быть значение 'рисовать, писать красками', в его парадигме есть соответствующая "клетка", хотя и пустая. А у глагола *мазать* эта клетка не пустая, у него есть значение 'писать красками', хотя и устаревшее.

Кроме того, "человеческий фактор" (цели и ценности человека) является решающим при интерпретации самой схемы изменения, и в результате одно и то же физическое изменение может иметь для человека разные, а иногда и противоположные смыслы: *выжать воду из тряпки* – это 'удаление ненужного', а *выжать сок из лимона* – 'извлечение нужного'.

Наряду с отсутствием ожидаемых значений ("пустых клеток") встречается противоположная ситуация – наличие "неожиданных", "сверхсхемных" значений, не предусмотренных семантическим потенциалом данного семантического класса. Например, для глагола *лаять* значение "речь человека" (*Его облаяла продавщица*) является системным, поскольку исходно этот глагол обозначает звук, издаваемый животным, и многие подобные глаголы развивают речевое значение (ср. *промычать, скулить, тявкать, гавкать, выть* и т.п.). У глаголов деформации речевое значение прямо не обусловлено потенциалом прототипической ситуации, поэтому те речевые значения, которые все-таки встречаются у глаголов деформации (*Его постоянно пилит жена; резать правду в глаза*) выглядят несистемными и случайными.

Типы изменений (семантические схемы), выделенные из исходных значений и ситуаций, распространяются на другие типы ситуаций – не-действия (неагентивные ситуации физического мира: природные процессы, физические воздействия предметов и природных сил, случайные результаты деятельности человека) или "метафорические действия" (*выбить фонды на цемент; пробить командировку в Швейцарию*).

Основной принцип языкового расширения для слов энергетической сферы – АНАЛОГИЯ: распространение знака одной ситуации на другую ситуацию на том основании, что у этих ситуаций усматривается сходство.

Одновременно с изменением типов актантов (устранением агентивности) меняется и тип ситуации: действие → происшествие; действие → процесс.

Механизм переноса по аналогии дает два основных типа производных значений: **денотативная аналогия** и **метафорическая аналогия**.

Денотативная аналогия *обозначает случайный результат того же типа воздействия.* При денотативной аналогии сохраняется тип воздействия и тип изменения, но исчезает цель: *Ураган вырвал дерево с корнем; Пуля пробила дверь.*

Денотативную аналогию можно рассматривать как редукцию более сложного и семантически богатого предиката физического действия. Такой взгляд диктуется антропоцентрическим подходом человека к описанию внешнего мира. В действительности, конечно, первичными являются объективные свойства предметов и типы воздействий, которые существуют в физическом мире и могут производиться как механизмами, так и природными объектами и силами (удары, трение, движение, воздействие воды и других веществ, например клеящих, и т.д.). А человек просто использует их в своих взаимодействиях с физическим миром, приспосабливает для достижения своих целей, т.е., скорее, он сам "подражает" физическому миру, действует по аналогии с природными процессами. В языке же все наоборот: большинство обозначений природных процессов и событий являются вторичным употреблением предикатов человека, его действий (*Дворник метет улицу – Платье метет мостовую; бить кого по лицу – Ветки били по стеклу*). Именно такая точка зрения представлена словарями, где сначала даются агентивные значения, а затем – неагентивные.

При этом не важно, какое значение исторически является исходным – агентивное или неагентивное (возможно, что в эпоху синкретизма они вообще не различались). Важно, что в современном языке исходной точкой как для говорящих, так и для лексикографов является агентивное значение: наиболее сложной и богатой ситуацией предстает именно действие человека, а все остальные ситуации могут рассматриваться как редукция этой исходной ситуации, утрата каких-то признаков действия.

Денотативная аналогия имеет две разновидности по типу каузатора: (а) каузатор – действие лица (не имевшего такой цели), т.е. случайный результат какой-либо деятельности (*разбить чашку, порезать / обжечь палец*); (б) каузатор – воздействие природной силы, движущегося предмета или вещества (*Ветер порвал провода; Пуля пробила дверь; Волна смыла ящик в море*).

Результат денотативной аналогии типа (а) часто интерпретируется как УЩЕРБ. Ущерб – категория ценностная. Физически происходит просто изменение объекта, но человеком оно воспринимается как ухудшение состояния объекта, частичная или полная потеря им полезных свойств. Для агентивных ситуаций такая интерпретация результата не характерна. Это не значит, что действие не может иметь "плохих" результатов: Агенс может разрушать, рвать, ломать, разбивать объект. Однако этот результат все равно является конструктивным, потому что соответствует цели: уничтожая ненужный для себя объект, Агенс тем самым "улучшает" мир, приводит его состояние в соответствие со своими требованиями.

Случайный же результат – это нарушение исходного состояния, нарушение баланса, равновесия в мире, которое устраивало человека (раз он не пытался сам его изменить). Случайное изменение не соответствует планам и целям человека, т.е., как ми-

нимум, лишнее, ненужное (и в этом смысле не улучшающее состояние мира), а очень часто случайные изменения наносят прямой ущерб интересам человека: *порезать палец; сбить каблуки* (приведение в негодность используемого предмета, невозможность дальнейшего использования).

Конечно, случайный результат может оказаться полезным для человека: рыл яму и вырыл клад. Однако из опыта известно, что процентное соотношение хороших и плохих случайных результатов не в пользу первых.

Денотативная аналогия может иметь две аспектуальные разновидности: результат однократного воздействия, ср. *разбить вазу*, и результат длительного воздействия, ср. *разбить телегу; сбить каблуки, стереть / протереть локти на пиджаке*. Вторая разновидность не связана непосредственно с агентивным значением приставочного глагола, а является реализацией потенциала бесприставочного глагола воздействия (билось → разбито; терлось → стерто).

С когнитивной точки зрения денотативная аналогия – это довольно механическое приспособление агентивных глаголов для обозначения неагентивных ситуаций просто на том основании, что у этих ситуаций есть общая (совпадающая) "материальная" часть. И здесь задача лингвистического описания сводится к тому, чтобы выяснить, какие фрагменты исходного значения используются в производных значениях.

Метафорическая аналогия, напротив, имеет когнитивную природу: обозначения физических воздействий и изменений нельзя механически использовать для описания информационных взаимодействий и событий. Сходство таких ситуаций неочевидно. И здесь задача – выяснить, какие концептуальные схемы и структуры может предоставить исходное значение и физическая ситуация для осмысления информационной ситуации, для описания взаимодействия людей и объектов в нефизической сфере. Метафорическая аналогия может описывать не только нефизические ситуации (*сбить с толку; выбить фонды на цемент*), но и физические изменения: *Бомбежки стерли город с лица земли; Огонь батарей смел противника с исходных позиций*. Этот случай отличается от денотативной аналогии, так как происходит метафоризация способа ("как если бы стерли"; "как будто метлой"), тогда как денотативная аналогия – это похожий тип изменения от того же самого типа воздействия.

В метафорических значениях глаголов, производных от глаголов способа, даже если "новые" ситуации уже не содержат ничего физического, семантическая связь со способом сохраняется, поскольку метафоризуется именно способ (тип воздействия): *отбить жениха; отбить охоту; выбить дурь из кого* – как бы ударом/ударами. Что же касается самих концептуальных схем изменений ('ликвидировать контакт', 'нарушить', 'прекратить', 'уничтожить', 'начать иметь'), то они абсолютно ничего метафорического, образного, "переносного" не содержат: это абстрактные предикаты, которые проецируются в разные пространства с разными типами объектов; например, в случае *разбить чашку* ('уничтожить') и *разбить надежду* ('уничтожить') – одно и то же 'уничтожить'. Метафорический эффект возникает за счет того, что исходно физические предикаты применяются к объектам другой природы; при этом "физическая" часть значения (например, 'удар') не утрачивается, а используется для того, чтобы, наряду с абстрактным предикатом типа 'уничтожить', приписать абстрактным объектам еще и сходство с физическими объектами ('хрупкое, бьется от удара').

У метафорической аналогии можно выделить разные типы, например, изобразительную метафору ("кальку"): *Бомбардировки стерли город с лица земли* и когнитивную (генерализующую) метафору: *сбить цены* (ср. [Арутюнова 1979]), – однако между этими типами нет сколько-нибудь четкой границы. Речь, по-видимому, должна идти не столько о типах, сколько о различии в акцентах: в одних случаях важнее та "картинка", наглядный образ, который создается изобразительной метафорой, в других – когнитивная схема, но при этом могут сохраняться и элементы образности. Например, *сбить температуру* означает не просто 'понизить', но сохраняет идею интенсивного воздействия, т.е. связь со способом *бить*, ср. также *сбить с толку* (в отличие от *ввести в заблуждение*). Таким образом, метафорические аналогии – это, скорее, шкала, в конце которой находятся лексические функции (*поставить вопрос; вести переговоры*).

Таковы возможности номинативного и когнитивного расширения предиката энергетической сферы, т.е. его СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.

Результат действия механизмов языкового расширения можно представить в виде приводимых ниже таблиц (таблицы 3, 4, 5).

Таблица 3

УДАЛЕНИЕ/ОТДЕЛЕНИЕ

	АГЕНТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	ДЕНОТАТИВНАЯ АНАЛОГИЯ	МЕТАФОРИЧЕСКАЯ АНАЛОГИЯ
Удаление Ликвидация контакта	*сбить яблоко* *сорвать объявление*	*сбить повязку* *Ветер сорвал шапку*	*сбить спесь* *сбить цены* ("вниз") *сорвать погоны с кого*
Отделение	*оторвать пуговицу* *отбить горлышко* *отмыть грязь с рук*	*случайно оторвал уголок* *отбить носик чайника* *Толпа оттерла его от прилавка* *Вода отмыла отмель* (= отделение)	*оторвать взгляд* *оторвать кого от работы, от семьи* *отбить 40 индеек* *оттереть от наследства*
Удаление ненужного	*выбить пробку* *выбить пепел* *вырвать зуб* *выжать воду* *выдавить раму* *выдавить пасту* *выдавить гной* *смыть грязь* *вытереть слезы* *стереть пыль* *смести крошки со стола*	*выбить поднос из рук* *Ураган вырвал дерево с корнем* *Льды выжали корму* *Волна смыла ящик с палубы* *Ветер смел снег с крыльца*	*выбить дурь из кого* *вырвать измену с корнем* *выдавить кого из правительства* *смыть обиду кровью* *Батареи смели противника шрапнелью*
Нарушение исх. состояния	*сбить самолет*	*сбить кого с ног; сбить прицел; машина сбила*	*сбить со следа, со счета, с толку*
Ущерб **Повреждение**	*выбить стекло*	*выбить стекло; глаз* *сорвать резьбу*	*сорвать голос* *сорвать урок*
Уничтожение	*смыть рисунок* *стереть надпись* *вытереть лужу* *оттереть пятно*	*Дожди смыли надпись*	*Время стерло грани; Бомбежки стерли город с лица земли; Ураган смел палаточный лагерь;* *отбить запах, охоту*
Извлечение нужного Получение	*сорвать шапку* *вырвать сумку* *выжать сок* *выдавить пасту*		*сорвать куш* *вырвать признание* *оторвать путевку* *выбить фонды* *отбить жениха* *выжать все из Y* *выдавить улыбку*

Таблица 4

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ-ДЕФОРМАЦИЯ

	АГЕНТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	ДЕНОТАТИВНАЯ АНАЛОГИЯ	МЕТАФОРИЧЕСКАЯ АНАЛОГИЯ
Преобразование Деформация	*пробить картон*	*Пуля пробила дверь*	*Пробить стену недоверия*
			Лучи пробили тучу
	прорвать холст	*Вода прорвала плотину*	*Прорвать кольцо окружения*
			Ее прорвало
	прорезать ткань		*Крик прорезал тишину*
Создание отверстия	*пробить лунку*		*пробить командировку* (получение)
	прорвать дыру		
Преобразование (части)	*Разорвать лист*		
	сломать карандаш	*Ветер сломал ветку*	
	разрезать арбуз		
	нарезать ветчины		*нарезать земли*
			разбить на группы
Ущерб		*разбить затылок, часы*	
		порезать палец	
		порвать рукав	
Уничтожение	*разбить копилку*	*разбить чашку*	*разбить сердце, надежды*
	порвать письмо		
	разорвать письмо		*разорвать отношения*
	сломать сарай		

Таблица 5

ДАВЛЕНИЕ

	АГЕНТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	ДЕНОТАТИВНАЯ АНАЛОГИЯ	МЕТАФОРИЧЕСКАЯ АНАЛОГИЯ
Воздействие	*сжать пружину*		*сжать текст*
	сжать карандаш	*Спазмы сжали горло*	*Страх сжал душу*
	сдавить запястье	*Спазмы сдавили горло*	*Тоска сдавила сердце*
	нажать на кнопку		*нажать на министерство*
			нажать на учебу
	надавить на плечо		*надавить на администрацию*
	прижать ружье к плечу		*прижать олигархов*
	придавить бумагу камнем		*цензура придавила поэтов*
Ущерб		*Его придавило бревном*	*Горе придавило его*
		придавить палец дверью	*раздавлен горем*
Уничтожение	*Танк раздавил дзот*	*Стена раздавила рабочих*	
	раздавить ягоды	*раздавить коробочку*	

Из этих таблиц видно, что денотативная аналогия занимает особое место среди других типов значений слов. А именно: она реализует самую общую схему изменения. Например, *выбить* (случайно) *поднос у кого-либо из рук* – это просто "перемещение/удаление из исходной точки" (хотя и того же типа, что *выбить пробку из бутылки*: предмет "вылетает" в результате удара). Другие значения этого ряда – агентивные и метафорические – реализуют более частные варианты этой схемы: *выбить пепел из трубки; выбить дурь из кого* – "удаление ненужного". Поскольку эти частные модификации схемы связаны с целями человека и его оценками свойств объектов, то они, по понятным причинам, не нужны для денотативной аналогии и обычно неприменимы к ней.

Из этих таблиц также следует, что семантическая парадигма многозначного слова не является совокупностью случайных и непредсказуемых результатов семантического развития, так сказать "собранием пестрых глав" (как это можно было бы заключить из сравнения словарных толкований значений слова, часто не имеющих не только общих компонентов, но вообще никаких намеков на сходство). Непредсказуемыми (и то до известной степени) являются только участники той новой ситуации, к которой человек применяет имеющийся у него предикат. Что касается семантической схемы, используемой для интерпретации отношений между этими участниками, то ее не только можно "предсказать", – ее, строго говоря, и не нужно предсказывать: это будет именно та схема, которая была в исходном значении и ситуации, или ее семантическая модификация; и эта схема будет обнаруживаться как у неметафорических значений, так и у метафорических (которые традиционно считаются наиболее "случайными" и непредсказуемыми).

Таким образом, значения многозначного слова являются не только предсказуемыми и неслучайными, но и образуют систему в том смысле, что большинство из этих значений реализует одну и ту же семантическую схему.

Глаголы перемещения объекта

Глаголы перемещения Объекта (*поставить, положить, бросить, поднять, снять, передвинуть, вынести*) являются подклассом действий и по основной схеме ('перемещение объекта') близки глаголам каузации/ликвидации контакта Объекта с Местом типа *сбить, сорвать, прибить, намазать*. Строго говоря, каузация/ликвидация контакта Объекта с Местом – это тоже перемещение, просто глаголы типа *сорвать* или *натереть* "нагружены" еще семантикой воздействия и специальной целью Агенса, не сводящейся к перемещению Объекта (получение Объекта в свое распоряжение, обработка Места и под.). Глаголы перемещения Объекта класса *поставить* в этом смысле существенно отличаются от глаголов воздействия: происходящее с Объектом изменение касается только его местонахождения/положения в пространстве, но не затрагивает свойств Объекта и Места.

Поэтому собственный потенциал глаголов перемещения Объекта – потенциал их исходного значения – довольно беден. Из исходного значения извлекается, по существу, одна-единственная схема: 'переместить Объект из исходной точки в конечную'. У некоторых глаголов эта исходная схема имеет два семантических акцента: (1) 'удалить из исходной точки' (ОТКУДА), ср. *выбросить старые ботинки, сбросить апатию*, и (2) 'переместить/поместить в конечную точку' (КУДА), ср. *выбросить руку вперед; сбросить вещи в телегу*. Другие глаголы перемещения Объекта имеют фиксированный акцент: *поставить, положить* – 'поместить КУДА'.

У некоторых глаголов контролируемого перемещения Объекта – например, *ставить* и *класть* – преобладают производные значения, полученные в результате **специализации**, что, вообще, не характерно для глаголов действия: эти производные значения, по существу, представляют собой (отражают) классификацию типов объектов со специальными свойствами и функциями, которые человек *кладет* и *ставит*, и целей человека:

положить человека в больницу: поместить **больного** в лечебное учреждение **для лечения**;

положить деньги в банк: поместить **ценность** в специальное место **для хранения**;

поставить горчичники/банки: поместить **лечебное средство** на определенную часть тела с целью достижения лечебного эффекта, т.е. **для лечения**;

поставить капкан на лис; поставить счетчик: поместить (установить) в определенном месте **для функционирования**.

Таким образом, это те же самые предметы, которые обслуживались исходным значением (ср.: *положить больного на кровать; положить деньги в карман; поставить капкан на пол*), но в своих специальных качествах и функциях[6].

Кроме того, для производных значений глаголов перемещения Объекта, поскольку у них не "нагружена" схема "изменение Объекта", характерна реализация импликаций, связанных с Субъектом (*сбросить пальто, сбросить вещи в телегу, свалить стулья в кучу* – 'небрежно'; *бросить вещи без присмотра* – 'безответственно'; *сбросить с себя груз ответственности, свалить с себя тяжелую обязанность, сбросить апатию, стряхнуть оцепенение* – 'освободиться, "облегчить" свое собственное состояние').

Итак, основной механизм, применяемый к словам с исходно "физическим" значением, – аналогия. При этом важно отметить, что внутренняя метонимия типа *человек режет ножом / нож режет* (внутри одной и той же ситуации) тоже, в конечном счете, базируется на аналогии, на отождествлении: нож и человек делают в каком-то смысле одно и то же – режут.

ЭКСПЕРИЕНЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В информационной сфере, неоднородной по составу предикатов, можно выделить внутреннюю сферу человека в собственном смысле (экспериенциальную) и сферу межличностного взаимодействия – социального и речевого.

Например, глаголы речи – это особый класс информационных слов, который является, так сказать, ортогональным другим классам слов информационной сферы: глаголы речи не являются "продолжением" внутренних состояний, хотя и могут их выражать. С внутренними состояниями речь связывает только наличие пропозициональной валентности – валентности содержания. Однако содержанием этой валентности содержания может быть что угодно – и внутренние состояния, и физические действия, и вообще любые внешние события.

Речевые акты – это разновидность действий. Целью речевых действий, как и других действий, является изменение – изменение информационного состояния лица-Адресата (*сообщить*), изменение его внутренних установок (*убедить, доказать*) или побуждение его к действию (*попросить, приказать*). Социальные и межличностные взаимодействия, в конечном счете, тоже осуществляются на базе речи.

Ядром внутренней сферы человека являются экспериенциальные состояния, выражаемые предикатами ощущения, восприятия, знания, эмоциональных состояний и реакций. Если роль человека в энергетической сфере (роль Агенса) активная – переме-

---

[6] Поставщиком специальных обозначений предметов и ситуаций является не только семантический механизм специализации в сфере полисемии. Важным источником таких обозначений являются относительные прилагательные. Как отмечалось в работе [Павлов 1960], с помощью относительных прилагательных обозначаются разновидности, подклассы объектов (*книжный магазин – рыбный магазин; ручные часы – напольные часы – настольные часы*). Наконец, такими же специальными обозначениями лиц и предметов можно считать названия участников ситуации, производные от предиката данной ситуации (типа *лечить – лекарь – лекарство*) и, следовательно, характеризующие этих участников (у которых в других обстоятельствах и ситуациях могут быть другие признаки и функции) именно с точки зрения их роли в данной ситуации. Причем такие "ролевые" актантные обозначения не обязательно должны быть отглагольными, они могут быть и супплетивными (*лечить – врач*), ср. [Апресян 1974: 138].

щать, воздействовать, изменять, создавать, – то роль человека в экспериенциальной сфере (роль Экспериенцера), вообще говоря, пассивная: он ПОДВЕРГАЕТСЯ воздействию внешнего мира, результатом которого являются ощущения, а также перцептивные или ментальные СОСТОЯНИЯ: ощущать, чувствовать, видеть, слышать, знать. Даже если человек предпринимает какие-то активные действия (слушать, смотреть, узнавать), то результатом этих действий все равно будет не изменение мира, а изменение его собственного внутреннего состояния (услышать, увидеть, узнать).

Экспериенциальные состояния существенно отличаются от физических. Например, если вы сломали карандаш, состояние "карандаш сломан" будет существовать само по себе, эспериенциальные же состояния существуют только потому и до тех пор, поскольку и пока человек их испытывает: они должны постоянно "вызываться", возобновляться, поддерживаться. В этом смысле экспериенциальные состояния, особенно ощущения и эмоции, похожи на процессы: человек чувствует боль, пока на него воздействует фактор, вызывающий боль; человек испытывает эмоциональное состояние, пока он думает о факте, вызвавшем это состояние.

С другой стороны, экспериенциальные состояния, по существу, двухместны, т.е. являются отношениями: *знаю, что Р; вижу, что Р; боюсь / страшно, что Р* – это отношение между человеком и внешней ситуацией Р, которой соответствует, с которой связано его внутреннее состояние.

Экспериенциальные предикаты существенно отличаются от предикатов физического мира и по типу обозначаемых ими ситуаций, и по способам распространения на другие ситуации.

Принципиальная особенность многих экспериенциальных предикатов состоит в том, что значения у них крайне бедные (например, глаголы восприятия типа *видеть* и *слышать* приближаются к семантическим примитивам или даже считаются таковыми), а ситуации, которые они обозначают, ненаблюдаемые. Поэтому из этих предикатов нельзя извлечь модель ситуации и использовать ее для описания других ситуаций, как в случае глаголов физического действия.

Таким образом, из двух составляющих семантического потенциала – "что можно извлечь из знака ситуации" и "к чему это можно применить" – остается одна: "к чему это можно применить", т.е. на какие другие типы ситуаций можно распространить предикат внутреннего состояния человека. Причем заранее известно, что это будут ситуации совершенно другой природы.

В физической сфере тоже есть механизм распространения предиката физической ситуации на нефизическую: это происходит по аналогии (*вырвать признание; оторвать взгляд*). Но внутренние предикаты человека (*больно, грустно, видеть, знать, понимать* и т.п.) – это предикаты только человека[7]; их нельзя распространить по аналогии, потому что соответствующие состояния не имеют аналогов во внешнем мире.

Поэтому, если мы приписываем такой предикат физическому объекту (ср. *Лес грустит*), значит, мы просто рассматриваем данный объект как человека. Лес как совокупность деревьев не может испытывать чувство грусти. *Лес грустит* – это олицетворение (характерное главным образом для поэтической речи). Меняется только интерпретация объекта, с предикатом же никаких семантических преобразований не происходит: предикат человека остается предикатом человека[8]. Т. е. это не та аналогия, что в физической сфере: она ограничивается объектом и не затрагивает предикат. Таким образом,

---

[7] В какой-то мере и в каком-то смысле некоторые экспериенциальные предикаты относятся и к высшим животным, но едва ли этот смысл полностью отождествим с человеческим.

[8] Другое дело, что для приписывания физическому объекту эмоционального предиката должны быть какие-то внешние основания: если лес освещен солнцем или деревья шумят и гнутся от ветра, не скажут *Лес грустит*. Но тот факт, что грусть приписывается лесу на основании внешнего сходства с грустящим человеком, не приводит к образованию у глагола *грустить* особого значения, относящегося к лесу или другим физическим объектам, как это происходит при метафорическом переносе.

если в сфере освоения нефизических ситуаций с помощью предикатов физических ситуаций метафора стала когнитивным механизмом, то в сфере распространения внутренних предикатов на внешние объекты по "аналогии" (*Лес грустит*) олицетворение остается поэтическим приемом: оно создает не новое значение, а образ, не востребованный языком.

Основной принцип языкового расширения в экспериенциальной сфере – перенос по смежности, т.е., вообще говоря, метонимический: внутренний предикат человека распространяется (а) на внешние ситуации на основании СВЯЗИ между этими ситуациями (*вид из окна* – то, что можно *увидеть*) или (б) на другие, иерархические более "высокие" внутренние состояния – тоже на основании их связи, но уже в самой внутренней сфере человека (*Вижу, как он выходит из комнаты → Вижу, что он недоволен* – 'понимаю').

В целом основания, мотивы метонимического смещения в экспериенциальной сфере совсем другие, чем в физической. Для физической сферы характерна внутренняя метонимия (диатетические, конверсные преобразования) – смещение предиката от одного актанта к другому в рамках одной и той же ситуации: *выжать воду – выжать тряпку*. Это происходит потому, что предикат описывает отношения между всеми участниками, а не только между субъектом и объектом, так что все участники "имеют право" на этот предикат (хотя в норме в позицию объекта продвигается Место, и то не всегда). В экспериенциальной сфере происходит метонимическое смещение внутреннего предиката человека на внешнюю ситуацию принципиально другой природы.

Основные типы смежных ситуаций, с которыми связан предикат внутреннего состояния человека и на которые его можно распространить, – это ситуация, вызывающая данное состояние (КАУЗАТОР), и ситуация, выражающая, "проявляющая" это состояние (ЭКСПЛИКАТОР). А основные типы метонимических значений, образованных от предикатов внутренних состояний, – каузативное и экспрессивное[9]:

грустный пейзаж – ВЫЗЫВАЮЩИЙ чувство *грусти* у ЧЕЛОВЕКА;

грустный взгляд – ВЫРАЖАЮЩИЙ чувство *грусти* (состояние) ЧЕЛОВЕКА.

Таким образом, метонимическое значение в экспериенциальной сфере – это правило редукции, сведения к внутреннему состоянию человека. Это значение интерпретируется через отсылку к человеку. Данный механизм, по существу, идентичен механизму интерпретации значений относительных отсубстантивных прилагательных, которые тоже включают отсылку, только это отсылка к предмету (ср. *книжная обложка* – обложка *книги*; *книжный шкаф* – где хранятся *книги*; *книжный магазин* – где продают *книги*).

Еще один принципиальный для экспериенциальной сферы тип семантического сдвига – "повышение", т.е. способность продвигаться вверх по иерархии внутренних систем человека: от более "низких" к более "высоким". Если судить по результатам процесса "повышения", внутренние состояния человека не образуют единой иерархии. Здесь обнаруживаются две линии, две подсистемы: ощущения–эмоции и восприятие–знание. Ощущения и эмоции – это реакции тела и души на внешние воздействия и события. Предикаты физиологических реакций (ощущений), ср. *больно, тяжело*, могут обозначать психологические состояния и реакции, а предикаты эмоциональных (психологических) состояний (*грустно, страшно*), в том числе и бывшие физиологические реакции (*больно*), могут продвигаться на еще более высокую ступень этой иерархии и обозначать пропозициональные установки-оценки (содержащие отсылку к эмоции):

Мне больно; Тяжело нести чемодан – физиологические ощущения;

Мне страшно / грустно; Больно смотреть на это – эмоциональные реакции и состояния;

Больно, что мы расстались; Страшно, что он лжет; Грустно, что его нет – пропозициональное отношение-оценка факта.

---

[9] Типы значений 'выражающий X' (*грустный взгляд*) и 'каузирующий X' (*грустное известие*) выделены в работе [Апресян 1974: 212].

Что касается восприятия, то оно сопровождает ощущения и эмоции, но само по себе является нейтральным: воспринимаемый факт может вызывать какую-то эмоцию (*приятно смотреть; страшно смотреть*), а может просто приниматься к сведению.

Поскольку восприятие является одним из главных источников формирования знаний, то естественно, что при продвижении по иерархии внутренних систем предикаты восприятия "повышаются" до предикатов знания: *Вижу, что он чем-то расстроен; Слышал, что он уехал*. В этой подсистеме высшей ступенью являются, по-видимому, пропозициональные установки – мнения, убеждения и под., которые формируются на базе знаний (и, вероятно, эмоций), но сами знаниями не являются.

У предикатов восприятия, прежде всего – зрительного восприятия, есть еще один способ "распространения" на внешний мир – включение их в значение других языковых единиц, описывающих внешние ситуации. Чаще всего это ситуации движения и местонахождения. Экспериенциальная составляющая может включаться в такие ситуации как в явном виде, номинативно (*Показалась луна; Вдали виднеется лес*: 'виден находящийся вдали лес'), так и в неявном виде, в качестве перцептивного компонента в семантике предиката (*встретить; пропасть; исчезнуть*, ср.: *X встретил Y-а* – X шел и увидел Y). Это позволяет создать эффект присутствия человека-Наблюдателя: такие смешанные предикаты обозначают воспринимаемое местонахождение, наблюдаемое движение, ср.: *Луна показалась из-за тучи* vs. *Луна вышла из-за тучи*. Такой же эффект дает употребление слова *вид* (*на виду у всех; обиженный вид*) – оно обозначает не просто признаки объектов и ситуации, а такие признаки и такие ситуации, которые видит Наблюдатель.

Слова со смешанной семантикой образуются не только потому, что предикаты местонахождения и восприятия семантически бедные и просто обогащаются за счет друг друга, повышая этим свою информационную ценность. Пространственные и перцептивные предикаты имеют существенную связь и взаимообусловленность, так как пространственный контакт является условием восприятия некоторого объекта или ситуации, а восприятие, в свою очередь, имплицирует нахождение объекта в данном фрагменте пространства и, тем самым, его существование.

Таким же образом связаны местонахождение и обладание: если объект принадлежит лицу, он находится в таком месте, откуда его можно взять, причем посессор знает это место (в противном случае объект потерян, украден и т.д.), ср. *хранить письма в шкатулке; держать деньги в сейфе* (связь местонахождения и обладания проявляется и в значениях глагола *хранить*: "локативном" *хранить что где* и "посессивном" ('не перестать иметь') *хранить квитанции, старые письма*), см. подробнее [Кустова 2004].

Другой важный процесс, противоположный смещению экспериенциальных предикатов на внешние ситуации (каузаторы и экспликаторы), – смещение физических и других "активных" предикатов в экспериенциальную сферу, т.е. возникновение экспериенциальных значений у глаголов действия – физического (*жать, давить, жечь, загораживать*) или "семиотического" (с перцептивным или речевым компонентом – *показывать, доказывать, объяснять*). Этот механизм тоже имеет метонимическую природу (смежность), и это метонимическое смещение тоже происходит либо в рамках исходного значения – на другой, "смежный" компонент, либо на другую, смежную ситуацию.

Здесь обнаруживаются три основных типа экспериенциальных значений: ощущение, восприятие и ментальное состояние/пропозициональная установка (знание, понимание, уверенность, убежденность). Поскольку поставщики этих значений – каузативные глаголы (глаголы действия), то и в производном значении они обозначают не просто состояние, а обусловленное состояние, т.е., по существу, ОТНОШЕНИЕ между состоянием и обусловливающим это состояние фактором (*Горячая сковородка жжет руки*) или фактом (*Его поспешный отъезд доказывает его причастность к этой истории*).

Глаголы физического воздействия *давить, жать, жечь, колоть, тянуть* и др. могут обозначать ОЩУЩЕНИЕ: *давить на крышку чемодана* → *давить кому на плечи* → *рюкзак давит на плечи* → *в груди давит*.

Если объектом воздействия является человек, то в ситуации воздействия, наряду с обычными составляющими (воздействием и изменением), появляется еще одна, экспериенциальная, составляющая – ощущение человека:

Рюкзак давит на плечи.

(а) тяжесть предмета, имеющего контакт с телом человека, воздействует

(б) тело подвергается воздействию

(в) человек испытывает ощущение тяжести, давления.

Компонент (в) – 'ощущение' – не часть значения глагола *давить*, а экспериенциальная импликация, возникающая в ситуации *давить* в том случае, если объект "живой" ('если на тело человека воздействовать способом S (давить, жечь и т.д.), то человек испытает ощущение P – "давление", жжение и т.д.'). В случаях типа *Давить на крышку чемодана* такой импликации нет.

Метонимический сдвиг основан на смежности самих ситуаций воздействия и ощущения. Причем ощущение – ситуация не просто "смежная" с физическим воздействием, но и обусловленная им. Таким образом, глагол физического воздействия начинает обозначать ощущение, вызываемое данным типом воздействия, "смежное" с ним, а затем и "чистое" ощущение, возникающее в отсутствии реального физического каузатора: *В груди давит; Рану жжет.*

Такое же экспериенциальное значение есть у прилагательных типа *тяжелый, горький* и под. Оно также связано с ситуацией прототипического взаимодействия человека с объектом, признак которого (тяжесть, горечь) вызывает у человека определенную экспериенциальную реакцию (*тяжело, горько*).

Другое экспериенциальное следствие, которое может иметь для человека внешняя ситуация, – перцептивное (ВОСПРИЯТИЕ): 'перестал видеть'/ 'начал видеть'. Такое следствие может возникать в ситуациях, обозначаемых глаголами *загородить, закрыть* и под.:

X загородил проход мешками → 'существует преграда для движения' → 'тем самым существует преграда для взора' → 'Экспериенцер перестал видеть то, что находится за преградой'.

Смещение акцента на экспериенциальную составляющую сопровождается заменой агентивного каузатора (деятельности Агенса) на событийный:

Его шляпа загородила/загораживает экран, 'произошло событие (X начал находиться между Наблюдателем и экраном)/имеет место состояние (X находится между Наблюдателем и экраном); вследствие этого Наблюдатель перестал видеть/не видит экран'.

Если перцептивный компонент не содержался в значении глагола действия (*загородить, закрыть*), происходит перенос на основе смежности самих ситуаций действия и восприятия (как в случае *давить*), если содержался (*показаться*) – происходит смещение акцента на этот компонент.

Производные экспериенциальные значения глаголов речи (которые уже в исходном значении содержат информационный компонент) могут выражать МЕНТАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ и ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ. Это может быть актуальное состояние: *Его выдал акцент* (мы слышим его речь и понимаем, что P); а может быть объективная связь между некоторой пропозицией (фактом) и соответствующей этому факту установкой или ментальным состоянием, вообще говоря, любого Экспериенцера: *Этот факт доказывает его вину; Полученные им угрозы объясняют его внезапный отъезд*; ср. также *Его выдает акцент.*

Значения пропозициональной установки (знания, понимания, убежденности) возникают обычно у глаголов речевых действий *доказать, подтвердить, объяснить, изобличить, убедить*. В исходном значении такой глагол является названием типа речевого акта, т.е. названием деятельности Субъекта речи, а состояние Адресата – лишь следствие воздействия, в экспериенциальном значении этот глагол называет пропозициональную УСТАНОВКУ субъекта сознания (синтаксически невыразимого).

Субъект таких действий, как *доказать, объяснить* и под., сообщает Адресату не просто информацию (как в случаях *сообщить, проинформировать, признаться*), а такую информацию, которая необходима и достаточна для изменения ментального состояния Адресата и формирования у него соответствующей установки (понимает, уверен, убежден), т.е. убедительна, доказательна: *X подтвердил/объяснил/доказал, что P* – 'X сказал такое и таким образом, что Y знает/понимает/считает, что P'.

Когда человек получает такую информацию не в результате целенаправленного речевого воздействия другого человека, а из другого источника, он может сам сформировать соответствующую пропозициональную установку, если эта информация ДОСТАТОЧНА, т.е. содержит в себе указание на неслучайную связь событий:

Это доказывает P → зная это, нельзя сомневаться, что P;

Это объясняет P → зная это, можно понять, почему P.

Общей особенностью рассмотренных экспериенциальных ситуаций и значений является то, что экспериенциальные состояния человека являются реакцией, т.е. результатом воздействия ситуации внешнего мира и откликом на нее. При этом у них есть два существенных отличия от результатов обычных каузативных ситуаций. В отличие от агентивной ситуации это воздействие нецеленаправленное – в этом смысле экспериенциальные реакции похожи на результаты случайных воздействий типа *Ветер сломал ветку*. Вторая особенность экспериенциальных ситуаций состоит в том, что они не просто требуют "живого объекта" (живой объект может быть и у физических воздействий – *бить кого, сломать руку*), – это воздействие именно на экспериенциальные системы человека. Причем основа экспериенциальной каузации – сама способность человека как "информационного существа" реагировать на ситуации внешнего мира: ощущать, воспринимать, анализировать то, что происходит, даже не в результате специального воздействия, а просто находясь в контакте с некоторой ситуацией.

Механизм образования таких значений, в широком смысле, импликативный. Однако характер этой импликации совсем другой, чем в метафорической аналогии. Значение *сорвать голос* тоже основано на импликации исходной ситуации ('нарушить'), т.е. на одном из результатов. Однако такой результат человек может "заметить", актуализировать, а может и "не заметить", не использовать. Экспериенциальные же состояния-реакции типа *больно* или *тяжело* – это не такой результат, который человек может не заметить, он ощущает этот результат на себе.

КОСВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Связующим звеном между внешним и внутренним миром являются предикаты **косвенного результата** и **интерпретации** (о глаголах косвенного результата см. [Кустова 1996]; о глаголах интерпретации см. [Апресян 1999; Кустова 2000б]). Они обозначают результат, смысл или оценку некоторого внешнего события (любого, не обязательно физического), т.е. его "информационный" КОРРЕЛЯТ, его проекцию в информационную сферу.

Глаголы интерпретации и косвенного результата, в широком смысле, анафорические, "местоименные": *X спас Y-а*: 'X сделал ТАКОЕ P, которое привело к спасению Y-а'; *X ошибся*: 'X сделал P, и это P можно квалифицировать как ошибку'; *X огорчил Y-а*: 'X сделал ТАКОЕ P, которое вызвало огорчение у Y-а'. Они обозначают косвенный результат некоторой ситуации P, но не содержат специфичной информации о денотативном содержании этой ситуации, ср.: – *Он нарушил закон / опозорил полк / огорчил сестру. – А что он сделал?* (далее для краткости все предикаты этой группы будем называть предикатами интерпретации).

Из такого устройства предикатов интерпретации вытекает важнейшая особенность их полисемии и семантической парадигмы: у них, как правило, НЕТ ПЕРЕНОСНЫХ (образных, метафорических) ЗНАЧЕНИЙ в традиционном понимании – к ним неприменима сама идея переноса по сходству, поскольку при таком переносе происходит сравне-

ние исходного денотата и нового, а у них нет никакого определенного исходного денотата (в этом смысле предикаты интерпретации похожи на операторы, которые также могут относиться к предикатам самых разных денотативных ситуаций). Содержание Р может быть любым, а предикат интерпретации обозначает сам тип изменения, которое вызвано этим событием Р в информационной сфере: вошел не в ту дверь; неудачно женился; неправильно подумал → *ошибся*; разбил чашку; получил двойку; отказался от приглашения → *огорчил*. Конечно, у отадъективных глаголов типа *расширить, повысить* есть противопоставление физических и нефизических результатов в самом "результативном" компоненте, которое похоже на метафорический перенос (*расширить канаву* – изменение физического параметра vs. *расширить международные связи* – изменение нефизического параметра; ср. также *повысить насыпь* vs. *повысить цены*), однако это противопоставление унаследовано от прилагательного (к тому же сами прилагательные *широкий, высокий* и под., хотя и относятся в исходном значении к признакам физических объектов, строго говоря, не являются "физическими", т.к. выражают оценку физического параметра, отношение к норме).

Хотя глаголы интерпретации предназначены для того, чтобы передавать оценку внешней ситуации, ее результат для информационной сферы, их можно "приспособить" для обозначения самих внешних ситуаций, в том числе – физических, разворачивающихся в пространстве и времени: *спасать людей из огня; расширять канаву бульдозером; ошибиться дверью* (нередко это фиксируется словарями как особое "физическое" значение).

Кроме того, есть большая группа предикатов косвенного результата и интерпретации, у которых происходит регулярный коммуникативный сдвиг (перенос акцента) на ситуацию Р в рамках одного значения.

Если ситуация Р – поступок лица или ее можно синтаксически представить как ситуацию с личным субъектом, то глагол интерпретации имеет два режима употребления: косвенную номинацию и квалификацию.

В режиме косвенной номинации глагол обозначает сам поступок Р: *Сегодня Петя опять огорчил маму* (= получил двойку); *Поручик опозорил полк* (= отказался от дуэли); *Он обидел сестру* (= не пришел на день рождения); *Пойдем его обрадуем* (= скажем); *Давай его напугаем* (= сделаем). В сферу действия отрицания в этом режиме попадает поступок Р: *Сегодня Петя не огорчил маму двойкой* (= не получил двойку; то, что получение двойки огорчительно, не отрицается); *Поручик не опозорит полк* (не откажется от дуэли; не отрицается, что отказ от дуэли является позорным).

В режиме квалификации глагол обозначает оценку, смысл поступка, а отрицание, соответственно, является отрицанием этой оценки: *Петя не огорчил маму двойкой: она давно к ним привыкла; Поручик не опозорил полк отказом от дуэли, потому что дуэль – это предрассудок.*

Здесь действует принцип метонимического смещения, который похож как на внутреннюю метонимию, так и на внешнюю метонимию. В случае внутренней метонимии происходит сдвиг акцента на другой компонент той же ситуации (*выбил пепел из трубки → выбил трубку*), в случае внешней метонимии происходит смещение предиката на другую, смежную ситуацию (*Врач давит на грудь* – действие, вызывающее ощущение → *В груди давит* – ощущение). В предикатах же интерпретации сдвиг акцента происходит в пределах одного значения, но само это значение включает связь двух ситуаций, и в силу связи этих ситуаций название одной ситуации, внутренней (*огорчение, позор, обида*), т.е. предикат оценки, можно использовать для обозначения другой ситуации, внешней – в качестве косвенной номинации самого оцениваемого поступка.

* * *

Из этого обзора семантических стратегий и семантических парадигм многозначных слов видно, что, поскольку у человека "нет других слов", он вынужден использовать все мыслимые возможности, чтобы "выжать" максимум из того, чем он располагает, – и

ему действительно удается "выжать" довольно много. С другой стороны, производные значения, при всем их разнообразии, являются реализацией концептуальных схем и импликаций, заложенных в исходном значении и исходной ситуации, поэтому из слова можно "выжать" только то, что есть в исходной ситуации и ее "стандартном" денотативном окружении, и использовать это так, как предусмотрено общими когнитивными принципами и механизмами языкового освоения реальности.

Внутренняя метонимия действует в пределах одной ситуации (на базе полного денотативного тождества), ее цель (и результат) – изменение акцента, точки зрения на ситуацию. Производное значение является реализацией импликации исходного значения, а суть данного коммуникативно-синтаксического преобразования состоит в том, чтобы акцентировать, "продвигать" (или, в терминах Е.В. Падучевой, помещать в фокус) разных участников одной и той же ситуации – разумеется, вместе с их компонентами, которые в исходном значении имели статус импликации: *застегнуть пуговицы на рубашке → застегнуть рубашку; Дворник метет мостовую метлой → Метла метет.*

Денотативная аналогия действует на базе частичного денотативного тождества. Формально она тоже выглядит как перенос акцента на исходно не-главный, импликативный компонент, который в производном значении оказывается главным. Например, значение *Платье метет мостовую* формально устроено так же, как *Метла метет*, т.е. акцентирует инструментальный компонент исходного агентивного значения (при этом, конечно, теряя Агенса). Таков механизм этой стратегии. Однако цель ее совершенно иная – не в том, чтобы подчеркнуть какой-то аспект исходной ситуации (поскольку производное значение соответствует уже совсем другой ситуации), а в том, чтобы использовать предикат исходной ситуации на том основании, что у этих ситуаций есть (относительно) тождественный фрагмент.

Внешняя метонимия распространяет знак ситуации на другую, смежную ситуацию, которая не имеет не только сходства с первой, но часто имеет другую природу. Однако эти ситуации связаны неслучайным образом – одна из них имплицирует другую (*Давить на грудь – В груди давит*).

Таким образом, неметафорические значения основаны на тождестве ситуации, на сходстве (совпадении) фрагментов ситуаций и на смежности (связи) ситуаций.

Метафорическая аналогия основана не на использовании компонентов, а на использовании концептуальных схем, извлекаемых из исходного значения и прототипической ситуации. При этом тоже очень активно работает импликативный механизм. Например, если в исходной ситуации *сорвать яблоко* смысл 'получить в свое распоряжение' был всего лишь импликацией, то в метафорических значениях смысл 'получить', 'иметь', 'добиться' становится основным (*сорвать на водку; сорвать куш; сорвать аплодисменты*).

Хотя метафора – более творческий, более "познавательный" механизм по сравнению с метонимией (сходство может быть неочевидным, а смежность, связь очевидна), тем не менее метонимия тоже очень важна для когнитивного подхода к описанию производных значений, так как она демонстрирует логику языкового освоения реальности (и связи в самом сознании человека), хотя это другая логика, чем у метафоры.

Вообще, метонимический принцип, т.е. принцип связи, смежности, – это не только принцип переноса, но и принцип внутреннего устройства самих значений. В одних случаях происходит перенос знака с одной ситуации на другую, потому что эти ситуации связаны (*Ему грустно → У него грустный взгляд*), а в других случаях две ситуации оказываются связанными, соединенными уже в пределах одного значения. Обычно соединяются в одном значении некоторая базовая физическая ситуация (и вообще внешняя по отношению к человеку ситуация) и ее информационный коррелят:

местонахождение/движение – восприятие: *виднеться, показаться*;

местонахождение – обладание: *хранить* (*что где*);

внешняя ситуация – ее проекция в информационную сферу: *огорчить, опозорить, спасти.*

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Апресян В.Ю., Апресян Ю.Д. 1993 – *В.Ю. Апресян, Ю.Д. Апресян.* Метафора в лексикографическом толковании эмоций // ВЯ. 1993. № 3.

Апресян 1974 – *Ю.Д. Апресян.* Лексическая семантика: Синонимические средства языка. М., 1974.

Апресян 1999 – *Ю.Д. Апресян.* Интерпретационные глаголы – группа *ошибаться* // W zwierciadle jezyka i kultury. Lublin, 1999.

Арутюнова 1979 – *Н.Д. Арутюнова.* Языковая метафора (синтаксис и лексика) // Лингвистика и поэтика. М., 1979.

Вежбицка 1986 – *А. Вежбицка.* Восприятие: семантика абстрактного словаря // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVIII: Логический анализ естественного языка. М., 1986.

Гак 1972 – *В.Г. Гак.* К проблеме семантической синтагматики // Проблемы структурной лингвистики. 1971. М., 1972.

Гак 1973 – *В.Г. Гак.* Высказывание и ситуация // Проблемы структурной лингвистики. 1972. М., 1973.

Зализняк 2004 – *Анна А. Зализняк.* Феномен многозначности и способы его описания // ВЯ. 2004. № 2.

Иорданская 1970 – *Л.Н. Иорданская.* Попытка лексикографического толкования группы русских слов со значением чувства // Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 13. М., 1970.

Иорданская 1972 – *Л.Н. Иорданская.* Лексикографическое описание русских выражений, обозначающих физические симптомы чувств // Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 16. М., 1972.

Кибрик 1992 – *А.Е. Кибрик.* Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. М., 1992.

Кошелев 1989 – *А.Д. Кошелев.* Об основаниях языковой классификации движений, задаваемой глаголами движения // Семиотика и информатика. Вып. 29. М., 1989.

Кошелев 1999 – *А.Д. Кошелев.* Описание когнитивных структур, составляющих семантику глагола ехать // Логический анализ языка: Языки динамического мира. Дубна, 1999.

Кустова 1996 – *Г.И. Кустова.* О коммуникативной структуре значения глаголов с событийным каузатором // Московский лингвистический журнал. Т. 2. 1996.

Кустова 1998а – *Г.И. Кустова.* Производные значения с экспериенциальной составляющей // Семиотика и информатика. Вып. 36. М., 1998.

Кустова 1998б – *Г.И. Кустова.* "Память значения" (две тенденции в процессах семантической деривации) // Труды Международного семинара Диалог'98 по компьютерной лингвистике и ее приложениям. Т. 1. Казань, 1998.

Кустова 1999а – *Г.И. Кустова.* Семантические модели производных значений глаголов перемещения объекта // Научно-техническая информация. Сер. 2. 1999. № 5.

Кустова 1999б – *Г.И. Кустова.* Перцептивные события: участники, наблюдатели, локусы // Логический анализ языка: Образ человека в культуре и языке. М., 1999.

Кустова 2000а – *Г.И. Кустова.* Когнитивные модели в семантической деривации и система производных значений // ВЯ. 2000. № 4.

Кустова 2000б – *Г.И. Кустова.* Предикаты интерпретации: ошибка и нарушение // Логический анализ языка. Язык и этика. Сб. научных трудов. М., 2000.

Кустова 2002а – *Г.И. Кустова.* Экспериенциальная сфера и концепт тяжести в русском языке // Семиотика и информатика. Вып. 37. М., 2002.

Кустова 2002б – *Г.И. Кустова.* О типах производных значений слов с экспериенциальной семантикой // ВЯ. 2002. № 2.

Кустова 2004 – *Г.И. Кустова.* Семантическая парадигма глаголов отношения (*хранить*) // Научно-техническая информация. Сер. 2. 2004. № 11.

Мартемьянов 1964 – *Ю.С. Мартемьянов.* Заметки о строении ситуации и форме ее описания // Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 8. М, 1964.

НСЗ 1984 – Новые слова и значения: Словарь-справочник/Под ред. Н.З. Котеловой. М., 1984.

Павлов 1960 – *В.М. Павлов.* О разрядах имен прилагательных в русском языке // ВЯ. 1960. № 2.

Падучева 2000 – *Е.В. Падучева.* О семантической деривации: слово как парадигма лексем // Русский язык сегодня. Вып. 1. М., 2000.

Падучева 2004 – *Е.В. Падучева.* Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.

Падучева, Розина 1993 – *Е.В. Падучева, Р.И. Розина*. Семантический класс глаголов полного охвата: толкование и лексико-синтаксические свойства // ВЯ. 1993. № 6.
Петров, Переверзев 1988 – *В.В. Петров, В.Н. Переверзев*. Ситуационная семантика. М., 1988.
Рахилина 1998 – *Е.В. Рахилина*. Когнитивная семантика: История. Персоналии. Идеи. Результаты // Семиотика и информатика. Вып. 36. М., 1998.
Розина 1999 – *Р.И. Розина*. Концептуальные структуры и языковые правила порождения значений: глаголы движения вниз // Язык. Культура. Гуманитарное знание. Научное наследие Г.О. Винокура и современность. М., 1999.
Селиверстова 1990 – *О.Н. Селиверстова*. Контрастивная синтаксическая семантика: Опыт описания. М., 1990.
Blake 1994 – *B.J. Blake*. Case. Cambridge, 1994.
Chafe 1971 – *W.L. Chafe*. Meaning and the structure of language. Chicago; London, 1971 (русск. пер.: У.Л. Чейф. Значение и структура языка. М., 1975).
Croft 1991 – *W. Croft*. Syntactic categories and grammatical relations: the cognitive organization of information. Chicago; London, 1991.
Fillmore 1968 – *Ch.J. Fillmore*. The case for case // E. Bach, R. Harms (eds). Universals in linguistic theory. New York, 1968 (русск. пер.: Ч. Филлмор. Дело о падеже // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X. М., 1981).
Lakoff, Johnson 1980 – *G. Lakoff, M. Johnson*. Metaphors we live by. Chicago, 1980.
Metonymy 1999 – Metonymy in language and thought / Ed. by K.-U. Panther, G. Radden. Amsterdam; Philadelphia, 1999.
Talmy 1983 – *L. Talmy*. How language structures space // Spacial orientation: theory, research, and application/Ed. by H. Pick, L. Acredolo. New York, 1983.
Talmy 1988 – *L. Talmy*. The relation of grammar to cognition // Topics in cognitive linguistics / Ed. by B. Rudzka-Ostyn. Amsterdam, 1988.
Van Valin 1993 – *R.D. Van Valin, Jr.* (Ed.) Synopsis of role and reference grammar // Advances in role and reference grammar. Amsterdam; Philadelphia, 1993.
Wierzbicka 1980 – *A. Wierzbicka*. Lingua mentalis. Sydney, 1980.
Wierzbicka 1990 – *A. Wierzbicka*. The semantics of emotions: fear and its relatives in English // Australian journal of linguistics. 1990. V. 10. № 2.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 2005

© 2005 г. Р. РУДЕ

ПРЕДИКАТИВНОЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ И ТИПЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ*

Данная статья посвящена некоторым вопросам синтаксиса предикативного прилагательного. В центре внимания находится прежде всего структура предложений. В зависимости от того, является ли предложение (1) чисто квалифицирующим, (2) бытийно-квалифицирующим или (3) таксономически-квалифицирующим, преобладает краткая или полная форма прилагательного. Тип (2) определяют семантика подлежащего и присутствие локализатора. Для типа (3) важную роль играют референциальный статус подлежащего и семантика предиката. Последняя часть статьи посвящена проблеме творительного предикативного для прилагательных.

Несмотря на то, что синтаксису прилагательного в позиции сказуемого в русском языке посвящено огромное количество работ, исследователи до сих пор считают, что этот вопрос остается во многих отношениях одним из самых спорных в русской лингвистике. На эту тему накоплено очень много фактического материала и сформулировано большое число теоретических правил, регулирующих употребление той или иной формы. Поэтому мы бы хотели не столько добавить отдельные наблюдения к уже существующему материалу, сколько выявить общий принцип, позволяющий упорядочить эти теперь уже всем известные факты, и выделить некоторые следствия этого принципа. Мы, в первую очередь, хотим обратить внимание на конкуренцию полной и краткой форм прилагательного. Нам кажется также необходимым после этого рассмотреть, какое место в этой системе занимает творительный предикативный.

Сложность и разнообразие правил распределения кратких и полных форм предикативного прилагательного является результатом того, что конструкции, в которые оно входит, распределяются по трем семантическим полюсам.

(А) Первым полюсом является стандартное квалифицирующее предложение типа: *она красива; он очень богат*. Семантика этих предложений состоит в том, что 'некоторому X-у приписывается признак P'.

(Б) Второй полюс – бытийный тип; самые типичные бытийные предложения построены с помощью имени в функции подлежащего (*был праздник*), но они могут быть осложнены прилагательным (*была прекрасная погода*) и могут подвергаться разным трансформациям, в результате которых будет "возрастать" роль прилагательного.

(В) Третий полюс – таксономические предложения: *это роман, это сказка*. Как и в предыдущей модели, самые типичные из них построены с помощью имени в функции подлежащего. Они могут подвергаться различным преобразованиям, постепенно приближающим их к квалифицирующему типу. Семантика этих предложений сводится к тому, что 'некоторый X относят к классу K'[1].

Нас особенно интересуют промежуточные конструкции, располагающиеся между полюсами А и Б (например, *погода была хорошая*) и между полюсами А и В (напри-

* Выражаю благодарность профессору Жану Бреяру за ряд ценных замечаний, в особенности за мысль о противоположной ориентированности краткой и полной форм предикативного прилагательного.

[1] О мыслительном процессе, лежащем в основе классификации, см. ниже.

мер, *жизнь прекрасная*). Менее интересны для нашего исследования конструкции, занимающие промежуточную позицию между типами Б и В (они, к тому же, являются более редким феноменом). Поэтому мы ограничимся тем, что проиллюстрируем эти конструкции следующим примером, взятым из [Виноградов 1972]:

(1) *Масти были любимые и нелюбимые, счастливые и несчастливые (Л. Андреев).*

Тут трудно решить, с каким типом предложений, таксономическим или бытийным, мы имеем дело, поскольку эквивалентами этого предложения являются и *были любимые масти и нелюбимые масти, счастливые и несчастливые* (бытийный тип) и *масти делились на категории любимых и нелюбимых...* (таксономический тип). Но главное для нас – другое: как бы ни истолковывалось предложение *Масти были любимые и нелюбимые..*, единственная возможная форма для прилагательного – именительный падеж полной формы; краткая форма в этих конструкциях употребляться не будет. Поэтому мы оставим в стороне этот промежуточный тип.

Наши наблюдения приводят нас к убеждению, что многие особенности распределения краткой и полной форм вытекают из следующего принципа: для предикативного прилагательного краткая форма употребляется тогда, когда предложение, в которое оно входит, представляет собой чисто квалифицирующую модель (А); полная же форма будет употребляться, когда мы имеем дело с предложением бытийно-квалифицирующего типа (БА) или таксономически-квалифицирующего типа (ВА). В типе БА, которому посвящена первая часть этой работы, важную роль играют семантический тип подлежащего и присутствие или отсутствие локализатора. Во второй части мы перейдем к типу ВА и будем рассматривать факторы, благоприятствующие употреблению таксономически-квалифицирующего предложения. Важнейшую роль здесь играют референциальный статус подлежащего и семантические характеристики предиката. В третьей части будут рассмотрены некоторые следствия дифференциации собственно квалифицирующего и таксономически-квалифицирующего предложений. С помощью этой дифференциации мы постараемся объяснить не только несколько любопытных примеров, но и общеизвестные факты: речь будет идти о том, что краткая форма придает большую категоричность суждению, чем полная форма, и о том, что при дополнении употребление краткой формы часто становится обязательным. Семантическое расхождение краткой и полной форм, в свою очередь, является следствием валентностного потенциала краткой формы прилагательного. В последней части этой работы будет рассмотрена проблема творительного. Обратим сперва внимание на бытийно-квалифицирующий тип.

1. БЫТИЙНО-КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.1. Тип подлежащего

В первую очередь следует отметить предложения, имеющие в качестве подлежащего название некоторого события. Н.Д. Арутюнова [Арутюнова 1999: 771–772] пишет, что эти предложения выходят из поля бытийности, если в них актуализовано качественное определение. Подлежащим в них обычно является слово, обозначающее безличное событие. Это событие – либо временной отрезок (день, утро, вечер, лето, зима...), либо стихийное явление (погода, дождь, гроза), сообщение о состоянии среды (покой, тишина...) или об общесоциальном явлении (голод, война). Реже замещают эту позицию названия субъектных событий (суета, толкотня). Результатом такой актуализации являются конструкции: *погода была прекрасная, утро было холодное, тишина здесь полная* и т.д.:

(2) Вокруг нашего дома стояли, задумавшись, огромные каштаны. С них уже начали падать сухие пятипалые листья. День был солнечный, очень синий, теплый, но с прохладной тенью – обыкновенный день киевской осени (Паустовский. Далекие годы).

Как было сказано, актуализация качественного определения влечет за собой отрыв таких предложений от бытийности, но регулярное употребление полной формы прилагательного здесь сохраняется. Порой от собственно бытийного типа такие предложения отличает еще и обязательная тематическая позиция подлежащего:

(3) *По вечерам город был затемнен. Боялись внезапного нападения германского флота. Затемнение было неполное. В шторах, опущенных на окнах магазинов, были прорезаны надписи, освещенные изнутри* (Паустовский. Беспокойная юность).

В примере (3) ясно, что элемент *затемнение* не может быть рематическим: актуализация определения путем перестановки лексем здесь обязательна. Но даже если собственно бытийное предложение *было неполное затемнение* было бы в таком контексте неуместно, близость к бытийному типу очевидна. Следует упомянуть тот факт, что дейктическое местоимение, сопровождающее подлежащее такого типа (*этот день, такая погода*), приводит к полному отрыву от бытийной модели, и краткая форма прилагательного становится вполне естественной: *этот день был ужасен, такая погода неприятна...*

1.2. Влияние локализатора

Многие предложения, содержащие локализатор, представляют собой не чисто квалифицирующую модель, а промежуточный тип БА.

1.2.1. Локализатор – посессивная синтагма

Было неоднократно замечено, что присутствие посессивной синтагмы *у* + род. влечет за собой почти исключительное употребление полной формы (*дети у нее милые*). Это объясняется тем, что такие конструкции представляют собой предложения, частично оторванные от бытийного типа (*у нее милые дети*) путем актуализации квалифицирующего элемента. Тут возможны разные варианты. Ниже мы процитируем отдельные рубрики, взятые из [Арутюнова 1999]. С посессивной синтагмой представлены:

- высказывания о владении предметом: *Книги у нее интересные; Дом у них был просторный, светлый*;
- высказывания о свойстве какого-нибудь лица, входящего в микромир человека: *Мама у него старая; Муж у нее был непутевый*;
- высказывания о наличии внешних обстоятельств жизни человека: *Работа у него была интересная*;
- высказывания о физическом состоянии: *Приступ у него был острый*;
- высказывания о физических свойствах человека: *Глаза у нее черные; Голос у него низкий.*

Замена именительного падежа творительным означает окончательный разрыв с бытийным типом, и конструкции получают исключительно квалифицирующую интерпретацию: *Дом у них был просторным, светлым; Работа у него была интересной* (мы отвлекаемся от того факта, что эти предложения могут показаться стилистически нежелательными). Случаи, когда в такой конструкции употребляется краткая форма, крайне редки, если прилагательное не предшествует имени (об этом см. [Gustavson 1976: 340–341]). Исключение из этого правила составляют устойчивые выражения:

(4) *У него на такие дела кишка тонка.*

Можно предположить, что достаточно даже имплицитной посессивной синтагмы, чтобы полная форма прилагательного стала обязательной. Этим, по нашему мнению, объясняется следующий пример, где естественно предположить, что опущено *у нее* (*память на имена у нее просто ужасная*):

(5) *Сказала, что задевала куда-то визитную карточку, что память на имена просто ужасная – адреса, мол, запоминает, а фамилии и имена-отчества никак* (Акунин. Любовница смерти).

Невозможность в (6) краткой формы (**голова была ясна*) мы склонны объяснять тем же фактором, имплицитной синтагмой *у нее*:

(6) *...а может, Медеины травы так действовали, голова была ясная, мысли хоть и медлительные, но очень четкие* (Улицкая. Медея и ее дети).

Такая посессивная синтагма настолько склоняет все предложение в сторону бытийного типа, что за прилагательным порою сохраняется именительный падеж даже с такими связочными глаголами, с которыми более обычным является творительный предикативный:

(7) *Комната у Офелии оказалась простенькая, но уютная* (Акунин. Любовница смерти).

Исключения, когда, несмотря на такую посессивную синтагму, употребляется краткая форма, крайне редки:

(8) *Лена закончила шитье, надела кофточку и подошла к зеркалу, глядя на себя высокомерно. Кофточка была с короткими рукавами, что было некрасиво – руки у Лены вверху толсты, летний загар сошел, белеет кожа в мелких пупырышках* (Трифонов. Обмен).

1.2.2. Локализаторы другого типа

С локализаторами другого типа тоже преобладает полная форма, но она является менее обязательной. Тут возможны высказывания о микромире человека (*платье на ней было ужасное*) и высказывания, где локализатором является указание на фрагмент мира (*люди там интересные; леса в этом краю замечательные*). Преобладание здесь полной формы прилагательного над краткой также объясняется близостью предложения *Леса в этом краю замечательные* к бытийному типу (*В этом краю замечательные леса*). Примеры из литературы:

(9) а. *На Контрактовой ярмарке балаганы действительно были интересные. Мы любили эту ярмарку и с нетерпением ждали всю зиму, когда она откроется* (Паустовский. Далекие годы).

б. *Русалка с лиловыми глазами лежала в цинковой ванне. В грязной чешуе русалки отражалась тусклая электрическая лампочка. Вода в ванне была мутная* (Паустовский. Далекие годы).

в. *За плотинами были водяные ямы – жилища огромных щук. Ямы назывались спадами. В спадах вода была черная и медленно вращалась* (Паустовский. Далекие годы).

Мы здесь не рассматривали вопрос о том, можно ли с полным правом присвоить прилагательному в бытийно-квалифицирующем предложении статус предиката. Есть возможность считать, что такое предложение отличается от чисто бытийного только выносом имени; прилагательное тем не менее остается согласованным определением, не имеющим само по себе статуса предиката. Предположение, что прилагательное – всего лишь согласованное определение, естественным образом объясняет невозможность употребления краткой формы в такой модели предложения[2].

---

[2] Именно такой точки зрения придерживался проф. Сэмон на Семинаре, посвященном русской лингвистике, проходившем в Сорбонне в 1997–1998 гг.; веский аргумент в пользу такого решения – возможность для причастий замещать эту позицию в полной форме (как известно, краткая форма обязательна для причастий в предикатной позиции): *Одежонка у них рваная, валенки разбитые, тела истомленные; Когда в половине десятого Юра добрался до гостиницы, вид у него был несколько взъерошенный и ошеломленный.* Такой подход приложим и ко многим таксономически-квалифицирующим предложениям.

2. ТАКСОНОМИЧЕСКИ-КВАЛИФИЦИРУЮЩИЙ ТИП

Заметим прежде всего, что очень многие исследователи в разное время (в частности Виноградов, Исаченко, Сахно) считали функцию классификации типичной для полной формы предикативного прилагательного: "В сущности, при предикативном употреблении полных форм имен прилагательных происходит подведение тех или иных предметов под известные категории качества или признака, которыми определяются различия родов и видов вещей и лиц" [Виноградов 1972: 214]. С особой ясностью эта точка зрения излагается в [Исаченко 1965]: "В предложении *Китайский язык очень трудный* утверждается (а) что существует класс трудных языков и (б) что именно китайский язык включается говорящим в этот класс, мыслится им как элемент данного класса". С другой стороны, имя нарицательное, а не прилагательное составляет типичный предикат таксономического предложения (об этом см. [Wierzbicka 1986]), и поэтому мы склонны рассматривать предложения типа *Китайский язык очень трудный* как таксономически-квалифицирующую модель.

Нам кажется, что прежде всего необходимо уточнить, в чем состоит основа таксономического предложения. Отнести X к классу K_y значит, что:

• X является элементом множества M. "Конкретное таксономическое предложение содержит сообщение о вхождении объекта в некоторый класс, его идентичности одному из членов множества, ср.: *Этот цветок – незабудка*" [Арутюнова 1999: 32]. Это утверждение должно быть уточнено следующим образом: в предложенном примере имеет место первичная классификация, X (подлежащее предложения) уже классифицирован как входящий в множество всех цветов M (эту первичную классификацию можно назвать индентификацией). Если взять предложение *Эта книга – роман*, первичная классификация состоит в том, что некий X определен как входящий в совокупность всех книг (множество M).

• M может быть разбит на классы K_1, K_2, K_3... по характеристикам, противопоставляющим их друг другу. Это значит, что такие характеристики должны относиться к одной понятийной сфере. Можно, например, рассортировать книги по содержанию (тогда мы получим категории романов, учебников, словарей и т.д.), по объему (книги будут разделены на толстые и тонкие) или по цвету обложки (красные, желтые, зеленые книги).

Дальше мы приведем соображения А. Вежбицкой [Wierzbicka 1986]:

– операция категоризации берет чаще всего в основу какую-то устойчивую характеристику;
– эта характеристика обычно является заметной, очевидной чертой;
– в результате такой операции получаются дискретные (non overlapping) категории.

Вежбицкая утверждает, что к такой операции в первую очередь приспособлены имена нарицательные (а не прилагательные). Значит, роль прилагательного, являющегося предикатом таксономического предложения (в котором употребляется полная форма), близка к роли имени. К этому можно добавить, что употребление краткой формы прилагательного во многих отношениях соответствует некоторому оглаголиванию прилагательного. Интересное замечание мы нашли по этому поводу в [Булыгина, Шмелев 1997: 59–60]: «Факт известного "оглаголивания" прилагательных, участвующих в рассматриваемых предикациях, подтверждается возможностью употребления прилагательных в неопределенно-личных предложениях с "нулевым подлежащим": *Я позвонил по телефону. Со мной были вежливы, но холодны; В поликлинике к нему очень внимательны; Боюсь, что в детстве с ним были слишком мягки; Если с ребенком слишком суровы, он и сам вырастает неласковым*». К этому замечанию можно добавить, что классификация нулевого подлежащего противоречила бы элементарной логике, и поэтому в таких случаях исключается употребление полной формы.

2.1. Типы подлежащего

Разные имена в зависимости от своего референциального статуса могут породить предложения разных типов (об этом см. [Булыгина, Шмелев 1997: 113]). Этот факт отражается в синтаксисе предикативного прилагательного.

2.1.1. Имена с уникальной референцией

Такие имена обозначают сущности, которые не могут быть элементом какого-либо множества, и поэтому для них ни о какой классификации речи быть не может. Эти имена не могут быть подлежащим ни таксономического, ни таксономически-квалифицирующего предложения: тут для предикативного прилагательного возможна лишь краткая форма. Один из лучших примеров такого типа – лексема *вселенная*. Она может стать подлежащим только квалифицирующего предложения (а).

(10) а. Вселенная бесконечна.
б. *Вселенная бесконечная.

Предложение (б) неприемлемо оттого, что оно воспринималось бы как таксономически-квалифицирующее предложение, обязательно предполагающее здесь несуществующее множество М, в которое входила бы вселенная. Мы здесь, конечно, отвлекаемся от возможности для языка описывать предполагаемые миры, благодаря которой могут быть построены предложения, относящие в принципе уникальные объекты к определенным классам. По очевидным причинам такая возможность используется редко.

Однако в некоторых случаях могут возникнуть сомнения. В качестве примера имен с уникальной референцией в [Булыгина, Шмелев 1997] приводятся такие лексемы, как *луна* и *солнце*, что на первый взгляд не вызывает возражений. Тем не менее следующие предложения не аномальны:

(11) а. *Луна была огромная и сияла, как хорошо начищенное самоварное золото* (Золотуха. Великий поход за освобождение Индии).
б. *Луна была большая, как медный таз* (Золотуха. Великий поход за освобождение Индии).
в. *Солнце садилось за горы. Вечером оно было огромное, красное* (Шукшин).

Дело в том, что наблюдателем воспринимаются не индивидные объекты (*луна* или *солнце*), а конкретные пространственно-временные срезы, инстанты этих объектов (по терминологии [Булыгина, Шмелев 1997: 113–114]). Другими словами, возобновляющиеся каждый день конкретные реализации луны и солнца составляют определенное множество, и предложения (а)–(в) относят одну их конкретную реализацию к классу, имеющему определенный признак. Эти предложения принадлежат к типу ВА.

Здесь следует отметить, что именно эта возможность для одного и того же имени проводить референцию то к индивидному объекту, то к одному его временно-пространственному срезу, осложняет картину синтаксиса предикативного прилагательного. Согласно традиционной точке зрения полная форма соответствует семантике "постоянства признака" (и эту точку зрения полностью отвергнуть нельзя). Но уже из приведенных примеров видно, что, когда полная форма призвана установить референцию к одному инстанту, происходит как раз обратное явление.

2.1.2. Проблема референции и тематических подлежащих

Все последующие анализируемые случаи связаны тем, что референциальный статус подлежащего вытекает из контекста. Имен с уникальной референцией, как нам кажется, почти нет (единственный неоспоримый пример такого типа – *вселенная*). Зато имеются многочисленные имена, могущие обозначать либо понятие (о них Фреге писал, что их тогда сопровождает определенный артикль: *la vie, das Leben*), либо кон-

кретное явление (с неопределенным артиклем: *une vie, ein Leben*), и поэтому почти всегда возможны две модели предложения. В первом случае возможно только квалифицирующее предложение (а), во втором случае, если не употребляется таксономическое предложение типа *это прекрасная жизнь, это полезное чтение*, возможно таксономически-квалифицирующее предложение (б).

(12) а. *Жизнь прекрасна. Чтение полезно.*
б. *Жизнь прекрасная. Чтение полезное.*

Речь здесь идет соответственно о жизни одного конкретного человека, об одной конкретной книге: множество М – разные возможные существования, разные возможные книги. Для того чтобы такое предложение стало допустимым, обязательна тематическая позиция подлежащего: предыдущий контекст должен дать информацию о том, о какой жизни, о какой книге идет речь. Следует отметить по этому поводу, что еще Н.Ю. Шведова [Шведова 1952: 107] писала о том, что замещение позиции подлежащего лексемой, взятой из предыдущего контекста, чаще всего влечет за собой употребление полной формы. Этот факт был также подчеркнут в [Gustavson 1976]. Заметим, что семантика "общепризнанной истины", присущая гномическим предложениям, которую иногда приписывают краткой форме или настоящему времени (об этом см. [Guiraud-Weber 1993]), является результатом дифференциации двух типов предложений.

Подобным образом и родовой термин с вытекающей из предыдущего контекста референцией к определенному индивиду может стать подлежащим такого предложения. Для этого он обязательно должен быть тематическим, как и имена с "изменяющейся" референцией (по отношению к понятию или же к конкретному явлению). Например:

(13) а. *Осталась Дарья Никитишна вольной вдовой, детей у ней не было. Баба еще молодая, всего девятнадцать лет, да такая славная, из себя красивая. Немало людей на Дарью заглядывалось...* (Мельников-Печерский. В лесах).
б. *В этот момент я испытал нечто вроде внутреннего удовлетворения. Чувство не слишком достойное, но понятное* (Акунин. Любовница смерти).

Замечательно, что настоящее время тут не может быть заменено прошедшим, хотя рассказ ведется именно в прошедшем. При изменении такого предложения почти обязательным становится местоимение: *Баба она была молодая... Это чувство было не слишком достойное...* при сомнительности: *?Баба была молодая, ?Чувство было не слишком достойное.* Это наводит на мысль, что упомянутая модель находится на грани того, что мы назвали таксономически-квалифицирующим предложением. Эта модель является чем-то переходным между таксономически-квалифицирующей моделью и чем-то совершенно иным, не имеющим, по всей вероятности, даже статуса предложения.

Рассмотрим теперь семантически недостаточные имена типа *поведение, состояние, впечатление, черта* и т. д. Будучи семантически недостаточными, они не могут сами по себе быть подлежащим квалифицирующего предложения: **впечатление странно, *черта удивительна.* Зато они могут быть подлежащим таксономически-квалифицирующего предложения, так как эта модель имплицирует указание на конкретную референцию этих лексем и, таким образом, восполняет их семантическую недостаточность: *впечатление странное, черта удивительная, поведение отвратительное, случай редкий.* Употребление такого таксономически-квалифицирующего предложения предполагает тематическую позицию имени-подлежащего. Такие предложения поэтому всегда контекстно обусловлены:

(14) а. *Приводят якобы "исторический" факт: больше всего краж совершалось во время казни вора. Думается, здесь больше публицистики, чем анализа. Во всяком случае, тезис спорный, когда касается молодых людей* (РФ сегодня, 2003).

б. *Я представлял себе этих истощенных от зубрежки, заплаканных мальчиков с красными от волнения, оттопыренными ушами. Зрелище было жалкое* (Паустовский. Далекие годы).

в. *Мы издевались над сыщиком. Каждый из нас громко рассказывал вымышленную его биографию. Биографии были чудовищные и оскорбительные. Сыщик хрипел от ярости* (Паустовский. Далекие годы).

2.1.3. Включение в определенное множество М

В предыдущих случаях референция имени могла проводиться либо к одному конкретному объекту, либо к общему понятию. В первом случае создавалось какое-то множество сопоставимых между собой однородных элементов, во втором случае речь шла об общем, ни с чем не сопоставимом понятии, и за этот счет создавалось гномическое предложение с семантикой "сентенции, неоспоримой и общепризнанной истины" [Грамматика 1954: 450]. Возьмем теперь другую ситуацию, которая усложняется тем, что X может входить в разные множества, вследствие чего создаются разные таксономически-квалифицирующие предложения.

Возьмем как конкретный пример лексему *трава* в качестве подлежащего: возможны предложения (а) и (б), структуры которых на первый взгляд идентичны:

(15) а. *Трава – зеленая* (ср. [Sakhno 2001]).
б. *Трава хорошая.*

На самом же деле эти предложения сильно отличаются друг от друга: в устной речи им соответствуют совершенно разные интонации, подчеркивающие это различие. Первое предложение, *Трава – зеленая*, будет понято чаще всего следующим образом: лексема *трава* понимается как родовой термин, обозначающий один из возможных элементов земного покрова (множество М тут снег, трава, камни, песок...), и их классификация производится при помощи тех предикатов, которые выражают характеристику противопоставляющую их друг другу. Чуть ли не единственной возможностью классификации таких элементов выступает их характерный цвет: *трава – зеленая, снег – белый, песок – желтый*. Оттого, что в основе классификации лежит такой признак, семантика этих предложений оказывается очень близкой к значению неоспоримой и общепризнанной истины, иногда приписываемому краткой форме. Подобные предложения соответствуют во французском и немецком языках конструкциям, подчеркивающим, что лексема X рассматривается как родовой термин: франц. *L'herbe, c'est vert* (тематический вынос и определенный артикль), нем. *Gras ist grün* (имя без артикля). Такое предложение не может быть преобразовано в собственно таксономическое предложение **это – зеленая трава.*

Предложение же (б) будет интерпретировано по-другому оттого, что в силу семантики предиката создается другое множество – род растений, называемый травой. Здесь сопоставляются, таким образом, разновидности травы (например, когда ее назначение – корм для скота); тут возможны предикаты *хороший / плохой, сочный / сухой* и т.д. Это предложение может быть переформулировано в собственно таксономическое предложение: *Это – хорошая трава.* Подлежащее здесь опять должно быть тематическим, как и в следующем контексте, где речь идет о сене, лежащем на дороге:

(16) – *Сено-то доброе! Прямо пух... Жалко оставлять-то. Давечь никого в переулке-то не было, я и сбросила с воза. Чего им, колхозным-то? Им-то до весны с лишком хватит...* (Шукшин. Я родом из деревни).

2.2. Семантика предикатов в таксономически-квалифицирующей схеме

Прилагательное может, в зависимости от своей семантики, быть более или менее приспособлено к тому, чтобы стать классификационным критерием и, следовательно, стать предикатом таксономически-квалифицирующего предложения. Возьмем выше-

упомянутые критерии, предложенные А. Вежбицкой как типичные для категоризации: чем полнее прилагательное будет удовлетворять этим требованиям, тем чаще оно в функции предиката будет употребляться в полной форме.

2.2.1. Устойчивость характеристики

Операция категоризации чаще всего берет в основу устойчивые характеристики [Wierzbicka 1986]. Это утверждение очевидным образом перекликается с одним из самых традиционных критериев разграничения употреблений полной и краткой форм. Такой критерий был частично дискредитирован тем, что ему порой приписывали чуть ли не всеобъяснительную силу, и, к тому же, по справедливому замечанию Н.Ю. Шведовой, он больше применим к языку XIX века, чем к современному языку. Тем не менее полностью от него отказываться тоже не следует. Самым ярким примером такой дифференциации являются предложения *он болен* / *он больной* "он относится вообще к числу больных людей". Менее часто то же самое наблюдается с прилагательным *здоровый*, но иногда между двумя его формами тем не менее наблюдается та же смысловая дифференциация (полная форма указывает на постоянство признака):

(17) *Дядя Ермолай постоял с уздой, бросил, сморщился болезненно и пошел прочь, вытирая ладошкой глаза. Он был не очень здоровый* (Шукшин. Я родом из деревни).

Формы голодный / голоден, сытый / сыт в своем употреблении могут отражать ту же тенденцию:

(18) – *Тетя Рая, – очень вежливо ответил ей врожденный моряк, – какое ваше собачье дело путаться в чужие проекты. Что вы рвете у меня изо рта кусок хлеба! Вы, видать, сытая, а я голодный, как пустая бочка. Понятно?* (Паустовский. Беспокойная юность).

Мы не будем более подробно обсуждать это давно известное семантическое различие еще и потому, что оно частично совпадает с другим очень важным критерием, валентностным потенциалом прилагательного (об этом см. ниже). Но тут уместно вернуться к выше упомянутой проблеме референции (§ 2.1.1). Как мы уже заметили, распределение краткой и полной форм может в референциальном плане соответствовать различию между индивидными объектами / их инстантами. Речь выше шла об именах с кажущейся уникальной референцией. Этот принцип приложим и к одушевленным лицам. Он дает объяснение, почему, с одной стороны, *он больной* значит, что он вообще больной человек (устойчивый признак), а, с другой стороны, все равно не вполне аномально предложение *он сегодня больной*. Отнести эту возможность на счет характера разговорного языка нам кажется недостаточным. Намного плодотворнее было бы принять в расчет двойную возможность референции. Вместе с тем можно иметь дело с одним индивидным объектом – с одним человеком, и это, конечно, самое обычное:

(19) а. *Он больной* ('он вообще больной человек').
б. *Он болен* ('сейчас, сегодня ему плохо').

Но есть также возможность и для одного человека предстать то в одном виде, то в другом, то есть иметь разные "инстанты". Для ребенка, который регулярно болеет, эти два инстанта – больной ребенок / здоровый ребенок, и тогда возможно предложение *Он сегодня больной*. Необычной может показаться здесь не конструкция сама по себе, а ситуация, когда она возможна. С другими прилагательными эта проблема иногда почти исчезает: естественно сказать *Опять она невеселая* или *Он сегодня сердитый*, потому что нет ничего удивительного в том, что настроение человека регулярно меняется, и в сознании многих это значит, что существуют разные инстанты одного человека. То же самое можно сказать о предложении *Какая ты сегодня красивая!*, и

по поводу этого последнего примера интересно, что ??*Как ты сегодня красива!* звучит не совсем естественно.

2.2.2. Очевидность характеристики

Второй критерий А. Вежбицкой (характеристика, лежащая в основе таксономии, должна быть очевидной чертой) тоже имеет для нас некоторую объяснительную силу. Известно, что многие прилагательные имеют второе значение, сильно отличающееся от исходного. Таковы прилагательные *здоровый* и *интересный*:

Здоровый: 1) не больной; 2) сильный.

Интересный: 1) привлекательный с интеллектуальной точки зрения; 2) красивый.

Ясно, что второе значение отличается от первого как раз тем, что оно указывает на черту внешнего облика. Именно в этом втором значении употребляется исключительно полная форма:

(20) а. *Он здоровый* ('он сильный мужчина')
б. *Она интересная* ('она хорошенькая')

Если бы такие случаи исчерпывались только указанными двумя прилагательными, было бы явной натяжкой видеть некую связь между употреблением полной формы для обозначения броской характеристики и упомянутым прагматическим требованием, касающимся таксономических предикатов. Но к этим двум прилагательным можно добавить еще следующие: прилагательное *низкий* в применении к человеку имеет значение
1) невысокий (внешняя черта) или
2) подлый (не непосредственно наблюдаемая черта характера).
Во втором значении обычно употребляется краткая форма *он низок*. Картина здесь осложняется тем, что в первом значении употребляется часто уменьшительная форма *низенький*, не имеющая краткой формы:

(21) *Иногда к дяде Коле приходил в гости сельский аптекарь. Звали его Лазарем Борисовичем ... Аптекарь был низенький, коренастый, заросший до глаз бородой и очень язвительный* (Паустовский. Далекие годы).

Подобным образом обстоит дело с прилагательным *скучный*, которое имеет значения:
1) внушающий скуку,
2) имеющий грустный вид (внешняя характеристика).
В первом значении очень употребительна краткая форма (хотя она не единственно возможная), во втором значении употребляется только полная форма. В большей или меньшей степени можно сказать то же самое о прилагательном *грустный* и, отчасти, о прилагательном *серьезный*.

Важный имеет значения:
1) играющий большую роль или
2) имеющий импозантный вид.
Когда речь идет о внешнем облике, употребляется опять только полная форма.

Прилагательных с такой колеблющейся семантикой немного, но к этому можно добавить, что намечается некоторая тенденция к употреблению полной формы для прилагательных, обозначающих броскую черту. Хороший пример в этом отношении прилагательное *толстый*: в романе Грековой "Кафедра" мы находим три раза полную форму в функции предиката и только один раз краткую. Можно убедиться на следующих примерах, что *я / она толстая* кажется естественнее, чем *я / она толста*:

(22) а. *А ты ничего гирла, – сказал он небрежно. Ася была потрясена и сразу похорошела вдвое. "Я же толстая", – сказала она, как бы его вразумляя* (Грекова. Кафедра).
б. *Я толстая. Я в объеме толстая. Не верь, кто тебе скажет: худенькой лучше. Мужчины предпочитают толстых* (Грекова. Кафедра).

Речь тут, конечно, может быть только о некотором преобладании полной формы. Не исключается, что известную роль играет здесь ограничение, вызванное морфологией (подвижное ударение, об этом см. [Guiraud-Weber 1993]). Но в (23) наблюдается та же тенденция:

(23) *Это значило, что в конце коридора появился физик. Он шел неторопливо, с опаской прислушиваясь к воплям из физического кабинета. Физик был очень толстый. Он протискивался в узкую дверь боком* (Паустовский. Далекие годы).

Речь тут идет, конечно, только о некоторой тенденции, а вовсе не а каком-то непреодолимом препятствии для употребления краткой формы.

2.2.3. Элементарность характеристики

К этим требованиям для предикатов таксономии мы добавили бы еще и следующее. Для того, чтобы иметь классификационную силу, предикат должен мыслиться как элементарный. Такая элементарность имеет место, если речь идет о человеке (предикаты *добрый, умный, сильный* и т.д., но не предикаты *изобретательный* или *предприимчивый*). Первый разряд предикатов отличает их возможность иметь антонимы: люди, таким образом, делятся на добрых и недобрых, злых, на умных и неумных, глупых, на сильных и слабых и т.д. Для второго разряда такой возможности нет. Нам кажется, что полные формы прилагательных первого разряда могут без проблем занимать предикативную функцию и что для полных форм прилагательных второго разряда эта функция часто затруднена. Предложение ?*Он изобретательный* встречается намного реже, чем *Он добрый; Он умный* кажется естественнее, чем ?*Он самостоятельный*. Это "категориальное значение" может порой зависеть от подлежащего, с которым соотносится предикат. Прилагательное *обязательный* обычно не располагает такой классификационной силой: говорят только *Явка обязательна*. Но в школьном контексте, где предметы делятся на обязательные и необязательные, этот предикат легко становится классификационным:

(24) *Греческий язык был необязательный. Изучали его немногие* (Паустовский. Далекие годы).

То, что не всякое прилагательное может быть таксономическим предикатом, объясняется, по нашему мнению, тем, что в нашем мышлении существуют готовые категории [Sakhno 2001], и создание новых классов предполагает целый мыслительный процесс. Именно оттого, что в повседневной жизни человек мыслит готовыми категориями, которыми и оперирует разговорный язык, можно объяснить большую частотность полных форм в диалогической речи по сравнению с языком науки, с публицистическим и административным стилем.

2.3. Ориентированность предиката

Классификация, как мы только что сказали, оперирует готовыми категориями, а это значит, что говорящий субъект обращается для этого к фонду всем известных данных. В таксономическом предложении говорящий субъект не столько выносит суждение от себя, сколько опирается на уже готовую концептуализацию мира. Когда мы говорим *это дерево*, это значит, что, учитывая целый ряд для всех очевидных характеристик (форму, размер, цвет), мы подводим какой-то итог и делаем заключение: *X – дерево*. Поэтому предикат таксономического предложения часто ориентирован "налево", на предшествующий контекст, хотя и обратная ориентация не исключается (опираясь на что-то известное, можно развивать свою мысль дальше). Собственно суждение, напротив, открывает что-то новое, и поэтому оно ориентировано "направо", на последующий контекст. Такая тенденция прослеживается и в употреблении

кратких и полных форм предикативного прилагательного, что мы постараемся доказать на следующих примерах. Вот первый из них:

(25) *Честолюбив, неудачник и потому озлоблен. Грубоват, как видите. Изумительная память. Вы познакомьтесь с ним, он – интересный* (Горький. Жизнь Клима Самгина).

В этой фразе находит свое подтверждение то, что краткая форма употребляется в прогрессивной перспективе. Эти формы движут рассказ вперед, раскрывая все новые черты, а полная форма подводит итог, базируясь на только что сказанном. Возьмем теперь следующий пример:

(26) а. – *Фуй, какой вздор! – возмутилась Анна Акимовна. – Как вы все глупы! Какой вы глупый, Миша! Как вы надоели мне! Я вас видеть не хочу!* (Чехов. Бабье царство).

б. ?*Какой вы глупый, Миша! Как вы все глупы!*

Нам кажется, что только этой ориентированностью можно объяснить, что обратный порядок в примере (б) воспринимается иногда как менее желательный. В исходном тексте наблюдается та же ориентация краткой и полной форм: повтор осуществляется полной формой, эта роль краткой форме не свойственна. Мы хотели бы теперь прокомментировать следующий диалог, являющийся на первый взгляд контрпримером к этому преположению:

(27) – *...Нешто пойдешь за старика?*
– *Пойду, тятя, – твердо сказала Груня. – Он добрый... Да мне не он... Мне бы только сироток призреть.*
– *Да ведь он старый! Тебе не ровня, – молвил Чапурин.*
– *Стар ли он, молод – по мне все одно, – отвечала Груня. – Не за него, ради бедных сирот...* (Мельников-Печерский. В лесах).

На самом деле ясно, что восклицание *Да ведь он старый!* опирается на что-то уже данное (частица *ведь* притом еще подчеркивает, что это всем известно), *он старый* – просто повтор предыдущих слов *он старик* (ориентация – налево). Употребление после этого кратких форм может быть истолковано в таком же духе: тут нет никакого повтора, напротив, полностью отвергается предложенная точка зрения, предлагается альтернатива между двумя суждениями и ориентированность этих предикатов на последующий контекст: *по мне все одно*, не вызывает сомнений.

Такой подход проливает новый свет на давно замеченный факт (в научном стиле краткие формы употребляются в предикатной позиции гораздо чаще, чем полные формы, и это является одной из отличительных черт научного стиля от разговорного языка). Наука не оперирует готовыми категориями, не опирается на "всем известное", она, напротив, идет по линии аналитического мышления. Научная речь идет "вперед", каждое суждение является новым этапом на пути к следующему утверждению. В разговорном языке зато нет надобности в постоянно возобновляющемся анализе, в нем находит свое выражение бытовое мышление, порой построенное на череде шаблонов.

Небезынтересно в этом отношении поведение полупредикативных оборотов. Русская Грамматика [Грамматика 1980: 186] утверждает, что употребление краткой формы в них редкое явление, присущее только поэтической речи, и приводит следующие примеры:

(28) а. *Колеблется воздух, Прозрачен и чист* (Заболоцкий).

б. *Худощав, легок на ногу, он рано появляется в цехе* (из газет).

Как нам кажется, уже на этих примерах видно, что эта стилистическая окраска неоспорима только в случае постпозитивного определения. Мы уже отмечали по этому поводу [Roudet 1998], что препозитивные обороты такого типа не так редки и не вос-

принимаются как архаизм или черта поэтической речи; к примерам, взятым из [Грамматика 1980], можно добавить следующий (из телеграммы Б. Ельцина по поводу смерти Б. Окуджавы):

(29) *Всегда узнаваем, всегда индивидуален, всегда любим, он неизменно отстаивал свои идеалы истины и красоты* (Русская Мысль, 19–06–97).

Совершенно очевидно, что эта особенность краткой формы объясняется самым естественным образом, если принять предположение об ориентации кратких форм на последующий контекст.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ФОРМ

3.1. Несколько нетипичных примеров

Попытаемся теперь приложить вышеизложенную теоретическую схему к некоторым любопытным примерам, взятым из литературы. Возьмем сперва следующее предложение, которое с первого взгляда противоречит нашему описанию синтаксиса краткой и полной форм:

(30) *Но я была согласна и подождать три недели, пускай он поставит свой рекорд. Жизнь длинная, и времени для радости еще так много. ... Я ошибалась. Жизнь короткая* (Акунин. Любовница смерти).

Ясно, что тут идет речь о жизни вообще, а не о жизни какого-то отдельного человека, и, несмотря на употребление полной формы, здесь опять утверждается неоспоримая и общепризнанная истина. Но полной невозможности нет, достаточно считать, что жизнь входит во множество элементов, имеющих какую-то протяженность во времени, чтобы эта проблема была разрешена: перед нами высказывание, имеющее статус таксономически-квалифицирующего предложения[3]. К тому же, можно было бы лишний раз заметить, что полная форма ориентирована на предшествующий контекст.

Возьмем теперь следующие примеры:

(31) а. *Оказывается, СССР умер, а докторская колбаса была еще жива* (Латынина. Охота на изюбря).

б. – *Смерть живая, – повторяла Коломбина...* (Акунин. Любовница смерти).

Если в предложении (а) заменить краткую форму полной, получится нелепое утверждение, относящее колбасу к классу живых существ. Здесь же утверждается только одно свойство докторской колбасы, сводящееся к простому существованию, то есть материальному наличию. Это предложение может показаться сформулированным немного необычно, но оно вполне понятно. Предложение же (б) не может обойтись без комментария: автор этого утверждения уподобляет смерть живому персонажу, имеющему определенную волю, действующему как любой персонаж и т. д. Эту фразу можно понять только следующим образом: среди разных сущностей есть абстрактные или конкретные вещи, есть и живые существа, и к этому последнему классу относится смерть. Контекст, впрочем, не оставляет сомнений по этому поводу:

(32) *Смерть живая, – повторяла Коломбина, ... Существо, имя которому Смерть, может разгуливать по городу, заглядывать в окна, бить наотмашь. Может любить и ненавидеть, может чувствовать себя оскорбленным. В чем*

[3] Единственная проблема в том, что это множество будет, по всей вероятности, довольно разнородным (например, жизнь, загробное существование, детство, старость) или же, наоборот, крайне ограниченным (жизнь, загробное существование): и в том, и в другом случае, классификационная схема может показаться неуместной.

заключалось оскорбление, нанесенное Смерти Гдлевским, понятно (Акунин. Любовница смерти).

По очевидным семантическим причинам заменить полную форму краткой здесь невозможно.

3.2. Проблема категоричности

Различение квалифицирующей и таксономически-квалифицирующей моделей позволяет объяснить следующий факт: высказывание, использующее краткую форму, часто считают более категоричным, чем то же высказывание с полной формой прилагательного. Тут уместно вспомнить соображения А. Вежбицкой [Wierzbicka 1986: 363]. Она замечает, что эволюция менталитетов приводит к тому, что теперь все меньше употребляется такое имя нарицательное, как польск. *ślepiec*, указывающее только признак, характеристику "невидящий", но все больше отдают предпочтение синтагме *ślepy człowiek*, в которой характеристика "невидящий" подчинена второму признаку "человечность". Можно было бы сказать точь-в-точь то же самое о французском языке, где *les aveugles* все больше уступает эвфемистическому *les personnes non voyantes*.

Если сопоставить предложения

(33) а. *Он слеп.*
б. *Он слепой*,

можно сказать подобным образом, что употребление полной формы в (б), порождая таксономически-квалифицирующее предложение, в отличие от краткой формы (а), относит сперва X к некоторой категории (здесь категории "человек"), а только потом приписывает ему признак "невидящий". Тем не менее вне контекста большой разницы между этими формулировками нет (контекст может сильно менять это положение вещей: вспомним всем известный пример из Лермонтова: *этот слепой не так слеп, как оно кажется...*). Также нет существенной разницы между *он добр* и *он добрый*, и нам даже кажется, что категоричность, якобы вносимая краткой формой, тут еще под вопросом. Зато полностью расходятся такие высказывания, как *ты глуп* и *ты глупый* или *она смешна* и *она смешная*. Дело в том, что, когда речь идет об отрицательном признаке, классификация, лежащая в основе таксономически-квалифицирующего предложения, смягчает или даже нейтрализует эту отрицательную семантику тем, что вносит противоположную, положительную сему, признак "человечность". Поэтому высказывание, утверждающее только отрицательный признак, как *ты глуп*, обидно, а семантически более сложное *ты глупый* звучит всего лишь как мягкий укор (с инверсией – *глупый ты*, или без нее – *какой ты глупый*).

(34) – *Боже мой, – сказала она и посмотрела на меня полными слез глазами. – Глупый вы, глупый. Вот – читайте!* (Паустовский. Беспокойная юность).

Но тут следует ответить на вопрос, почему *ты противный* или тем более *он подлый* никак не могут быть безобидными репликами. Единственное возможное объяснение находится, как нам кажется, в том, что прилагательное тут своей очень сильной отрицательной нагрузкой полностью подавляет положительную черту, имплицитно содержащуюся в таком предложении. Но даже с этой оговоркой такое объяснение "более сильного" значения краткой формы является упрощением. Дело в том, что *ты умный* тоже представляет собой смягченное утверждение по сравнению с предложением *ты умен*, хотя здесь трудно предположить, что нейтрализуются положительная и отрицательная семы, как в предложении *глупый ты*.

Надо также объяснить, почему *глупый ты* звучит не очень обидно в отличие от *глупый ты человек*, что совершенно несовместимо с нашим предыдущим предположением. Оба эти факта можно истолковать следующим образом. В предложении *ты*

умный категория, к которой относят собеседника, может быть, например, множество мальчиков: ясно, что в утверждении *ты умный мальчик*, так же как и в синонимичном *ты умница*, чувствуется некоторая снисходительность, несовместимая с настоящим утверждением выдающихся умственных способностей. То же самое можно сказать по поводу разницы между предложениями *глупый ты человек* и *ты глупый*. Мы предположили, что таксономически-квалифицирующая модель относит подлежащее к категории "человек": но эта самая нейтральная категория послужила нам, как и А. Вежбицкой, удобной отправной точкой для нашего рассуждения. Если теперь заменить это предполагаемое множество, к которому относят подлежащее, более узкой категорией "мальчик" или "парень", то неудивительно, что *ты глупый* (с интерпретацией *ты глупый мальчик*) звучит менее оскорбительно, чем *ты глупый человек*.

3.3. Морфосинтаксическая точка зрения

3.3.1. Роль дополнения

То, что распространение при предикативном прилагательном влечет за собой употребление краткой формы – общеизвестный факт [Шведова 1952: 122–127]. По нашему мнению, этот факт связан с тем, что полная форма употребляется преимущественно тогда, когда имеется в виду классификация. Присутствие дополнения при прилагательном крайне затрудняет таксономическую функцию, так как классификационный критерий, как мы уже говорили, должен быть элементарным: *добрый* обладает такой элементарностью (люди делятся на два класса – добрых и злых); такой элементарностью чаще всего обладает обозначение цвета. Но предикат *добрый ко мне* ею не обладает и не может быть таксономическим предикатом, потому что возможное варьирование дополнения привело бы к крайней раздробленности классов: *добрый / недобрый ко мне, к родителям, к детям* и т.д. Притом нам кажется, что не только реального присутствия такого дополнения, но и имплицитного распространения достаточно, чтобы почти исключить употребление полной формы. Для некоторых прилагательных (в особенности для вышеупомянутых *интересный, скучный, важный...*), таким образом, наблюдается двойная тенденция: они могут относиться или только к внешнему облику, что способствует преобладанию полной формы, или иметь валентность *для кого, для чего* (в этом втором случае более обычна краткая форма)[4]. Тот факт, что имплицитное распространение является благоприятным фактором для употребления краткой формы, может послужить объяснением некоторых семантических особенностей прилагательных, которые будут рассматриваться ниже.

3.3.2. Роль дополнения и постоянство признака

Многие прилагательные могут функционировать с распространением или без него. Распространение указывает на ограничение признака, и, таким образом, может получиться, что краткая форма указывает на характеристику, связанную с определенными обстоятельствами, в отличие от полной формы, выражающей общую характеристику. Это является первым этапом процесса, обычно считающегося семантическим расхождением краткой и полной форм прилагательного.

(35) а. *Он груб со мной.*
б. *Он грубый.*

Предложения (а) и (б) не равнозначны, как и *эта задача трудна для меня* и *эта задача трудная*. Естественно, без распространения всеобщее утверждение может быть передано краткой формой: *он груб* и *он грубый* более или менее синонимичны; мы хо-

[4] Ясно, что все только что сказанное не распространяется на те случаи, когда мы имеем дело с бытийно-квалифицирующим предложением типа люди там интересные.

тим только указать, что полная форма исключает, чтобы признак, обозначаемый ею, был связан с определенной ситуацией. Если имеется в виду, что кто-то кому-то нагрубил, предложение ??*он был грубый* не удовлетворительно. По той же причине **он каждый раз грубый* вряд ли приемлемо.

Более или менее то же самое можно было бы сказать о прилагательных *строгий, холодный* (с кем-нибудь или без дополнения), *недоступный, обязательный, опасный, привлекательный* (для кого-нибудь или без дополнения), *дорогой, ясный* (кому-нибудь или без дополнения). Для всех этих прилагательных действует правило, согласно которому полная форма не может соответствовать утверждению, имеющему силу только в определенной ситуации.

Можно также заметить, что многие прилагательные, отнесенные некоторыми лингвистами [Шведова 1952: 80] к "категории состояния", имеют обязательную вторую валентность (подлежащее + дополнение): таковы прилагательные *доволен* (кем-нибудь / чем-нибудь), *согласен* (с кем-нибудь / с чем-нибудь / инф.), *похож* (на кого-нибудь / на что-нибудь), *готов* (к чему-нибудь / инф.), *виноват* (в чем-нибудь), *нужен* (кому-нибудь), *способен* (на что-нибудь / инф.). Тут речь идет о семантически обязательной валентности (синтаксически она может оставаться невыраженной), которая почти исключает употребление полной формы в предикатной функции. Эти прилагательные передают не столько характеристику, присущую подлежащему, сколько отношение между двумя актантами. Поэтому термин "категория состояния" в применение к ним нам кажется неудачным.

3.3.3. Семантическое расхождение краткой и полной форм

Давно замеченный процесс семантического расщепления разных форм прилагательных часто связан с возможностью для краткой формы соотноситься с распространением. В этом отношении особый интерес представляют прилагательные *хороший / плохой / дурной, злой* и *полный*. Прилагательное *хороший*, как синоним прилагательного *добрый*, употребляется часто в полной форме:

(36) *Он хороший* (= *он добрый человек*).

Зато если *хороший* имеет значение "пригодный для чего-то", вследствие появления второй валентности ("хороший для достижения какой-либо цели") употребляется краткая форма, что объясняет невозможность конкурентной формы в (а):

(37) а. *Тут все средства хороши, вплоть до шарлатанских* (Акунин. Любовница смерти).
б. **Тут все средства хорошие.*

Известно, что *она хороша* значит "она красива / красивая", при невозможности в этом смысле **она хорошая*, что объясняется очень просто семантически обязательной валентностью *собой*. То же самое можно сказать о "переносном" значении *она дурна / не дурна*, опять же с имплицитной валентностью *собой*. Прилагательное *плох* подобным образом может иметь значение "нездоров", что является следствием имплицитной валентности: *плох* (*здоровьем*). Немотивированной зато кажется семантическая специализация краткой формы этих прилагательных *она дурна (собой) / она плоха* (*здоровьем*), которая не допускает вариаций **она дурна* (*здоровьем*) / **она плоха* (*собой*), несмотря на синонимичность прилагательных.

Обратим теперь внимание на прилагательное *злой*. Семантическую разницу между полной и краткой формами (*он злой* в смысле "он недобрый человек" и *он зол на меня*) мы постараемся объяснить следующим образом. Мы сперва предложим общее толкование этого прилагательного *злой* "содержащий в себе недобрую силу". В зависимости от того, чем именно является эта недобрая сила, варьируется семантика этого прилагательного:

– с неодушевленными предметами: *злые морозы* значит "сильные и вредные", *злое время* интерпретируется как "время, полное несчастий" (недобрая сила тут – течение времени, приносящее всякие беды). Здесь предложения всегда бытийно-квалифицирующего типа:

(38) *Морозы в эту зиму были злые. Время было злое.*

В них может быть употреблена только полная форма: с одушевленными предметами, эта недобрая сила, движущая ими, – зло; *зло* может быть понято как общее понятие, как антоним к слову *добро*, или же как синоним к *злобе*.

(39) *Он злой.*

Предложение (39) отражает эту двойственность и может быть понято как: "он недобрый человек" или как "в нем злоба" (например, *он вернулся злой как собака* допускает только второе значение). Если выражена валентность, обозначающая против кого направлена эта недобрая сила, "зло" может быть понято только как *злоба* (как и в выражении *держать зло на кого-нибудь*). При выраженном распространении возможна, естественно, только краткая форма:

(40) *Он зол на меня. Она была зла на сестру.*

Выше сказанное наталкивает на мысль, что семантическое расхождение здесь более кажущееся, чем реальное. Дело обстоит не иначе с прилагательным *полный*. Мы как и в предыдущем случае предложим следующее семантическое толкование: "содержащий максимальное количество некоего Х-а", где варьируется только Х и возможность иметь выраженную валентность.

Если речь идет о конкретном предмете (бутылке, аудитории, шкафе), Х выражает его содержимое (вино, студенты, платья), отличное от этого предмета. Эта валентность может быть выраженной или же остаться невыраженной: *театр уже полон.*

(41) *Твой кубок полон не вином, но упоительной отравой* (Пушкин).

Если речь идет о предмете, для которого Х представляет составную его часть, эта валентность не может быть выражена, или же она будет выражена иначе, чем лексемой, подчиненной прилагательному: **список полон фамилий* / *список фамилий полон.* Тем не менее этого имплицитного элемента достаточно для преобладания (но не больше) краткой формы:

(42) *Этот список не полон. Ваши сведения не полны.*

Если речь идет о понятии (свободе, счастье, порядке), Х является характеристиками определяемого понятия: *полная свобода* – такая свобода, в которой присутствуют все отдельные характеристики того, что обозначается этим термином. Ясно, что здесь не может быть речи даже об имплицитной валентности. Краткая форма тут исключена еще и потому, что такая лексика чаще всего создает основу для бытийно-квалифицирующих предложений:

(43) *Свобода была полная. Счастье будет полное.*

4. ПРОБЛЕМА ТВОРИТЕЛЬНОГО

Не претендуя на то, чтобы дать исчерпывающую картину синтаксиса предикативного прилагательного, мы бы все же хотели коснуться проблемы творительного предикативного. Положение творительного предикативного может показаться парадоксальным. С одной стороны, неоднократно отмечалось, что этот падеж является эксплицитным указанием предикативности в отличие от именительного, который может быть падежом согласованного определения. Но с другой стороны, употребление тво-

рительного в некоторых случаях обязательно как раз вне поля предикативности, например: *быть богатым – не такая заслуга.*

Этот последний факт наводит на мысль, что распространение творительного идет от его употребления в позиции составной части синтагмы, то есть в позиции подчинения: в приводимом примере творительный можно считать подчиненной формой внутри синтагмы *быть богатым*. Если принять за отправную точку предположение, что в отличие от именительного творительный является в таких синтаксических схемах более или менее управляемым падежом (ср. [Guiraud-Weber 1993]), то можно объяснить некоторые особенности их распределения в интересующем нас случае. Обратим сперва внимание на эту сторону вопроса.

4.1. Общее распределение творительного и именительного

Вышеизложенные соображения позволяют сформулировать три правила распределения творительного:

• творительный возможен только тогда, когда подчиняющий элемент выражен эксплицитно. Этот падеж, таким образом, просто исключается при нулевой связке и становится возможным с близким по значению глаголом *бывать* в настоящем времени: *когда он бывает любезным?* при полной невозможности: **когда он любезным?*

• чем сильнее в семантическом отношении глагол в такой модели, то есть чем ближе он к категории глаголов, способных иметь при себе подчиненный элемент, тем вероятнее употребление творительного. Этот второй критерий дает по крайней мере частичное объяснение тому, почему с так называемыми полусвязочными глаголами (*казаться, оказаться, стать*) явно преобладает творительный падеж, который с глаголом *быть* конкурирует с именительным. Здесь возможна и краткая форма: по нашим наблюдениям, она особенно часто встречается с глаголом *становиться / стать*, приблизительно в два раза чаще, чем с другими глаголами такого типа. Но краткая форма употребляется здесь почти исключительно тогда, когда прилагательное имеет вторую (иногда имплицитную) валентность, например:

(44) а. *Мир стал тесен им, они перестали выполнять свои обязанности* (Гумилев. От Руси до России).
б. *Мама посматривала на меня и все повторяла, что я стал удивительно похож на отца* (Паустовский. Далекие годы).
в. *Потом я вспомнил о Романине. Что случилось с ним? Почему он стал со мной так груб? Должно быть, в этом была моя вина* (Паустовский. Беспокойная юность).

• в моделях, где затруднено или невозможно истолкование роли глагола как роли связочного элемента оттого, что отсутствует подлежащее, и поэтому связывать определение не с чем, творительный обязателен: это относится к императиву (45а), к деепричастиям (45б) и к инфинитиву (45в).

(45) а. *Будь вежливым!*
б. *Будучи вежливым...*
в. *Быть вежливым необходимо.*

Возможность употребления краткой формы не является, по нашему мнению, трудно объяснимым исключением из этого правила: эта возможность вытекает из другого, выше изложенного принципа ориентации краткой формы. Те некоторые (более или менее устойчивые) обороты типа *будьте добры, будьте любезны...* выполняют исключительно интродуктивную функцию, они всегда ориентированы на последующую просьбу, что соответствует одной важной харатеристике этих форм. Поэтому они легко сохранились в этих оборотах, в отличие от явных архаизмов как *я вернулся угрюм и сердит*. Когда эта интродуктивная функция не реализована, несмотря на идентич-

ность лексики, употребляется только творительный: *Не говорите так о нем! Будьте хоть раз добрым!*

Тут уместно коротко сказать о конкуренции творительного с именительным в сочетании с полнознаменательными глаголами (с глаголами пребывания в определенном месте, прихода или ухода, появления и т. д.). Здесь преобладает именительный, что на первый взгляд идет в разрез с выше изложенным принципом. На самом же деле можно рассматривать модели типа *он сидел грустный, он ушел довольный* и т.д. как построенные на слабой связи между прилагательным и глаголом: в доказательство можно привести их очевидную близость к полупредикативным оборотам[5], в которых исключается творительный:

(46) *Домой инженер вернулся на исходе дня, усталый и грустный* (Акунин. Алмазная колесница).

Когда же имеется неразрывная связь между глаголом и прилагательным, творительный становится обязательным. Семантика следующих предложений такова, что нет возможности сблизить их с предложениями, включающими полупредикативный оборот [примеры (б)]:

(47) а. *Он родился глухим.*
б. ??*Он родился в России, глухой и немой.*
(48) а. *Он умер молодым.*
б. ??*Он умер на фронте, молодой и отважный.*

К тому же рядом с именительным в предложении *он сидел грустный* наблюдается обязательность творительного в синтагме с теми же лексемами: *просто сидеть грустным – бесполезно*. Все это вместо взятое позволяет утверждать, что общее распределение творительного и именительного падежей производится по принципу "слабая / сильная (подчинительная) связь". Бывают случаи, когда критерий "тип связи" не играет существенной роли, и тогда появляется возможность выбора между двумя падежами. Следующий пример (49а) (из [Грамматика 1954, Т2: 467]) можно переделать в (49б): разница в типе связи здесь на семантике не отражается.

(49) а. *Цитадель стояла безмолвной и неприступной* (Федин).
б. *Цитадель стояла безмолвная и неприступная.*

4.2. Конкуренция творительного и именительного

Теперь следует обратиться к тем случаям, когда творительный падеж конкурирует с именительным. Очень часто эти формы воспринимаются как синонимичные: такими считают обычно высказывания *он был добрый* и *он был добрым*. В особенности вне контекста кажется невозможным установить между этими падежами какую-либо смыслоразличительную функцию. Мы приведем ниже несколько случаев, когда тем не менее они не могут заменять друг друга. В одних случаях творительный исключается оттого, что должна быть сохранена близость исходного предложения к неквалифицирующей модели. В других, наоборот, творительный обязателен: в этих предложениях проступает тенденция к акцентированию предикативного прилагательного.

4.2.1. Случаи, когда не допускается творительный

Мы здесь будем рассматривать предложения, в которых творительный не конкурирует с именительным в силу того, что исключается чисто квалифицирующая перспек-

[5] О размытости границы между полупредикативными оборотами и собственно предикативным прилагательным см. [Roudet 1998].

тива. Большинство таких случаев составляют предложения, построенные обязательно по бытийно-квалифицирующему типу.

Первый случай. Эта обязательность может возникнуть благодаря лексическим свойствам подлежащего и семантике связочного глагола. В случае, когда глагол *стоять* имеет сильный бытийный семантический оттенок, творительный предикативный становится крайне нежелателен (б):

(50) а. *Погода стояла холодная* ('долгое время была холодная погода').
б. **Погода стояла холодной.*

То же самое можно сказать о следующем примере:

(51) *Заря взошла багровая, туманная, пахнущая гарью* (Паустовский. **Беспокойная** юность).

Предложение (51) можно было бы тоже интерпретировать как результат слабой связи между глаголом и предикативными определениями (об этом в предыдущем разделе). Притом замечательно, что здесь нет возможности включить в одну синтагму эти глаголы, взятые в таком бытийном значении, и прилагательные: предложению *погода стояла холодная* не соответствует синтагма **стоять холодной*, которая может только породить бессмысленные предложения **стоять холодной для погоды плохо*.

Второй случай. Как уже было сказано, замена именительного падежа творительным означает окончательный разрыв с бытийным типом, что не всегда допустимо. Именно поэтому употребление творительного затруднено с тематическими подлежащими [примеры (а)]:

(52) а. *Я представлял себе этих истощенных от зубрежки, заплаканных мальчиков с красными от волнения, оттопыренными ушами. Зрелище было жалкое* (Паустовский. Далекие годы).
б. ??*Я представлял себе... Зрелище было жалким.*
(53) а. *Мы издевались над сыщиком. Каждый из нас громко рассказывал вымышленную его биографию. Биографии были чудовищные и оскорбительные. Сыщик хрипел от ярости* (Паустовский. Далекие годы).
б. ??*Каждый рассказывал его биографию. Биографии были чудовищными и оскорбительными.*

Замена тут привела бы к неудовлетворительному результату [примеры (б)]. В таком контексте должна быть сохранена бытийно-квалифицирующая модель предложения[6].

Третий случай. Мы упомянули в начале этой работы один пример предложения, являющегося промежуточным звеном между бытийным и таксономическим типами: *Масти были любимые и нелюбимые, счастливые и несчастливые*. Совершенно ясно, что здесь тоже исключается творительный, который преобразовал бы предложение в конструкцию квалифицирующего типа с другим – довольно странным – смыслом.

4.2.2. Случаи, когда предпочтение отдается творительному

Во многих случаях речь идет только о некотором предпочтении, а не об обязательности творительного падежа. Тут действуют разные факторы, но, как будет видно, все они сопровождаются акцентированием предикативного прилагательного.

Первый фактор – порядок слов: препозитивное предикативное определение очень часто оформляется посредством творительного:

---

[6] Этот факт мог бы послужить аргументом для того, чтобы истолковать последние предложения как бытийный тип с обязательным выносом имени, но мы не будем касаться этой стороны вопроса.

(54) а. *Удивительными были в то время многие узловые станции, построенные в месте пересечения железных дорог, вдалеке от людских поселений* (Паустовский. Беспокойная юность).

б. *Последние дни в Алуште были необыкновенно грустные и хорошие. Такими всегда бывают последние дни в тех местах, с которыми жаль расставаться* (Паустовский. Далекие годы).

в. *Русское слово "мудрый" он уже знал, но оттенков его не чувствовал, и мудрец для него всегда был стариком. А красивым он не был никогда* (Домбровский. Факультет ненужных вещей).

Именно несогласованность творительного с подлежащим создает здесь нужную синтаксическую однозначность: несмотря на то, что прилагательное – первый элемент высказывания, его функция заранее задана творительным падежом. Ту же роль могла бы играть и краткая форма, которая является в силу этого конкурирующей формой. Но ясно, что далеко не во всех случаях краткая форма возможна: в примере (б) она просто исключается, здесь творительный не имеет конкурентов. В примере (в) краткая форма кажется не желательной: в такой контрастной модели отдается предпочтение именно творительному. Только в примере (а) можно было бы допустить такую замену и то, возможно, не без оговорки. Полная форма в именительном, естественно, здесь почти исключена.

Такой порядок слов обычно сопровождается специфическим акцентированием прилагательного, который здесь составляет тему высказывания.

Второй фактор, действующий в пользу творительного, – семантическая разноплановость. В некоторых довольно редких случаях творительный может играть ту же роль с прилагательными, которую он порой играет с именами. Во фразе:

(55) *Рядом с прадедушкой его жена, Нинина прабабушка. Белая блузка, вертикальная сточка, волосы башенкой. Барыня, а барыней не была и близко. Но ведь фотография – не баловство* (Щербакова. Год Алены).

ясно, что имя употребляется сперва в денотативном значении, а потом в сигнификатном. В первом случае имеется в виду тип женщины (учитывается в первую очередь внешний вид), во втором создается реляционный предикат ("женщина, имеющая определенное социальное положение"). В таких случаях возможен только творительный предикативный. Близкое явление представляет собой следующее предложение:

(56) *Дикий переулок был действительно диким. Он никуда не вел* (Паустовский. Далекие годы).

С прилагательными таких случаев немного. Это объясняется тем, что семантическая разноплановость наблюдается довольно регулярно только с именами, а с прилагательными является редким феноменом.

Здесь тоже интонация, подчеркивая эту семантическую разноплановость, выделяет предикативное прилагательное специальным ударением.

Третий, наверное, самый слабый фактор – создание контрастной модели, в которой прилагательное является предикатом второй, контрастирующей части. Мы уже приводили выше один пример такой возможности (54в) и отмечали по этому поводу, что краткая форма здесь кажется не совсем адекватной. Контраст сопровождался в этой фразе выносом прилагательного, но на следующих примерах, где контраст слабее и поэтому нет выноса предикативного прилагательного, мы видим, что предпочтение опять отдается творительному:

(57) а. *Вот Яшка Падучий – нищий с белыми водочными глазами. Он постоянно сидел на паперти Владимирского собора и выкрикивал одну и ту же фразу: "Господа милосердные, обратите внимание на мое калецство-овец-ство!". В яру Яшка Падучий был совсем не таким гнусавым и тихим, как на папер-*

ти. Он выпивал одним духом четвертинку водки... (Паустовский. Далекие годы).

б. *Мы мечтали каким-нибудь способом насолить Трегубову. Но Трегубов был неуязвим. Отомстить ему за все мучения и страхи нам удалось только один раз. Но месть эта была безжалостной. Когда мы были уже в четвертом классе...* (Паустовский. Далекие годы).

Прилагательное здесь тоже, по всей вероятности, выделяется специфическим ударением.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение мы бы хотели подчеркнуть те стороны вопроса, которые усложняют общую картину употребления разных форм прилагательного. Ее усложняет, конечно, тот факт, что конкурируют три формы: принципы распределения краткой и полной форм только частично применимы к употреблению творительного, являющегося подчиненной формой. Еще больше усложняет картину сама природа таксономически-квалифицирующего предложения. Причин тут две. С одной стороны, на разграничении таксономически-квалифицирующего и собственно квалифицирующего предложений базируются самые разные особенности синтаксиса прилагательного, связанные с референциальным статусом подлежащего, с семантикой предиката, с влиянием валентностного потенциала прилагательного и вытекающим отсюда семантическим расхождением краткой и полной форм. Но даже в рамках таксономически-квалифицирующего предложения картина далеко не однозначна: здесь следует учитывать возможные видоизменения имплицитного элемента, множества M, которые приводят к тому, что полная форма может передать противоположные значения (постоянный или, наоборот, временный признак). Поэтому неудивительно, что синтаксис предикативного прилагательного является до сих пор спорным вопросом в русистике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Арутюнова 1999 – *Н.Д. Арутюнова.* Язык и мир человека. М., 1999.

Булыгина, Шмелев 1997 – *Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев.* Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М., 1997.

Виноградов 1972 – *В.В. Виноградов.* Русский язык (грамматическое учение о слове). М., 1972.

Исаченко 1965 – *А.В. Исаченко.* Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким. Братислава, 1965.

Грамматика 1954 – Грамматика русского языка, М., 1954.

Грамматика 1980 – Русская грамматика. Т. 2. М., 1980.

Шведова 1952 – *Н.Ю. Шведова.* Полные и краткие формы имен прилагательных в составе сказуемого в современном русском литературном языке // Уч. зап. МГУ. Вып. 150. 1952.

Guiraud-Weber 1993 – *M. Guiraud-Weber.* La méthode bisynchronique dans la description de l'adjectif attribut en russe moderne // Revue des études slaves. LXV. 1. 1993.

Gustavson 1976 – *S. Gustavson.* Predicate adjectives with the copula *byt'* in modern Russian. Stockholm, 1976.

Roudet 1998 – *R. Roudet.* Esquisse d'une comparaison de l'emploi des formes courtes des adjectifs en russe et en tchèque // Slavica Occitania. 1998. № 6.

Sakhno 2001 – *S. Sakhno.* Les formes de l'adjectif attribut en russe : prédication "effectuée" vs. prédication "mentionnée" // Revue des études slaves. LXXIII. 1. 2001.

Wierzbicka 1986 – *A. Wierzbicka.* What's a noun? (or: how do nouns differ in meaning from adjectives?) // Studies in language. V. 10. 1986.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 2005

© 2005 г. Г.М. КЕРТ, В.Т. ВДОВИЦЫН

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИССЛЕДОВАНИИ ТОПОНИМИИ*

В статье излагается опыт разработки тематического Web-сайта с интерперетированной базой данных о топонимах Европейского Севера России, с библиографической базой данных по прибалтийско-финской и саамской топонимии. Структура базы данных прибалтийско-финской и русской топонимии, включающая 18 характеристик, учитывает грамматические признаки топонимов, семантику их компонентов, физические особенности объектов, именуемых топонимами, а также исторические сведения о топонимии. В качестве одного из подходов к решению задач в области топонимики авторы считают определение частотных характеристик топонимов и их компонентов, а также выявление повторяющихся значений, характеристик в описаниях топонимов. Подобные задачи могут быть решены с использованием алгоритмов поиска значимых множеств и ассоциативных правил. Предложенная структура описания базы данных топонимии по своей природе универсальна; она включает не только базисные данные о топонимии (морфолого-синтаксическая структура топонима, семантика его компонентов и др.), но и экстралингвистические сведения об объекте, именуемом топонимом (мотивация названия, причина возникновения, характерные особенности, народная этимология и др.).

Введение. Возрастающий интерес к исследованию топонимии объясняется в первую очередь специфическими особенностями этого класса лексики. В современном информационном обществе усиливается роль и значение топонимов – идентификаторов географических объектов – как точных ориентиров в пространстве. Формировавшаяся веками топонимия представляет собой мощный пласт культуры, отражающей менталитет народа. Разительные отличия топонима от апеллятива, проявляющиеся в их функциях, структуре топонима, семантике составляющих их компонентов, всегда были предметом неподдельного интереса ученых. Наконец, топонимия обладает значительными разрешительными возможностями при решении проблем происхождения, истории того или иного этноса.

Собственно, топонимика, вышедшая из краеведения, как наука на первоначальном этапе занималась в основном этимологизацией. Лишь впоследствии предметом этой науки стало выявление семантических, грамматических, функциональных и территориальных особенностей топонимов.

Топонимы, являясь продуктом народного сознания, отражают все стороны духовной и материальной жизни человека. В топонимах, как и в других проявлениях духовной культуры человека, а именно в фольклоре, обрядах, заговорах, народных верованиях, отразилось своеобразие народа, его менталитет. В саамской топонимии запечатлелись языческие верования и тотемные представления саамов. Менталитет саамов выявляется в своеобразии топонимного видения. Для саамской топонимии, например, характерна выраженная языковыми средствами тонкая градация особенностей ландшафта. Так, для обозначения водных объектов в саамской географической лексике

* Данная работа поддержана грантом РГНФ № 03-04-12033в. Автор статьи выражает свою благодарность А.Д. Сорокину, А.Л. Веретину, И.Б. Луговой, Ю.В. Чуйко, Н.А. Беляевой, А.А. Бедореву за их вклад в разработку и реализацию программного обеспечения информационной системы, а также С.А. Агарковой и Д.В. Кузьмину за подготовку и ввод в базу данных информации о топонимах.

имеется более двадцати терминов. В зависимости от конфигурации, наличия растительности, высоты и других признаков существует свыше тридцати названий (апеллятивов) гор [Керт 1995б]. Мотивация при именовании географических объектов является важным признаком своеобразия народного самосознания, его менталитета. Проблема мотивации – это проблема проникновения в психологию номинатора, давшего то или иное наименование, проблема ценностной ориентации народа. В содержательной стороне топонимии ярко и непосредственно выражены идеалы народа. Топонимия – это часть окружающей культурной среды народа, его мироощущение, миропонимание и мироконструирование.

В природе нет естественных "чистых" в языковом отношении топонимических зон. В процессе исторического развития последующая топонимическая волна накрывает предыдущую, в результате чего образуются исторические пласты топонимии. Новая волна названий, как правило, входит в готовую систему топонимии. И здесь немаловажное значение имеет то обстоятельство, в какой степени язык последующей волны отличается от языка, топонимия которого усваивается.

Именно то обстоятельство, что топоним при усвоении его заимствующим языком, как правило, не исчезает, а, адаптируясь, приспосабливаясь к новой языковой системе, функционирует в новой языковой среде, способствует "долгожительству" топонима. Исчезает этнос, уходит культура, меняется цивилизация, а топоним (точнее, его стирающийся фонетический облик), видоизменяясь, остается.

Специфика топонима как лексической единицы. Топонимы, являясь неотъемлемой, но все же особой частью лексики языка (языков), в силу своей специфики требуют в отличие от апеллятивной лексики несколько иных подходов в исследовании. Пожалуй, ни в одной другой научной дисциплине не произошла столь удивительная эволюция взглядов на объект науки, а вместе с тем и на саму внутреннюю сущность этой науки, как в топонимике. Своеобразие топонимной лексики по отношению к апеллятивной создавало иллюзию особого подхода к ее исследованию. Адресная функция топонима, выделение топонимом объекта из себе подобных, являются наиболее бросающимся признаком данного класса слов. Необычность топонима по отношению к апеллятиву, таинственность, неразгаданность его значения направляли устремления ученых на раскрытие именно этих сторон топонима. На то, что топоним является прежде всего словом, исследователи не обращали внимания. Приведем наиболее характерное для этого подхода определение топонимики как науки. Известный топонимист А.И. Попов писал: "Топонимику подробнее можно определить следующим образом: это есть наука, занимающаяся собиранием географических названий, вопросами их происхождения, изменения, исчезновения и смены другими местными именами" [Попов 1993: 29]. Некоторые топонимисты оспаривают право лингвистики на монопольное изучение топонимии, как будто топонимы не являются частью лексики.

Нужно было время, чтобы осознать тот простой факт, что топоним это прежде всего лексическая единица языка. А коль скоро это так, то топонимика и должна изучаться как явление языка. Впервые со всей определенностью об этом сказал В. Ташицкий: "Ономастика (и как составная часть ее – топонимика. – *Г.К.*) не образует специальной равноправной с языкознанием дисциплины. Она представляет собой неотъемлемую часть языкознания, исследовательскую область в первую очередь лингвистов" [Ташицкий 1961: 11]. Различия апеллятивной и топонимной лексики проявляются в семантике, принципах номинации, словообразовательных моделях, особенностях адаптации, своеобразии ядерных и периферийных зон распространения топонимии, структурно-семантических особенностях, способах соединения компонентов [Керт 1995а: 4]. Общим для апеллятивной и топонимной лексики является категориальная принадлежность их к одному классу слов, а именно, к именам существительным. Принадлежа к одной части речи, апеллятивы и топонимы подвержены словоизменению. Все это, в известной степени, предполагает единство лингвистических приемов исследования. Вместе с тем, функциональные различия между апеллятивом и топонимом придают специфику

каждому классу слов как на семантическом, так и на грамматическом уровнях. Апеллятивы имеют значение. Имя нарицательное обобщает класс однородных предметов и понятий. Более того, оно может иметь несколько значений. Эти значения обусловлены, с одной стороны, экстралингвистическими факторами, т. е. наличием однородных предметов и явлений действительности. С другой стороны, значения слов выявляются в связи с сочетаемостью данного слова с другими словами в речи, т. е. внутрилингвистическими факторами [Керт 1989]. Для топонимов же значение не играет существенной роли. Основная функция топонимов – это выделение, индивидуализация, идентификация именуемых объектов среди других объектов. Собственным именам присуща назывная функция, нарицательным – функция обобщения. И еще одно существенное отличие апеллятивов от топонимов. Значение (семантика) апеллятивов поддерживается сочетающимися в сложном слове или синтагме значениями других апеллятивов. В топонимике значение (семантика) наличествует только на стадии его превращения из апеллятива в топоним, а потом и выветривается окончательно. В силу этого не подкрепленное значением слово (топоним) "изнашивается" значительно быстрее. Как пишет В. Палль применительно к эстонскому языку, "в топонимах могут происходить такие изменения, которые невозможно подвести ни под один из известных нам фонетических законов" [Палль 1975: 8].

Особенности в функциональном назначении апеллятивов и топонимов обусловили грамматические, лингвогеографические и словообразовательные различия имен нарицательных и собственных. Уже стал хрестоматийным, приведенный в свое время известным российским языковедом А. Реформатским, пример своеобразия словообразования апеллятива и топонима: *тайга – таежный*, но *станция Тайга – Тайгинский* [Реформатский 1964: 9–34]. О проблемах соотношения апеллятивов и онимов на словообразовательном уровне в русском языке пишет Ю. Азарх [Азарх 1980: 137–144]. Автор отмечает вторичность онимного словообразовательного типа по отношению к апеллятивному с омонимичным суффиксом, избирательность апеллятивных суффиксов в онимной функции, сужение ареалов онимного словообразовательного типа по отношению к апеллятивному. Топонимические модели вряд ли могли существовать без подпитки (поддержки) их на апеллятивном уровне. Однако эти модели в топонимии получили свое собственное развитие в условиях относительной "свободы" от апеллятивов и, соответственно, свое своеобразие. Ю. Азарх пишет: "Вторичность ономастического словообразовательного типа по отношению к апеллятивному с омонимичным суффиксом находит отражение и в том факте, что ономастическая модель, как правило, выходит из употребления, если апеллятивы аналогичной структуры утрачивают продуктивность" [Азарх 1980: 138].

В финно-угорском языкознании проблема соотношения апеллятивов и онимов на грамматическом, словообразовательном и лингвогеографическом уровнях начинает только разрабатываться. В этих языках структура сложного слова – апеллятива или словосочетания в основном соответствует структуре топонима. Так, сложные слова как в апеллятивах, так и в топонимах образуются по одинаковым моделям. Аналогично в апеллятивах и топонимах образованы конструкции с прилагательными и числительными. Образование топонимов происходило по апеллятивным моделям, когда семантика образующих его компонентов сохранялась. Между тем, в прибалтийско-финских языках имеются конструкции, которые на апеллятивном и топонимном уровнях ведут себя по-разному. Это – аналитические конструкции с послелогами. Так, в эстонском, карельском, саамском языках аналитические конструкции с послелогами превращаются в топонимы: в эстонском: дер. *Soo* | *taga* 'Заболотье' (букв. "за болотом") [Палль 1975: 13], в карельском: покос *Kosken* | *al* | *niitüt* 'Покосы под порогом', *Suon* | *tagan* | *pellot* 'Поля за болотом' [Мамонтова 1982: 123], в саамском: *Kiekk* | *vaar* | *tuagash* | *vaar* 'Гора, находящаяся за кукушкиной горой' (букв. *kiekk* 'кукушка', *vaar* 'гора', *tuagash* 'за', vaar 'гора') [Керт 1991: 68]. Важным отличием сложных апеллятивов от соответствующих топонимов в саамском языке является количество компонентов. На апеллятивном уровне сложные слова, как правило, состоят из двух компонентов, при-

чем их количество в речи невелико; трехкомпонентные апеллятивы встречаются крайне редко. Основу саамских топонимов составляют двухкомпонентные единицы. Трехкомпонентные топонимы составляют примерно одну треть от двухкомпонентных. Встречаются и четырехкомпонентные топонимы. Как видим, способы образования апеллятивов и имен, их "вхождение" в парадигму (по образному выражению А. Реформатского) далеко не совпадают. Таким образом, важной задачей финно-угроведов при исследовании топонимии является выявление специфики топонимов по отношению к аппелятивам на грамматическом и лингвогеографическом уровнях.

Как известно, класс имен собственных пополняется за счет нарицательных. Какие семантические пласты лексики переходят в разряд имен собственных? Каково влияние на этот переход экстра- и внутрилингвистических факторов? В самом общем виде можно сказать, что переход определенного класса апеллятивной лексики в разряд имен собственных зависит от многих факторов. Географические объекты подразделяются на естественные (река, гора, болото, озеро, водопад, лес, поляна и др.) и созданные человеком (деревня, дорога, избушка, столб, мельница и др.). Возникновение топонимов как ориентиров на местности, обусловлено, прежде всего, характером ландшафта, фауны и флоры. Поскольку образование топонимических систем финно-угорских народов происходило при сложении сельских поселений, то вполне естественно, что основу ее (топонимии) составляет географическая лексика, или местные географические термины. Число этих терминов и их характер зависит, естественно, от географических зон. Набор терминов в равнинной местности будет иной, чем в горной. Кроме того, на специфику отбора лексики в значительной степени влияет "топонимическое мышление" народа. "Квантование" объектов природы языковыми средствами у каждого народа происходит по-своему. Так, характерной чертой саамской топонимии является тонкая градация именований особенностей ландшафта. В зависимости от конфигурации, наличия растительности, высоты и других признаков Т. Итконен приводит свыше тридцати названий гор: *vuajjv* 'гора, вершина', *vaara* 'гора (большей частью покрытая лесом)', *raht* 'скалистая гора (на берегу моря)', *koalle* 'скала', *mielli* 'песчаная горка, дюна' и пр. [Itkonen 1948: 19–20].

Набор географических терминов, связанных с деятельностью человека, зависит от социально-экономических условий, вызванных, естественно, географическими и климатическими особенностями. В структурном отношении апеллятивы и топонимы, образованные путем словосложения, идентичны. Как у сложных апеллятивов, так и у топонимов четко различаются, определяемая и определяющая части слова. Например, в саамском *pes's'murr* 'береза' (букв. *pes's'* 'береста' + *murr* 'дерево', т. е. 'берестяное дерево'). Ср. топоним: *Kied'gjogk* 'Каменная река' (букв. *kied'g* 'камень' + *jogk* 'река'). И в том и в другом случаях стоящее в позиции определения существительное может быть либо в номинативе, либо в косвенном падеже. Этим сходства между апеллятивами и топонимами и ограничиваются. Главное отличие апеллятивов и топонимов на лексическом уровне это отбор (разграничение) лексики при образовании тех и других. На апеллятивном уровне для отражения объективной действительности используется значительно больший тезаурус лексики, в то время как на топонимном только часть. Адресно-индивидуализирующая функция топонима ситуативно ограничивает набор лексем. Причем набор лексем, участвующих в образовании сложных апеллятивов и топонимов, значительно отличается.

Роль информационных компьютерных технологий. Топонимической науке в силу ее специфики приходится оперировать огромным количеством исходного материала. Между тем, естественные возможности человека в осмыслении этого материала ограничены. Назрела настоятельная необходимость использования вычислительной техники в топонимических исследованиях. Компьютеры позволяют компактно и надежно хранить и обрабатывать по заданным параметрам огромное количество топонимов. При этом возможны исправления допущенных ошибок и уточнение программы обработки данных. Работа с компьютером наилучшим образом способствует выпол-

нению основных задач научного исследования, т. е. сбору, накоплению, хранению, обработке, анализу и передаче информации. Длительная и изнуряющая первоначальная подготовка данных и ввод их в компьютер впоследствии компенсируется не только резким возрастанием производительности, но и надежностью результатов. Возможности применения ЭВМ создают принципиально новый уровень исследования этого класса слов, когда в орбиту исследователя поступает огромное количество исходного материала.

Как одно из первых и важнейших условий компьютеризации топонимии должно быть единство методики сбора и обработки материала. Единая методика сбора и обработки материала помимо преимуществ, связанных с использованием максимальных сведений о каждом топониме и объекте, именуемом данным топонимом, дает возможность получать данные по запросам из других регионов через сеть Интернет. Технические возможности современных компьютеров позволяют обрабатывать огромное количество материала. Особенности структурной организации языкового материала, состав единиц и отношений между ними могут выявляться через категории качества и количества. Как пишет Л. Турыгина, "научные результаты, получаемые на основе статистических методов, объективируют лингвистические выводы, повышая их достоверность" [Турыгина 1988: 176]. Уместно здесь привести афоризм И. Канта: "В каждой науке столько истины, сколько математики".

Применение компьютерных технологий позволяет вовлекать в научный оборот всю имеющуюся в наличии топонимию, включая и субстратную (неэтимологизируемую). При точечной этимологии можно "расшифровать" только отдельные топонимы по принципу сходства с фонетическим обликом имеющихся "живых" языков. Громадное большинство субстратных топонимов остается вне сферы исследователя. Применение метода топонимических изоглосс, как наиболее результативного в топонимике, даст возможность вводить в научный оборот не только топонимию, где апеллятивная лексика хорошо просматривается, но и субстратную (неэтимологизируемую) топонимию. Такие общие фонетические комплексы (следы субстрата) можно просматривать на достаточно обширных территориях. Наконец, компьютерные технологии дают возможность органично пополнять имеющиеся базы данных новыми материалами, а также в известной степени при необходимости корректировать (уточнять) структуру базы данных. Таким образом, в методике исследования топонимии достигается системность, позволяющая последовательно анализировать всю собранную топонимию региона и сравнивать ее с топонимией других регионов.

Содружеству лингвистов и математиков в освоении компьютерных технологий при исследовании топонимии способствовали и объективные условия развития науки в Карелии. В состав Карельского научного центра РАН уже длительное время входят Институт языка, литературы и истории и Отдел математических методов и проектирования, преобразованный в 1999 году в Институт прикладных математических исследований. В 1988 г. появляется первая публикация по проблемам применения компьютерных технологий в исследовании топонимии [Керт, Лебедев 1988]. В апреле 1998 г. Г. Кертом, В. Вдовицыным и А. Веретиным на заседании Президиума Карельского научного центра РАН был прочитан доклад "Компьютерный банк топонимии Европейского Севера России: TORIS" [Керт, Вдовицын, Веретин 1998]. В 2002 г. вышла из печати монография Г. Керта "Применение компьютерных технологий в исследовании топонимии (прибалтийско-финская, русская)" [Керт 2002]. В целом по данной проблеме имеется свыше 15 совместных с математиками публикаций (статьи, тезисы и пр.). [БРК 2003: 7–21].

Топонимический материал при всей сложности его фонетической, морфологической и семантической структуры в принципе поддается формализации. Каждый топоним представляет собой слово (простое, сложное, суффиксальное) или словосочетание, функционирующее в качестве названия того или иного географического объекта. Таким образом, топоним обладает суммой твердо заданных признаков, которые

можно формализовать. Такими признаками являются: 1.графические, 2.структурные, 3.семантические и 4.географические .

Графические признаки топонима представляют собой цепочку символов-букв, соответствующую звуковому облику слова. Эти признаки позволяют выявлять однотипные фонетически слова или части слов. Слова (или части слов) могут быть этимологически проницаемы, если связь с апеллятивом, породившим данный топоним, не потеряна, например: *Петрозаводск, Дворцы, Мелиоративный.* В других случаях часть слова может быть непроницаема для этимологического анализа, например: *Вохтозеро, Сандормох, Мелойгуба.* И, наконец, довольно часто встречаются топонимы, значение которых утеряно, например: *Лужма, Полга, Пяльма, Утуки* и др. Выявление однотипных в фонетическом отношении и лишенных внутреннего значения комплексов позволит определять топоизоглоссы, т. е. распространение того или иного топонимического явления субстратной топонимии. Структурные признаки определяют собой типологические системы топонимов. Топонимия Европейского Севера России, занимая огромные пространства, представляет собой зоны смешения уральской, славянской и субстратной топонимии. Топонимическая система любого языка отражает в известной мере структуру и лексику этого языка. Генетически и типологически уральские и славянские языки принадлежат к различным языковым семьям. Если уральские языки принадлежат к языковой семье агглютинативного строя (в прибалтийско-финских и саамском языках наличествует также развитая внутренняя флексия), то для славянских языков характерна внутренняя флексия. Славянским языкам присущ более свободный порядок слов (соотношение определения и определяемого, место глагола в предложении и пр.), для уральских же языков характерен более твердый порядок слов. Для уральских языков более чем для славянских употребительно словосложение. Уральские языки наряду с предлогами обладают послелогами; славянские языки не имеют послелогов. Уральские языки в отличие от славянских не имеют префиксов. Различно поставлены в уральских и славянских языках категории вида и залога. Сочетание уральской и славянской топонимических систем придало своеобразие топонимии Европейского Севера России. Субстратная топонимия проявляется "отраженным светом" в заимствующих ее уральских и славянских языках. Семантические признаки топонимии проявляются в лексических значениях, участвующих в образовании топонимов лексем. Если структура топонимов обусловлена в основном внутрилингвистическими факторами, то семантика их во многом зависит от экстралингвистических факторов. К таковым относятся и окружающая среда (ландшафт с его животным и растительным миром), и хозяйственная деятельность человека, его космогонические представления и эстетические ценности. В целом можно сказать, что в семантике топонимов раскрывается историческое мировоззрение человека. В соответствии с этим по семантическому принципу принято разделять все топонимы на две группы: 1) названия, отражающие физико-географические особенности объекта и 2) наименования, непосредственно связанные с практической деятельностью человека. Поскольку состав лексики, участвующей в образовании топонимов, априорно не предсказуем, возникла необходимость принять универсальную модель, охватывающую весь понятийный тезаурус мыслительной деятельности человека. Такой моделью является "Система понятий как основа для лексикографии" Р. Халлига и В. фон Вартбурга [Hallig, von Wartburg 1952]. Кстати, эта система понятий была использована в работе по сбору лексического материала для "Лингвистического атласа Европы".

Структура прибалтийско-финской и саамской топонимии (морфолого-синтаксическая часть). Исследование структуры топонима, выявление границ (стыков, швов) между морфемами представляет большие трудности по сравнению с аналогичной задачей апеллятива. В апеллятиве структурные элементы проявляются в живой парадигме слова на уровне словоизменения и в словообразовательной системе словообразующих суффиксов имени и глагола. В топонимах в связи с затушеванностью семантики его компонентов, ее меньшей востребованностью в акте общения происходит

более интенсивное стирание границ между морфемами. Более того, на стыках морфем появляются вставочные звуки, некоторые звуки выпадают, т. е. происходит интенсивная нивелировка пограничных швов. Древний топоним – это бледная проекция апеллятива. Несмотря на особенности структуры топонима по сравнению с апеллятивом, своеобразие фонетических и морфологических процессов, происходящих на морфемных швах, отличие функций топонима и апеллятива, класс топонимов составляет лексический фонд языка и потому классифицируется в соответствии с принципами апеллятивной лексики. Другой классификации по структуре просто не существует. В соответствии со структурой апеллятива топонимы подразделяются на три класса: А. простые, В. суффиксальные и С. сложные. К простым топонимам можно отнести апеллятивы, сохранившие свою семантику, например: кар. *Abai, Agju, Aho, Aidu*; вепс. *Sar', Mägi, Org*; фин. *Syrjä, Koski, Harju, Saari*; саам. *'I'shuelm, Lavna, Lusm*. К простым топонимам относятся также топонимы, заимствованные в результате контактов с языками других систем. Этимология этих топонимов легко угадываема. В карельском языке к простым топонимам, основанным на русской апеллятивной лексике, можно отнести *Gorku* (ср. 'горка'), *Gorushku* (ср. 'горушка'), *Poljanka* (ср. 'полянка' и др.). К этому разряду можно отнести также простые по структуре топонимы, потерявшие внутреннюю форму, т. е. значение, например: кар. *Kappu, Bulii, Tshilmi, Hattshi, Jukki;* вепс. *Blas, Shoksh, Kurn, Sep, Shapp;* фин. *Homa, Komo, Liiri, Muti, Tali*; саам. *Evver, Anar, Ikki*. Примеры по саамской топонимии извлечены также из "Словаря колтских и кольских саамов" Тойво Итконена [Itkonen 1958, I]. По структуре эти два разряда топонимов идентичны. В их структуре невозможно даже этимологически выделить значимые части. На этом сходство двух разрядов топонимов и завершается. Топонимы-апеллятивы находятся как бы на начальной стадии своего развития, в то время как потерявшие внутреннюю форму прошли очень сложный путь развития. Семантически они выветрились, структурно могли потерять детерминант – явление так называемого эллипсиса. Не исключено, что топонимы этого типа могли сменить не одну языковую среду. И все-таки упорядочивающая и систематизирующая роль языка проявляется и в этом классе топонимов, ср., например, в карельском *Bulli, Hattshi, Jukki*; в финском *Liiri, Muti,Tali*.

Отдельной рубрикой можно выделить топонимы, имеющие форму множественного числа номинатива, например: кар. *Abait, Alhot, Djogut, Koskut, Kumboit, Pergot, Perrot, Ulizhet*; вепс. *Kanghad, Hotinad, Sjovad, Ojad, Seljgad* и пр.

Суффиксально оформленные топонимы в различных языках представлены неравномерно. В финском языке, например, суффиксы довольно распространены, в саамском суффиксальное словообразование на уровне топонимии отсутствует, за исключением уменьшительного суффикса *-ash* (колтский диалект), *-intsh* (кильдинский, иоканьгский).

Прежде чем перейти к структуре описания многокомпонентных топонимов, необходимо, на наш взгляд, внести коррективы в понятия "топонимный суффикс" и "топонимный формант". Мы считаем, что нецелесообразно смешивать эти два понятия. Между тем, в "Словаре русской ономастической терминологии" Н. Подольской эти понятия подаются как синонимичные [Подольская 1988]. Разграничению эти два типа показателей подлежат прежде всего в силу разных исторических судеб каждого. Топонимные суффиксы – это прямое наследие апеллятивного уровня языка. В топонимную сферу они вошли избирательно в силу своего суффиксального значения, о котором уже говорилось. И в своем новом качестве эти суффиксы сохраняют свое значение. Более того, это значение в них поддерживают омонимичные суффиксы на апеллятивном уровне. Упомянутые в карельском языке суффиксы топонимов *-kko* (*-kkö*) и *-(l)isto* (*-(l)istö*) функционируют на апеллятивном уровне и тем самым поддерживают значения места, собирательности в топонимах (ср. *lepikkö* 'ольшаник', *kuuzikko* 'ельник', *hongikko* 'сосняк'; *keühälisto* 'беднота', *hüvälistö* 'аристократия' и пр.). Аналогичные процессы, надо полагать, проходят и в вепсском языке. К сожалению, отсутствие работ по именному суффиксальному словообразованию в карельском и вепсском языках не позволяет вы-

явить степень продуктивности употребления аналогичных суффиксов на апеллятивном уровне по сравнению с топонимным.

Языковая универсалия корреляции идентичных суффиксов на апеллятивном и топонимном уровне наблюдается во всех языках. Сравни в русском: топоним – г. *Дмитров*, апеллятивы – *братов, отцов, дедов*; топоним – *Заречье*, апеллятив – *зверье*.

Топоформанты же – это результат фонетического опрощения, переразложения компонентов слова на стыке морфем и конца слова, это результат аналогии заимствующего языка. А.И. Попов убедительно показал, что все эти гидронимические, так называемые суффиксы *-га, -ма, -ша* по своему происхождению возникли из различных источников [Попов 1965]. В самом деле, даже если сравнить некоторые названия с топоформантом *-га* на территории Карелии, то этот топоформант имеет различное происхождение: *Кондопо-га* (ср. кар. *Kontupohja*), *Ладо-га* (герм. *Aldoga*), *Мегре-га* (ср. кар. *Mägrädjoki*). Различие двух видов топонимических показателей заключается не только в различных судьбах их формирования. Топонимные суффиксы – это живая ткань языка, сохраняющая не только фонетический облик, но и значение. Топонимные форманты являются окостеневшими остатками частей апеллятива. Отсюда и различная степень разрешительных возможностей этимологизации тех и других. Топоформанты, как правило, употребляются, точнее сказать "выкристаллизовываются" при неэтимологизируемых основах. Очевидно, язык на подсознательном уровне стремится упорядочить сходные явления и тем самым идентифицировать топоним, выделить его от других слов как выразитель свойственной только ему функции. Конечно, различия между топонимным суффиксом и топонимным формантом не всегда очевидны, и исследователю в таких сложных пограничных ситуациях придется находить аргументы для определения принадлежности к той или иной рубрике. Главное, чтобы не оставить незамеченными эти явления. В случае ошибки исследователя структура описания топонимии позволяет ее исправить.

Структурирование сложных, или многокомпонентных топонимов проводится в тех случаях, когда границы частей слова достаточно прозрачны. Как известно, в прибалтийско-финских, как и во всех языках уральской семьи, словосложение является основным способом словообразования имен на апеллятивном уровне. Аналогичная картина наблюдается и в топонимии. Можно сказать, что топонимам свойственны все способы образования сложных слов и словосочетаний. Больше того, некоторые конструкции на топонимном уровне могут образовывать имена-названия, в то время как на апеллятивном уровне эти конструкции существуют как словосочетания. Выше уже были приведены примеры из саамского, в котором словосочетания с отглагольным именем, на *-ет*, а также послеложные и предложные словосочетания входят в состав топонимов, или, иначе говоря, "конструируют" топонимы. Послеложные и предложные конструкции на первоначальном этапе образования топонимов активно используются в карельском и вепсском языках. Наиболее распространенным способом образования сложных топонимов является словосложение имен существительных. Атрибутом сложных топонимов может быть имя существительное в номинативе. Типичная модель первичного образования топонима в финно-угорских языках – это либо онимизация апеллятива, либо образование сложного слова, в котором определяемое (детерминант) представляет собой название объекта. Как правило, эти слова относятся к классу географической лексики, выражающему объекты ландшафта или рукотворные. Встречаются, однако, ситуации, когда два идентичных объекта (например, озеро, деревня и пр.) отличаются друг от друга размером (большой, маленький), положением (верхний, нижний) и пр. Для различения, идентификации таких объектов необходимо соответствующее атрибутивное уточнение. В качестве уточнения и разграничения этих объектов выступает дихотомия "большой – маленький", "верхний – нижний" и т.д. В лингвистическом отношении эти прилагательные начинают функционировать как определения к двухкомпонентным детерминантам первоначальных топонимов. Граница между атрибутом и детерминантом в каждом конкретном случае решается индивидуально. Это зависит и от "возраста" топонима, когда в структуру топонима

включены элементы предыдущих стратов, т.е. последовательность присоединения компонентов во вновь образованных топонимах, и от способа образования топонима – именное, глагольное, адъективное словосочетание, от количества компонентов топонимов, и, наконец, характера объекта.

В зонах контактирования разносистемных языков на уровне апеллятивной лексики, а также топонимов широко представлены заимствования. Так, в русских говорах Карелии употребляется прибалтийско-финская географическая лексика. Стали привычными для русской лексики географические термины: *кентище* 'старое место жилья' ср. ск. (собственно карельские наречие карельского языка) *kenttä* 'открытое ровное поросшее травой место', саам. *kinnt* 'поросшее травой старое место жилья'; *корга* 'скалистый островок, риф, подводный камень' ср. ск. *korko* 'подводная скала, риф', *лахта* 'залив, губа' ср. ск. *lahti* 'залив', саам. *luxxt* 'залив, бухта'; *ламба* 'лесное глухое озеро' ср. ск. *lampi* 'лесное непроточное озеро', саам. (иоканьг.) *lamp* 'болото'; *луда* 'песчаная отмель, мель, риф' ср. ск. *luoto, luodo* 'подводная скала, риф, мелкое место в озере или реке', саам. клд. (кильдийский диалект саамского языка) *luott*; *мандера* 'материк, берег суши в отличие от острова', ср. ливв. *manner*, саам. клд. *mannter* 'суша (земля)'; *сельга* 'возвышенное сухое место', ср. ск. *selkä, shelgü* 'кряж, возвышенность', саам. клд. *sel'l'k* 'спина' и др. [Мамонтова, Муллонен 1991]. Заимствованная географическая лексика активно употребляется в русской топонимии Карелии, например: *Большая Сельга, Верхняя Ламба, Киндасово, Лахта* и пр. Соответственно, в карельской топонимии в качестве компонентов карельских топонимов выступают русские апеллятивные заимствования, например: *Gorkanpeldo, Krugloipeldo, Mezhasuo, Shkolanaidu, Krivoikoski*. Частное землевладение послужило причиной использования обрусевших антропонимов в составе топонимов.

К значительно более раннему пласту заимствований в прибалтийско-финских языках относится саамский. Саамский топонимический пласт в прибалтийско-финских языках достаточно идентифицирован. Первая публикация о саамском субстрате в финском и карельском языках принадлежит перу известного исследователя языка и культуры саамов шведского лингвиста К.Б. Виклунда [Wiklund 1911]. На территории Финляндии и Карелии к саамским им были причислены основы *aapa, jolma, kero, kivalo, koutio, kurkkio, lompolo, lusma, pahta, rova, saivo, tieva, vuono, vuopio, vaara, Kinis-, Kukes-, Kätkä, Narkaus, Njuktsha* и *Posio*.

Следует отметить, что обширный материал по саамской субстратной топонимии Европейского Севера России, вкрапленной в русские народные говоры, выявил в своих работах А.К. Матвеев. Достоверность этому материалу придают саамские топонимы, основанные на лексике, восходящей к доприбалтийско-финскому пласту, т. н. протосаамская лексика, например: *čad'z'* 'вода', *suel* 'остров', *n'al'l'm* 'устье', *čuhč* 'глухарь', *n'uhč* 'лебедь', *šabp* 'сиг', *lueman* 'морошка' и др. [Матвеев 1996].

Таким образом, топонимы с саамскими основами представлены в финском, карельском, вепсском и русском языках, занимающих значительные пространства Севера России. Несомненно, некоторые саамские этимологии будут уточняться, будут выявлены новые. Главное, на наш взгляд, это привлечение нового топонимического материала и отработка методики идентификации саамских основ. Направление поиска новых саамских лексем в топонимии северных прибалтийско-финских языков должно идти в трех направлениях. Во-первых, более эффективное использование географической субстратной лексики саамского языка, выявленной Т. Итконеном [Itkonen 1948, I:16–20, 88–107, 158–175; 1948 II: 492–525] и систематизированной Ю. Лехтиранта в его работе "Общесаамский словарный фонд" [Lehtiranta 1989]. Во-вторых, необходим тщательный учет фонетических звукопереходов, прошедших со времени распада саамско-прибалтийско-финского праязыка. И, наконец, в-третьих, следует принимать во внимание заимствования (балтийские, германские), которые достаточно хорошо изучены [Kalima 1936, Setälä 1913, Нисканен 1971], а также лексемы прибалтийско-финской и саамской общности, установленные Т. Итконеном [Itkonen 1916–1920; 1928]. Как показывают исторические, археологические, этнографические, лингвисти-

ческие и др. материалы, ко времени писаной истории (XI–XIII вв.) саамы были самостоятельным народом и идентифицировали себя по отношению к соседям – прибалтийско-финским народам [Керт 1997а; 1997б]. И, наконец, самым древним является неэтимологизируемый живыми языками слой топонимии. В каждой топонимической системе имеется до десяти, может быть чуть больше, процентов топонимов, не поддающихся этимологизации. Конечно, это не следы какого-то одного древнего языка, а результат, может быть, воздействия многих языков во времени и пространстве.

В соответствии с грамматическими законами топонимообразования в финно-угорских языках неэтимологизируемые элементы, как правило, выступают в определяющей части топонима. В тех случаях, когда определяющая часть топонима состоит из двух и более частей, субстратные элементы также выступают в определяющей (адъективной) части топонима. Субстратные топонимы являются наиболее древними, а значит, и более всего известными ориентирами, и потому привязка близлежащих объектов к местности происходит на основе этих древних топонимов, образуя как бы топонимные гнезда. Пример гнезда субстратной топонимии в Выборгской губернии: *Muolaa* – приход, деревня, мыза; *Muolaanjoki* – река, *Muolaanjärvi* – озеро, *Muolaanlampi* – лесное озеро. Конечно, скопления топонимов, порожденных единой основой, происходят не только с помощью субстрата, но и в виде живой апеллятивной лексики.

Все разнообразие прибалтийско-финских и саамских топонимов в целях формализованной обработки для ввода в компьютер можно свести в следующую структуру базы данных. Структура построена таким образом, что в случае необходимости ее можно дополнять новыми кодами.

Структура описания.

А. Простые.

А 111 Апеллятивы. А 121 Этимологизируемые другими языками. А 131 Неэтимологизируемые. А 141 Эллиптические. А 151 Форма множественного числа[1].

В. Суффиксальные.

В 111 Суффиксы. В 121 Топоформанты. В 131 Этимологизируемые другими языками. В 141 Неэтимологизируемые. В 151 Эллиптические. В 161 Форма множественного числа.

С. Сложные.

С 111 Атрибут – имя существительное в номинативе. С 121 Атрибут – имя существительное в генитиве. С 131 Атрибут – имя существительное в местном падеже. С 141 Атрибут – сочетание имени с послелогом, предлогом. С 151 Атрибут – имя существительное в форме множественного числа. С 211 Атрибут – сочетание имен существительных. С 311 Атрибут – имя прилагательное. С 411 Атрибут – причастие, числительное, местоимение и пр. С 511 Атрибут – отглагольное имя. С 611 Детерминант – сложное слово. С 711 Этимологизируемые другими языками. С 811 Неэтимологизируемые. С 911 Эллиптические.

В этой же графе указывается количество компонентов. Указываются значимые компоненты и неэтимологизированные.

Семантика компонентов топонимов. Семантическая классификация топонимной лексики с некоторыми коррективами была выполнена в соответствии с системой понятий, изложенной в монографии [Hallig, von Vartburg 1952].

Ономасиологический словник

А. Вселенная.

А 111 Небо и небесные тела. А 121 Погода, ветер, состояние атмосферы. А 211 Воды, моря, реки. А 221 Ландшафт и полезные ископаемые. А 311 Растительная жизнь вообще. А 321 Деревья, общие сведения. А 322 Деревья лесные. А 323 Ягоды. А 351

[1] Буквы и цифры обозначают коды, используемые для ввода в компьютер определенной структуры топонимов и семантики компонентов топонимов.

Растения и кустарники. А 352 Цвета. А 411 Домашние животные. А 412 Полевые и лесные животные. А 421 Птицы. А 431 Рыбы. А 441 Насекомые, членистоногие, земноводные.

В. Человек.

В 111 Общие сведения. В 121 Прилагательные. В 131 Органы, части тела. В 151 Движения и действия. В 161 Здоровье и болезни. В 171 Человеческая жизнь в общем. В 181 Потребности человека: еда, питье. В 182 Одежда и туалет. В 221 Чувства и мораль. В 321 Сельское хозяйство, оленеводство. В 351 Ремесла и профессии. В 352 Производство хлеба. В 353 Охота, рыбная ловля. В 354 Работа в лесу, обработка дерева. В 356 Ткани и обувь. В 372 Постройки. В 374 Посуда, домашняя утварь. В 375 Населенные пункты, поселения. В 381 Дорога, транспорт. В 412 Семья, родство. В 421 Онимы (топонимы, этнонимы, антропонимы). В 511 Населенные пункты. В 521 Религия, верования.

С. Число, пространство, время.

С 111 Число и количество. С 211 Пространство и пространственные отношения. С 311 Время, временные отношения.

0000 Неэтимологизируемые (происхождение неизвестно).

Индексация семантических полей составлена таким образом, что любой значимый компонент топонима найдет свое место. При необходимости могут быть открыты новые индексы. Структура описания топонимии позволяет классифицировать отдельно лексические компоненты (этимологизируемые и неэтимологизированные) атрибута и детерминанта. Каждый этимологизируемый компонент идентифицируется также по частям речи (имя, глагол, прилагательное и т.д.) и по происхождению, если это заимствование.

Одним из универсальных свойств топонимии является способность переноса названия одного объекта на другой. Как правило, названия объектов ландшафта, гидрообъектов хронологически более древние; зачастую эти названия оставлены предшественниками. К этим известным ориентирам привязываются названия населенных пунктов. Так, в саамском языке, например, имеется топоним *Aihtvaar* (*aiht* 'амбар', *vaar* 'гора', букв. 'Амбарная гора'). У этой горы расположено озерко, которое называют *Aihtvaarjauraš* (*jauraš* 'озерко', букв. 'Озерко амбарной горы'). Меняется и структура топонима. В первом примере детерминант *vaar* 'гора', атрибут – *aiht*. Во втором – детерминант – *jauraš*, атрибут *aiht / vaar*. Данная структура характерна для всех прибалтийско-финских языков. В некоторых случаях детерминант топонима не манифестируется. Приведем примеры ойконимов, возникших в результате переноса названия с географического объекта (озеро, река, мыс и пр.): *Mägräddärvi* (ср. *mägrä* 'барсук', *därvi* 'озеро'), *Suarjmägi* (ср. *suari* 'остров', *mägi* 'гора'), *Pedäilambi* (ср. *pedäi* 'сосна', *lambi* 'лесное озеро'), *Kolatselgü* (ср. *kolat* субстрат, *selgü* 'хребет') *Viideljogi* (ср. *viidel* субстрат, *jogi* 'река').

Процесс переноса названия приводит к трансформации топонима, хотя никаких структурных на первый взгляд изменений в топониме не происходит. По существу нарушается первоначальная модель топонима. Модель, которая сформировалась и функционирует в течение всего периода сложения финно-угорских языков на апеллятивном уровне, а потом и на топонимном, перестает работать. В сложном названии нового объекта исчезает детерминант, т.е. название объекта. Экстралингвистический фактор – перенос названия – сталкивается с лингвистическим – структурной моделью топонима.

Язык, чтобы выполнять функцию идентификатора объекта, начинает использовать другие средства. Функцию детерминанта принимает на себя в определенной степени падежная система. При переходе названий некоторых водных объектов (озеро, река) на названия населенных пунктов для идентификации объектов используется система внутреннеместных и внешнеместных падежей. Так, для обозначения населенного пункта *Mägräddärvi* (рус. *Мегрозеро*) используется название озера, на котором стоит данное село. На вопрос "куда?" при движении к населенному пункту используется

внутреннеместный (иллатив) падеж – *Mägräddärveh*, при направлении к озеру употребляется внешнеместный (аллатив) падеж – *Mägräddärvele*.

В карельской топонимии вопрос об употреблении местных падежей в функционировании топонимии не исследовался. Между тем, в связи с расширением общественных функций карельского языка, становлением письменности унификация национальных карельских названий – одна из первостепенных задач лингвистической науки. Это касается, прежде всего, кодификации, нормирования, литературной формы топонима и его употребления в устной и письменной форме. Необходимо также узаконить грамматические правила и, в частности, употребление внутреннеместных и внешнеместных падежей. При сборе материала по топонимии чрезвычайно важно зафиксировать у информантов, если это не вытекает из структуры и семантики топонима, сведения о происхождении топонима. Эти сведения помогут пролить свет на уточнение этимологии и мотивации топонима. Далее, они в совокупности, как ничто другое, отражают народную психологию. В незатейливой, зачастую в наивной форме народная этимология свидетельствует о представлениях, мечтах, чаяниях народа.

В графах "Онимизация" и "Трансонимизация" даются полные, реконструированные формы компонентов топонимов.

Топонимы – это не только знаки объектов, индивидуализирующие, идентифицирующие объекты из себе подобных. Они несут в себе печать культуры народа, его истории, отражают среду обитания, ландшафт, фауну, флору, климатические особенности. Поэтому при исследовании топонимии наряду с выявлением роли топонима как исторического документа и проявления народной культуры важно установление корреляции между географической номенклатурой и особенностями ландшафта.

В целом, структурные и семантические признаки топонимов, экстралингвистические сведения об объектах, именуемых данным топонимом, и другие сведения укладываются в единую схему – "Структуру описания прибалтийско-финской и саамской топонимии".

Структура описания русской топонимии. Русские говоры Европейского Севера уже длительное время являются объектом исследования. Ученых привлекало не только своеобразие диалектной речи, проявляющееся в фонетике, лексике, морфологии, синтаксисе, но и мощный субстрат (и субсубстрат!) в топонимии, характерный для северных говоров. К настоящему времени создано громадное теоретическое наследие в области русской диалектологии Севера, собраны уникальные коллекции лексических материалов, составляются добротные региональные диалектные словари, пополняются топонимические картотеки. Все это требует ретроспективного теоретического осмысления.

Русская топонимия функционирует на всем пространстве Европейского Севера России. В районах проживания коренных уральских (финно-угорских) народов она сосуществует параллельно с топонимией этих народов, уступая свои позиции в микротопонимии. Осваивая с XI в., а может быть и ранее, исконную уральскую (финно-угорскую) топонимию, включавшую в себя неизвестный субстрат, русская топонимия на Севере приобрела ярко выраженное своеобразие. На территории Карелии, Коми республики, Мурманской, Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей имеется огромный пласт адаптированных русским языком уральских топонимов. Усвоение русским языком предшествующей топонимии обусловило ее специфические особенности. К особенностям русской топонимии на синтаксическом уровне, обусловленным уральским субстратом, можно отнести соположение основ, например: *Киткамень, Конькамень, Серьгозеро, Небогора* и пр. К этому же типу относятся топонимы с определяющей субстратной частью, например: *Каржгуба* (тоня, заливчик), *Хямручей* (тоня, ручей), *Кушручей* (тоня), *Кузручей* (тоня, ручей), *Умбозеро* (озеро) и т.д. Субстратные вкрапления проявляются и в адъективных словосочетаниях, например: *Сивутински Закоржицы* (отмели), *Начисарска Курья* (отмель), *Гломяной Хедостров* (остров).

Синтез разносистемных типов грамматики русского и прибалтийско-финских языков, а также лексические различия этих языков породили отличительные особенности северорусской топонимии. Структура описания русской топонимии также состоит из 18 граф-полей. Большинство граф-полей русской топонимии совпадают с соответствующими графами-полями прибалтийско-финской топонимии, т.к. отражают, во-первых, общие топонимические универсалии и, во-вторых, в идентичных графах даются экстралингвистические сведения об объектах, именуемых данным топонимом, а также сведения об информантах и собирателях.

Различия между топонимическими системами проявляются главным образом в структуре топонимов, хотя общие мотивы, обусловленные лингвистическими универсалиями (апеллятив, суффиксальное слово, сложное слово, словосочетание), имеются. Несмотря на огромные различия в этих языках, проявляющиеся в фонетике, морфологии, синтаксисе, лексике, для всех, или по крайней мере подавляющего их большинства, характерны общности. В науке их называют языковыми универсалиями. Топонимы, являясь порождением апеллятивной лексики, в известной степени отражают и структурные особенности языков. В структуре топонимов проявляются языковые универсалии русского и прибалтийско-финских языков, а именно: слово, суффиксально оформленное слово, сложное слово, словосочетание. Поэтому для топонимических систем русского и прибалтийско-финских языков характерны идентичные по структуре разряды топонимов. Важной топонимической универсалией этих разносистемных языков является способность переноса названия объекта на другой объект, т. н. трансонимизация. В прибалтийско-финской сельской топонимии это наблюдается при переносе названия водного или иного объекта ландшафта на расположенный на нем или вблизи него населенный пункт. Аналогичное явление проявляется и в русской топонимии. К топонимическим универсалиям можно отнести также избирательность апеллятивной лексики, которая ложится в основу топонимной. Как показывает материал по саамской топонимии, громадное большинство апеллятивов, участвующих в топонимообразовании, это гидронимическая и ландшафтная лексика. Аналогичная картина наблюдается и в прибалтийско-финской сельской топонимии. В русской топонимии первоначальный ландшафтный гидронимический слой топонимии значительно перекрыт последующими наслоениями, однако в сельской микротопонимии действует эта универсалия. И, наконец, топонимы могут пережить породивший его язык и получить дальнейшую жизнь в виде субстрата в воспринявшем его новом языке. Как уже упоминалось выше, заимствованное слово на апеллятивном уровне живет полнокровной жизнью. Оно наполнено семантически: семантика заимствованного слова может сужаться, расширяться, но она не исчезает. В топониме же, несущем иную функцию, чем апеллятив, "безжизненный" в семантическом смысле остаток прежнего языка может сочетаться с наполненным смыслом апеллятивом языка-приемника.

Указанные универсалии характеризуют топоним в общелингвистическом смысле и проявляются в соответствующих структурных разрядах топонимов. Наряду с общностями между прибалтийско-финскими и русской топонимическими системами, проявляющимися в топонимических универсалиях, имеются и различия. Топонимия – это часть лексики языка. Лексика этих языков различна. Существенные различия между двумя топонимическими системами проявляются в структуре топонимов. В прибалтийско-финской топонимии на начальном этапе образования топонима название объекта, именуемого топонимом, входит в структуру топонима, поэтому сложный топоним состоит из определяемой и определяющей части. В русской топонимии слово, обозначающее объект, не входит в состав топонима. К различиям в топонимии можно отнести также то, что в русской топонимии наряду с именами существительными используются также имена прилагательные как самостоятельные слова, характеризующие объект. Конечно, прилагательные употребляются в адъективных конструкциях. В прибалтийско-финской топонимии имена прилагательные употребляются только в сочетании с определяемыми ими именами существительными. В тех случаях, когда прилагательное применя-

ется в качестве названия географического объекта, например: *Kaitainen, Kaukonen* и др., оно переходит в разряд имен существительных.

Структура русской топонимии (морфолого-синтаксическая часть). В основу описания структуры топонимов принята классификация русской топонимии А.В. Суперанской [Суперанская 1964]. В описание структуры внесены некоторые коррективы, связанные со спецификой севернорусской топонимии. В статье помимо примеров А.В. Суперанской использованы материалы по русской топонимии [ГСКП 1939], свода топонимов Г.П. Смолицкой [Смолицкая 1976], "Словаря гидронимов Юго-Восточного Приладожья" коллектива составителей [Муллонен, Азарова, Герд 1997], материалы топонимических экспедиций на Кольский полуостров (Терский берег) Института ЯЛИ КНЦ РАН 1975–1976 гг., а также различных справочников.

Как и в прибалтийско-финской топонимии, класоификация начинается с простых апеллятивов, например: *Орел, Калач, Бор, Изюм, Остров, Клин, Сестра, Игра, Смычка, Половина.* К простым относятся также топонимы иноязычного происхождения, если значение их хорошо выявляется, например: *Ладва* (кар. 'вершина'), *Лахта* (кар.), *Коньта* (саам. 'олень'), *Вуондас* (саам. 'песок').

Значительное место в этой рубрике занимают топонимы, потерявшие внутреннюю форму, т.е. значение: *Анвис* (сток), *Пак* (р.), *Акс* (оз.), *Бель* (д.), *Водла* (р.) и пр.

Pluralia tantum. Прежде всего необходимо отметить парадоксальность функционирования категории множественного числа в топонимии. Сущность топонима заключается в индивидуализации от себе подобных, в единичности и, можно сказать, исключительности объекта, именуемого данным топонимом. Функциональная задача топонима к индивидуальной обособленности объекта (других таких объектов с таким названием нет!) входит в противоречие с грамматической категорией множественного числа имени данного объекта. По форме (грамматической) объектов множество, а по существу – один строго индивидуальный объект.

Исключительность имен собственных состоит в том, что независимо от формы числа (единственное, множественное) топоним именует только единичный объект.

Префиксальные топонимы. Префиксы в топонимах употребляются, как правило, в сочетании с суффиксами.

Генитивные топонимы. Топонимы данного типа малопродуктивны в народной топонимии, носят характер искусственности, в основном являются мемориальными посвящениями. Приведем примеры: *остров Беринга, море Лаптевых, мыс Дежнева, остров Пасхи, пик Победы, бухта Провидения.* Как видно из приведенных примеров, в основе названий выступают либо собственные имена, либо апеллятивы.

Сложные топонимы. В зависимости от характера компонентов сложного топонима, способа их соединения условно можно выделить по структуре несколько типов сложных топонимов. В качестве первого компонента сложного топонима могут употребляться прилагательные, глаголы, числительные, существительные. На Севере России, где освоение финно-угорской топонимии русским языком происходит буквально на глазах, в составе сложного топонима наблюдаются иноязычные вкрапления. Эти иноязычные компоненты могут быть этимологизированы живыми финно-угорскими языками. Некоторые из них, обусловленные вышедшими из употребления в живых языках лексемами, этимологизируются труднее. Наконец, компоненты топонимов, дошедшие до нас из предыдущих исчезнувших языков, остаются неразгаданными.

Взаимодействие русской и финно-угорской топонимических систем обусловило своеобразие северорусской топонимии. Это своеобразие проявляется в географических терминах, заимствованных русскими у прибалтийско-финских народов и саамов.

Под влиянием прибалтийско-финских и саамского языков в результате освоения топонимии этих языков русская топонимия приобрела своеобразный тип топонимов-гибридов. В образованных по финно-угорской модели топонимах при адаптации переводится на русский язык детерминант, т.е. слово, обозначающее объект наименования, например, в карельском: *Кевятозеро* (населенный пункт) (кар. *kevät* 'весна'),

Нильмогуба (населенный пункт) (саам. *njalm* 'пасть; устье'), *Соймигора* (населенный пункт), *Чуйнаволок* (населенный пункт); в вепсском: *Ахвозеро* оз., *Вадаксболото* бол., *Вихкручей* руч., *Корбоплесо* плс.; в саамском *Пертнаволок* п-в. (ср. *perrht* 'дом'), *Уккоручей* руч., *Пулозеро* оз., *Мончегуба* з-в. (ср. *modzhes* 'красивый'), *Пакрека* р., *Чарвозеро* оз. (ср. *tsharrv* 'пешня').

Гибридные топонимы возникли на уровне устной диалектной речи, когда в процессе взаимодействия возник понятный для контактирующих народов слой географической лексики. Прибалтийско-финские топонимы типа *Суоярви* (ср. *suo* 'болото', *jarvi* 'озеро'), *Питкяранта* (ср. *pitkä* 'длинный', *ranta* 'берег') возникли путем транслитерации из письменных источников.

В регионах, например Архангельской области и бассейна р. Оки, мощный, но уже основательно переработанный и освоенный пласт субстратной топонимии стал фактом русской речи. Язык, приспосабливая на свой манер субстратную топонимию фонетически, морфологически, синтаксически и лексически, не только максимально приближал к своим моделям (хотя это не всегда удается), но и стремился путем ложной этимологии (ср. *Соломенное* из *соломя* ← *салма*) и другими способами освоить сущностную сторону языка – семантику. Так, в своде топонимов Г.П. Смолицкой можно найти подчиняющиеся закону ряда топонимы *Мокрая Нявка* и *Сухая Нявка*, *Мокрая Панжа* и *Сухая Панжа*. Этимология слов Нявка и Панжа неизвестна, т.е. эти слова не имеют значения. Тем не менее, они имеют определения по качеству "сухой", "мокрый". Характеризоваться по качеству могут лишь апеллятивы в соответствии с их значением. "Топонимическое мышление" как бы приравнивает неизвестные по значению слова к апеллятивам, т.е. происходит "апеллятивизация" этимологически неясных комплексов. Такие примеры можно продолжить: *Большая Пойка* р. и *Малая Пойка* р., река *Алешня* может быть *Бавыкинской, Второй, Малой, Мокрой, Первой, Сухой.*

В народной топонимии наблюдается стихийное, неосознанное стремление делать неузнаваемое узнаваемым, приближая непонятные слова субстратной топонимии к близко звучащим знакомым словам. Причем это делается с большей интенсивностью, если эти слова из фольклора, если они выражают народные чаяния, внутреннюю потребность народа. Так в словаре Г.П. Смолицкой имеется свыше 70 топонимов с корнями *люба-, любе-, люби-, любо-*, причем некоторые из них не соответствуют литературным нормам, например: *Любашва, Любень, Люберка, Любинка, Любишка, Любожа, Любышка* и др.

Топонимы-прилагательные. По структуре топонимы-прилагательные подразделяются на простые и сложные. Простые топонимы-прилагательные могут быть беспрефиксными, суффиксальными и префиксальными. В регионах бывшего и настоящего взаимодействия различных топонимических систем суффиксы свободно употребляются с субстратными (неэтимологизированными) основами: *Вичужинская* зав., *Вагинское* оз., *Валдайский* руч., *Кильмуйское* бол., *Лоянское* оз. Гидронимический материал списка рек и озер бассейна реки Оки Г. Смолицкой наглядно иллюстрирует процесс суффиксации субстратных гидронимов: *Азясская* верш. р. (ср. Азясь о-г), *Аксельская* верш. р. (ср. *Аксель* пр. рук.), *Бастыевской* лев. о-г (ср. *Бастыев* пр. прит.), *Кабельшинский* пр. прит. (ср. *Кабельша* р., *Кабельшин* лев. прит.), *Луховское* оз. (ср. *Лух* р.), *Мизгейский* в. прит. (ср. *Мезгея* р.), *Нюховской* пр. о-г (ср. *Нюхова* р.), *Панженской* пр. о-г (ср. *Панжа* р.), *Рыданской* лев. прит. (ср. *Рыдань* р.), *Сугорбовской* пр. прит. (ср. *Сугорба* р.).

Все многообразие морфолого-синтаксических типов топонимии можно выразить в следующей структуре базы данных.

А. Топонимы-существительные.

А 111 Простые (суффиксальные, префиксальные, генитивные). А 121 Этимологизируемые другими языками. А 131 Неэтимологизируемые. А 211 Сложные (первый компонент – основа прилагательного, первый компонент – основа глагола, первый компонент – основа числительного, первый компонент – основа существительного). А 221

Этимологизируемые другими языками. А 231 Неэтимологизируемые. А 311 Субстантивные сочетания (прямой порядок слов, обратный порядок слов). А 321 Этимологизируемые другими языками. А 331 Неэтимологизируемые.

Б. Топонимы-прилагательные.

Б 111 Простые (беспрефиксные, качественные, притяжательные, относительные, суффиксальные, счетные прилагательные). Б 121 Префиксальные. Б 131 Этимологизируемые другими языками. Б 141 Неэтимологизируемые. Б 211 Сложные (собственно сложные, мнимые сложения, искусственное объединение в одном топониме двух основ). Б 221 Этимологизируемые другими языками. Б 231 Неэтимологизируемые. Б311 Адъективные сочетания (неравноценные прилагательные, равноценные прилагательные). Б 321 Этимологизируемые другими языками. Б 331 Неэтимологизируемые.

Предлагаемая структура описания базы данных русской топонимии, во-первых, устанавливает классификацию основных типов топонимии. Во-вторых, и это, несомненно, на наш взгляд, является важным при выявлении путей и способов освоения предшествующей топонимической системы, структура описания проиллюстрирует основные тенденции в освоении субстратной топонимии того или иного региона. И, в-третьих, субстратная топонимия может быть идентифицирована на этимологизируемую (более поздний слой) и на неэтимологизируемую (более древний слой).

Семантика компонентов топонимов. Топонимия любого региона складывается под влиянием различных факторов. К главнейшим составляющим относятся: естественно-географическая среда, социально-исторические условия, морально-этические и религиозные представления.

Поскольку основу классификации составляет семантический тезаурус языков мира, ономасиологический словник Р. Халлига и В. фон Вартбурга, используемый для прибалтийско-финских и саамского языков, пригоден и для классификации семантики русской топонимной лексики. Единый ономасиологический словник, принятый для различных языков и географических зон, поможет ярче показать своеобразие и специфику топонимной лексики языков и регионов.

Как уже упоминалось, одним из универсальных способов номинации географических объектов является онимизация и трансонимизация. Апеллятив, характеризующий какой-либо географический объект (гора, река, мыс, залив, озеро и т.д.), при его повторении в качестве ориентира превращается в топоним, т.е. происходит онимизация, превращение апеллятива в топоним. К таким апеллятивам-топонимам можно отнести названия *Яма* (омут), *Заводь* (омут), *Зыбун* (болото), *Озерко* (озеро), *Погост* (село) и пр. В качестве топонимов могут быть и словосочетания: *Верхнее Плесо* (участок реки), *Нижнее Плесо* (участок реки). Подобные названия встречаются крайне редко.

Явление трансонимизации состоит в том, что название одного географического объекта может переноситься на другой. Утвердилось мнение, что хронологически наиболее древние названия имеют водные объекты. Именно на берегах рек и озер в первую очередь селился древний человек. Реки и озера давали ему пищу, а передвижение по воде было наиболее легким.

Процесс трансонимизации, т.е. переноса названия объекта на другой объект, требует, как видно из примеров, дополнительных грамматических средств, чтобы название нового объекта при прежней основе могло бы идентифицировать новый объект. Поэтому, чем больше используется эта основа при идентификации последующих объектов, тем активнее происходит "обкатка", или "обрастание" трансонимизированной основы, и эта основа начинает зачастую восприниматься уже не как субстратная, а как принадлежащая исконно данному языку. Например, топоним *Москва* породил своих братьев *Замоскворечье, Подмосковье, Московский*; в Карелии название озера *Онего* дало дериваты *Заонежье, Прионежье, Обонежье*. Язык, или, если можно так сказать, топонимная система, все это многообразие морфологического инвентаря названий начинает классифицировать по географическим объектам.

Помимо словообразовательных средств разграничения топонимов в русском языке используются и словоизменительные, а именно, употребление падежей и предлогов. В русской топонимии при указании на направление к географическому объекту или нахождение используются предлоги, сравни: *на Кавказ*, но *в Крым*. Конечно, при употреблении в речи топонимы несут печать породивших их апеллятивов, а главное, употребление падежа ассоциируется с объектом, именуемым данным топонимом. В речи, особенно в случаях, когда указывается направление к объекту, именуемому данным топонимом, при употреблении топонима возникают грамматические ассоциации, связанные с объектом, которые и определяют употребление того или иного предлога. Так, слова, выражающие объекты – *бухта, брод, город, загон* (для скота), *долина, ложбина, овраг, переулок, поселок, селение, урочище* и др. – употребляются с предлогом *в*. Слова со значением *вершина, кладбище, мельница, мыс, остров, озеро, отмель, пасека, пожня, покос, пастбище, перешеек, поляна, площадь, пригорок, покос, холм, хутор* употребляются с предлогом *на*. Некоторые апеллятивы, выражающие географические объекты, при глаголах движения и состояния могут употребляться как с предлогом *в*, так и *на*. При этом, словосочетание различных глаголов движения или состояния + имя с предлогами *в* и *на* могут иметь либо разные значения, либо оттенки значения, например: *пошел на озеро*, но *упал в озеро*. К таким апеллятивам можно отнести: *огород, поле, река, село* и пр. Тема употребления предлогов и падежей в русской топонимике ждет своего исследователя. В первую очередь это касается проблемы соотношения управления глаголов именами нарицательными и порожденными ими именами собственными.

На территории Карелии происходит, как известно, освоение русской топонимической системой карельских, вепсских и финских названий. Освоение иноязычной топонимии происходило двумя способами: на уровне народной речи и путем транслитерации через письменные источники. Адаптация карельской и вепсской топонимии русским языком осуществлялась естественным путем посредством двуязычия на всей территории Карелии. Финская топонимия региона Ладожского озера и чуть севернее входила в русский язык в основном через письменные источники. Разные способы заимствования породили различные типы освоенных топонимов.

Исторически сложилось так, что в освоенной русскими прибалтийско-финской топонимии довольно часто встречаются топонимы, оканчивающиеся на *-ы, -и*, т.е., по существу, представляющие собой множественное число. Примеры топонимов данного типа, освоенных народной речью: *Вегаруксы, Кургеницы, Лендеры, Лоухи, Надвоицы, Виданы, Ныркu, Онежены, Паданы, Реболы, Сумеричи, Татчалицы, Типиницы, Улваны, Челмужи, Шушки* и др. Примеры топонимов, заимствованных через литературные источники: *Алалампи, Ангенлахти, Вайтасаари, Куусиниеми, Питкякоски, Кайвомяки, Салмиярви*. Различные способы проникновения иноязычных топонимов в русскую речь отразились на грамматической адаптации – "встроенности" в словоизменительную парадигму этих двух типов топонимов. Поскольку топонимы первого типа прошли длительную "обкатку" живой народной речью, они воспринимаются как формы мн. числа и свободно склоняются. В народе говорят: *Живу в Лоухах, Надвоицах, Реболах, Дворцах* (населенный пункт недалеко от Петрозаводска) и т.д. Кстати, форма "*во Дворцах*" поддерживается апеллятивом во мн. числе *дворцы* (*живут во дворцах*). Топонимы второго типа относятся к так называемому нулевому склонению и, хотя по форме напоминают множественное число, тем не менее, не склоняются.

Таким образом, в графе "Падеж" необходимо отмечать не только название падежа (а также управляющий падежом предлог), но и отсутствие падежа.

Графы "Народная этимология", "Объект", "Исторические сведения об объекте по источникам" (здесь же приводятся формы топонима, извлеченные из исторических источников), "Экстралингвистические сведения об объекте" (в виде текста – вербально), "Административное деление", "Элемент карты", "Информант, источник", "Собиратель", "Обработчик" даются аналогично "Структуре описания прибалтийско-финской топонимии".

Общие задачи исследования. Важнейшей задачей является сбор топонимии и, особенно, микротопонимии. В силу огромных социально-политических и экономических перемен в России сельской и городской топонимии был нанесен колоссальный и в ряде случаев непоправимый урон. Особенно пострадала сельская микротопонимия. Для сбора топонимии и ее компьютерной обработки предложена структура топонимной карточки, учитывающая специфику топонима и характерные признаки именуемого им объекта. Предложенные структуры описания топонимии прибалтийско-финских и русского языков позволят определить общую численность топонимов этих языков по квадрату, региону, ареалу. Естественно, количественные данные могут увеличиваться при последующих сборах топонимии и вовлечении в процедуру обработки. Поскольку топонимия – это расположение названий объектов в пространстве – чрезвычайно важно выявление специфики структуры топонимов каждого ареала. При определении семантики компонентов топонимов необходима последовательность отнесения того или иного компонента к определенному семантическому классу. Это правило применяется в тех случаях, когда компонент топонима имеет более, чем одно значение. Структура описания позволит разграничить и выдать в алфавитном порядке по определенному ареалу следующие компоненты топонимов: 1) субстратные (неэтимологизируемые), 2) иноязычные этимологизируемые, 3) этимологизируемые языком представления. Все этимологизируемые компоненты распределяются по семантическим классам. В прибалтийско-финской топонимии разграничиваются семантические компоненты, относящиеся к определению и к детерминанту.

С помощью ЭВМ в соответствии со структурой базы данных можно решать, на наш взгляд, следующие задачи:

1. Выявление субстратного слоя топонимии, его фонетических и морфологических особенностей, ареала распространения ядерных и периферийных зон, специфических особенностей субстратной топонимии. Установление степени однородности, повторяемости топонимов, их плотности на условной единице площади. Поскольку субстратные элементы проявляются как в заимствующем языке (т.н. субсубстрат), так и в языке, у которого заимствуются эти элементы (субстрат), было бы чрезвычайно интересно выявить не только наиболее характерные повторяемые элементы заимствующего языка, но и особенности их "вхождения" в его структуру.

2. Определение ареалов топонимии, этимологизируемой с помощью "живых языков", распространенных на территории Европейского Севера России, структурных типов топонимов и их семантики: 1) прибалтийско-финская, 2) саамская, 3) коми, 4) угорская, 5) самодийская, 6) русская (славянская). Как известно, территория, а также употребляемость национальной топонимии (карельская, финская, вепсская, саамская, коми, угорская, самодийская) на Европейском Севере России в силу исторических причин неуклонно сокращалась и сокращается. Поэтому фиксация этого материала крайне важна.

3. Исследование ареалов смешения топонимии, зон топонимии двух и более живых языков, соотношения частот различных топонимов в разных ареалах. Выявляя принципы адаптации топонимии разносистемных языков, мы можем проследить исторические пути освоения этносом территории данного ареала.

4. Определение абсолютных и относительных частот топонимов каждого языка на единицу площади.

5. Определение топонимических изоглосс однотипных явлений в семантике и структуре.

6. Выявление детерминантов и определений топонимов уральских языков.

7. Чрезвычайно важным, по нашему мнению, является установление корреляции (соотношения) топонимной и апеллятивной лексики по ареалам. Существенную помощь могут оказать материалы Лингвистического атласа Европы (Atlas Linguarum Europeae – ALE) и Атлас прибалтийско-финских языков (Atlas Linguarum Fennicae).

8. Исследование топонимии по семантическим классам (классификация по системе понятий Рудольфа Халлига и Вальтера фон Вартбурга).

В процессе исследования могут быть поставлены и другие задачи: принципы освоения субстратной топонимии русским языком, соотношение исконной и русской лексики в топонимии ареалов и регионов и др. Структура базы данных позволяет делать сопоставления "топоним – объект". Интересно, на наш взгляд, исследование принципов отбора объектов для номинации в зависимости от естественно-географических и культурно-исторических особенностей региона и др.

В этой связи заслуживают, на наш взгляд, самого пристального внимания попытки соотнесения данных топонимии с археологическими культурами. Это, конечно, не означает поиск зависимости между отдельными элементами культуры с конкретными топонимами, например, типа скребка с топонимом. Археологическая наука, собственно, и занимается выявлением этноса на основе археологической культуры. Основополагающий признак этноса – это язык, а топонимия составляет часть лексической системы языка. Безусловно, сопряжение таких разнородных факторов требует соответствующей культуры исследования. Как пишет Г.А. Федоров-Давыдов относительно археологической науки, "каждая категория объектов должна быть единообразно и правильно описана" [Федоров-Давыдов 1987]. Поиск зависимости между ними можно определить путем наложения сетки археологической культуры на топонимную. Известный исследователь саамского языка и культуры Тойво Итконен эмпирически выявил закономерность появления саамских топонимов в местах расположения сейдов (саамские божества).

Информационная система для поддержки исследований в области топонимики. С целью содействия развитию российской топонимической науки, координации теоретических и прикладных исследований российских топонимистов в различных регионах страны нами разработан и развивается тематический Web-сайт TORIS (http://toris.krc.karelia.ru) с интегрированной базой данных о топонимах Европейского Севера России, библиографической базой данных о публикациях по прибалтийско-финской и саамской топонимии, коллекцией электронных публикаций авторов проекта по данной тематике и постоянно действующей тематической телеконференцией [Вдовицын, Керт и др. 2001]. Структура базы данных (БД) прибалтийско-финской и русской топонимии, включающая 18 характеристик, учитывает грамматические признаки топонимов, семантику их компонентов, физические особенности объектов, именуемых данным топонимом, а также исторические сведения о топониме и другие данные. В настоящее время БД содержит информацию о свыше 1500 русских и карельских топонимах. Для отбора данных по запросам пользователей разработан удобный интерфейс, учитывающий специфику работы топонимистов. Это дает возможность осуществлять самые разнообразные выборки данных из БД для решения сформулированных выше задач исследования. При создании библиографической базы данных учтены не только стандартные библиографические данные, описывающие публикации по прибалтийско-финской и саамской топонимии, но и содержание изданных работ, семантика топонимов, субстрат, этимологии, персоналии и пр. Для оперативного обсуждения вопросов применения информационных технологий и математических методов в исследовании топонимии на сайте создана постоянно действующая телеконференция (форум), на которой размещены электронные публикации по этим вопросам и предусмотрена возможность всем заинтересованным пользователям системы в их обсуждении посредством Интернет.

В качестве одного из перспективных, на наш взгляд, подходов к решению задач в области топонимики является определение частотных характеристик топонимов и их компонентов, а также выявление характерных повторяющихся значений характеристик в описаниях топонимов. Подобные задачи могут быть решены с использованием алгоритмов поиска значимых множеств и ассоциативных правил [Вдовицын, Керт и др. 2003].

В формальной постановке задача нахождения логических зависимостей между характеристиками топонимов в виде ассоциативных правил может быть сформулирова-

на следующим образом. Для выбранного из БД набора данных о топонимах необходимо найти все ассоциативные правила вида

{Antecedent —> Consequent | c, s}

где: **Antecedent** и **Consequent** – непересекающиеся наборы характеристик из описания топонимов, определяющие, соответственно, посылку и следствие правила;

c ($0 \le c \le 1$) – фактор уверенности правила;

s – степень поддержки правила.

При этом фактор уверенности правила – **c** определяется как отношение количества записей, содержащих одновременно посылку и следствие, к числу записей, содержащих только посылку. Степень поддержки правила – **s** определяется как отношение количества записей, содержащих одновременно посылку и следствие правила, к общему количеству всех записей в исходном наборе.

Для поиска ассоциативных правил в БД нами разработана программная система DMiner, в основе которой лежит алгоритм поиска значимых множеств – PrefixSpan. Система также включает ряд сервисных функций, связанных с подготовкой исходных данных для их обработки и интерпретации полученных результатов. С помощью разработанной системы был проведен ряд вычислительных экспериментов с наборами топонимов из БД, в результате которых были получены ассоциативные правила, отражающие приоритеты в выборе компонентов в названиях географических объектов. В частности, из БД было отобрано 542 записи о русских топонимах, информация о которых была собрана в основном на территории Кемского района Карелии. Анализируемыми характеристиками в данном вычислительном эксперименте были выбраны поля записей описания топонимов, значениями которых являлись: объект, район, семантические формулы компонентов. Для заданного значения параметра $\mathbf{s \ge 0.5\%}$ в результате работы системы DMiner было получено свыше сотни ассоциативных правил, примеры некоторых из них приводятся ниже.

Первый блок ассоциативных правил описывает распределение русских топонимов в Кемском районе Карелии по объектам:

(район = 'КЕМСКИЙ') ===> (объект = 'ОСТРОВ') c = 36.43%, s = 35.42%;

(район = 'КЕМСКИЙ') ===> (объект = 'ОЗЕРО') c = 14.99%, s = 14.57%;

(район = 'КЕМСКИЙ') ===> (объект = 'ТОНЯ') c = 10.81%, s = 10.51%;

(район = 'КЕМСКИЙ') ===> (объект = 'ГУБА') c = 7.21%, s = 7.01%;

(район = 'КЕМСКИЙ') ===> (объект = 'МЫС') c = 6.26%, s = 6.08%;

(район = 'КЕМСКИЙ') ===> (объект = 'ОСТРОВА') c = 3.98%, s = 3.87%;

(район = 'КЕМСКИЙ') ===> (объект = 'РЕКА') c = 3.79%, s = 3.69%;

(район = 'КЕМСКИЙ') ===> (объект = 'РУЧЕЙ') c = 3.41%, s = 3.32%;

(район = 'КЕМСКИЙ') ===> (объект = 'НАСЕЛ.ПУНКТ') c = 2.84%, s = 2.76%;

(район = 'КЕМСКИЙ') ===> (объект = 'БОЛОТО') c = 2.08%, s = 2.02%.

Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что в большинстве случаев (36.43%) в Кемском районе топонимы именуют объекты 'ОСТРОВ' и в меньшей степени (2.08%) – объекты 'БОЛОТО'.

Второй блок ассоциативных правил описывает распределение компонентов топонимов, входящих в названия объектов 'ОСТРОВ' в Кемском районе Карелии, по семантическим классам:

(объект='ОСТРОВ', район='КЕМСКИЙ') ===> (семантическая формула = 'А221-Вселенная. Ландшафт и полезные ископаемые') c = 16.14%, s = 5.71%;

(объект='ОСТРОВ', район='КЕМСКИЙ') ===> (семантическая формула = 'В421-Человек. Онимы (этнонимы, антропонимы)') c = 7.81%, s = 2.76%;

(объект='ОСТРОВ', район='КЕМСКИЙ') ===> (семантическая формула = 'В121-Вселенная. Человек. Прилагательные') с = 6.24%, s = 2.21%;

(объект='ОСТРОВ', район='КЕМСКИЙ') ===> (семантическая формула = 'А311-Вселенная. Растительная жизнь вообще') с = 5.20%, s = 1.84;

(объект='ОСТРОВ', район='КЕМСКИЙ') ===> (семантическая формула = 'А431-Вселенная. Рыбы.') с = 2.60%, s = 0.92%;

(объект='ОСТРОВ', район='КЕМСКИЙ') ===> (семантическая формула = 'А352-Вселенная. Цвета') с = 1.56%, s = 0.55%;

(объект='ОСТРОВ', район='КЕМСКИЙ') ===> (семантическая формула = 'А321-Вселенная. Деревья, общие сведения') с = 1.56%, s = 0.55%;

(объект='ОСТРОВ', район='КЕМСКИЙ') ===> (семантическая формула = 'А211-Вселенная. Воды, моря и реки') с = 1.56%, s = 0.55%.

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что наибольшее число компонентов (16.14%), входящих в названия объектов 'ОСТРОВ', относятся к семантическому классу – 'А221-Вселенная. Ландшафт и полезные ископаемые'. При этом, степень поддержки правила s = 5.71% показывает долю этих компонентов в общем массиве исследуемых в данном вычислительном эксперименте топонимов.

Третий блок ассоциативных правил описывает распределение компонент топонимов, входящих в названия объектов 'ОЗЕРО' в Кемском районе Карелии, по семантическим классам:

(объект='ОЗЕРО', район='КЕМСКИЙ') ===> (семантическая формула = 'А211-Вселенная. Воды, моря и реки') с = 33.75%, s = 4.98%;

(объект='ОЗЕРО', район='КЕМСКИЙ') ===> (семантическая формула = 'В121-Человек. Прилагательные') с = 13.75%, s = 2.02%;

(объект='ОЗЕРО', район='КЕМСКИЙ') ===> (семантическая формула = '0000-Неэтимолдгизируемые (происхождение не известно)') с = 6.25%, s = 0.92%;

(объект='ОЗЕРО', район='КЕМСКИЙ') ===> (семантическая формула = 'А221-Вселенная. Ландшафт и полезные ископаемые') с = 3.75%, s = 0.55%;

(объект='ОЗЕРО', район='КЕМСКИЙ') ===> (семантическая формула = 'А311-Вселенная. Растительная жизнь вообще') с = 3.75%, s = 0.55%.

Аналогичным образом могут быть представлены блоки ассоциативных правил, описывающие распределения компонентов топонимов по семантическим классам и для других объектов из исследуемого массива топонимов. Следует отметить, что здесь приведена лишь незначительная часть результатов проведенных вычислительных экспериментов. Выбирая из базы данных другие массивы топонимов, задавая анализируемые характеристики и степень поддержки правил – **s (0% ≤ s ≤ 100%)** с помощью разработанной нами системы DMiner можно автоматически сгенерировать соответствующие ассоциативные правила, описывающие наиболее значимые связи между характеристиками исследуемого массива топонимов.

Таким образом, разработанная программная система DMiner может служить инструментом для ученого-топонимиста, с помощью которого можно находить новые закономерности и осуществлять проверку гипотез и предположений, связанных с решением задач в области топонимики. При этом достоверность выводов, получаемых на основании вычислительных расчетов, будет увеличиваться с ростом числа топонимов в БД информационной системы и качества их описания по предложенной структуре базы данных.

Заключение. Работы по созданию специализированных Web-сайтов по топонимии активно ведутся в зарубежных странах. В качестве примера можно отметить Web-сайт по топонимии Совета по географическим названиям Эстонии – hhtp:// www.eki.ee / knn / index2.htm. В разделе Links этого сайта указано более 30 ссылок на другие подобные Web-сайты в разных странах мира. Главная особенность нашей информационной системы http://toris.krc.karelia.ru заключается в том, что она ориентирована в первую очередь для поддержки исследований в области топонимики с использованием информационных баз данных, математических методов и возможностей Интернет-технологий.

Информационные технологии открывают новые возможности перед исследователями топонимии. Предложенная структура описания базы данных топонимии по своей природе универсальна; она включает не только базисные данные о топониме (морфолого-синтаксическая структура топонима, семантика его компонентов, функционирование в речи и пр.), но и экстралингвистические сведения об объекте, именуемом топонимом (мотивация названия, причины возникновения, характерные особенности объекта, народная этимология и др.).

Применение языковых универсалий, строгая идентификация однотипных явлений в структуре описания топонимии позволяют, по нашему мнению, использовать предложенные технологии и в исследовании топонимии языков других семей, тем самым способствовать созданию единого компьютерного банка топонимии России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Азарх 1980 – *Ю.С. Азарх.* Апеллятивный и ономастический словообразовательные типы // Лексика и фразеология севернорусских говоров. Вологда, 1980.

БРК 2003 – Библиография работ. Прибалтийско-финское языкознание. Сб. статей, посвященных 80-летию Г.М. Керта. Петрозаводск, 2003.

Вдовицын, Керт и др. 2001 – *В.Т. Вдовицын, Г.М. Керт* и др. Электронная коллекция информационных ресурсов по топонимии Европейского Севера России // Сб. трудов Третьей научной конф. RCDL'2001. Петрозаводск, 11–13 сентября 2001 г. Петрозаводск, 2001.

Вдовицын, Керт и др. 2003 – *В.Т. Вдовицын, Г.М. Керт и др.* Применение алгоритмов поиска логических зависимостей для решения задач в области топонимики // Обозрение прикладной и промышленной математики. Т. 10. Вып. 2. 2003.

ГСКП 1939 – Географический словарь Кольского полуострова. М., 1939.

Керт 1989 – *Г.М. Керт.* Проблемы саамской топонимии // Вопросы финно-угорской ономастики. Ижевск, 1989.

Керт 1991 – *Г.М. Керт.* Структурные типы саамской топонимии // Прибалтийско-финское языкознание. Петрозаводск, 1991.

Керт 1995а – *Г.М. Керт.* Проблемы изучения финно-угорской топонимии // Финно-угроведение. № 3–4. 1995.

Керт 1995б – *Г.М. Керт.* Топонимное видение народа (на материале саамской топонимии) // Этническое и языковое самосознание. Материалы конференции (Москва, 13–15 дек. 1995 г.). М., 1995.

Керт 1997а – *Г.М. Керт.* Проблема выявления субстрата в проекте "Компьютерный банк топонимии Европейского Севера России" // Традиционная культура финно-угров и соседних народов, Междунар. симпозиум, Тез. докл. Петрозаводск, 1997.

Керт 1997б – *Г.М. Керт.* Саамские элементы в топонимии Карелии // Международная научная конференция по проблемам изучения, сохранения и актуализации народной культуры Русского Севера "Рябининские чтения 95". Сб. докл. Петрозаводск, 1997.

Керт 2002 – *Г.М. Керт.* Применение компьютерных технологий в исследовании топонимии (прибалтийско-финская, русская). Петрозаводск, 2002.

Керт, Вдовицын, Веретин 1998 – *Г.М. Керт, В.Т. Вдовицын, А.Л. Веретин.* Компьютерный банк топонимии Европейского Севера России: TORIS, Препринт доклада на заседании Президиума Карельского научного центра 24 апреля 1998 г. Петрозаводск, 1998.

Керт, Лебедев 1988 – *Г.М. Керт, В.А. Лебедев.* Возможности применения ЭВМ при исследовании топонимии Севера Европейской части СССР. Петрозаводск, 1988.

Мамонтова 1982 – *Н.Н. Мамонтова.* Структурно-семантические типы микротопонимии ливвиковского ареала Карельской АССР. Петрозаводск, 1982.
Мамонтова, Муллонен 1991 – *Н. Мамонтова, И. Муллонен.* Прибалтийско-финская географическая лексика Карелии. Петрозаводск, 1991.
Матвеев 1996 – *А.Н. Матвеев.* Библиографический указатель. Екатеринбург, 1996.
Муллонен, Азарова, Герд 1997 – *И.И. Муллонен, И.В. Азарова, А.С. Герд.* Словарь гидронимов юго-восточного Приладожья (бассейн реки Свирь). СПб., 1997.
Нисканен 1971 – *Р.А. Нисканен.* Германские заимствования в прибалтийско-финских и саамском языках // Прибалтийско-финское языкознание. Петрозаводск, 1971.
Палль 1975 – *В. Палль.* Топонимика северной части Тартумаа: Автореф. дис. ... филол. наук. Таллин, 1975.
Подольская 1988 – *Н.В. Подольская.* Словарь русской ономастической терминологии. Изд. 2-е. М., 1988.
Попов 1965 – *А.И. Попов.* Географические названия (Введение в топонимию). М.; Л., 1965.
Попов 1993 – *А.И. Попов.* Непочатый источник истории Карелии (Карельская топонимика) // Родные сердцу имена (Ономастика Карелии). Петрозаводск, 1993.
Реформатский 1964 – *А.А. Реформатский.* Топономастика как лингвистический факт // Топономастика и транскрипция. М., 1964.
Смолицкая 1976 – *Г.П. Смолицкая.* Гидронимия бассейна Оки (Список рек и озер). М., 1976.
Суперанская 1964 – *А.В. Суперанская.* Типы и структура географических названий (На материале топонимии СССР) // Лингвистическая терминология и прикладная топономастика. М., 1964.
Ташицкий 1961 – *В. Ташицкий.* Место ономастики среди других гуманитарных наук // ВЯ. 1961. № 2.
Турыгина 1988 – *Л.А. Турыгина.* Моделирование языковых структур средствами вычислительной техники. М., 1988.
Федоров-Давыдов 1987 – *Г.А. Федоров-Давыдов.* Статистические методы в археологии. М., 1987.
Hallig, von Wartburg 1952 – *R. Hallig, W. von Wartburg.* Begriffssystem als Grundlage für die Lexikografie. Berlin, 1952.
Itkonen 1916–1920 – *T. Itkonen.* Lappalais-suomalaisia sananvertailuja // Journal de la Société Finno-Ougrienne, 32. 1916–1920.
Itkonen 1920 – *T. Itkonen.* Lappalaisperäisiä paikannimiä suomenkielen alueella // Virtä. 1920.
Itkonen 1928 – *T. Itkonen.* Lappalais-suomalaisia sananvertailuja // Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 58. 1928.
Itkonen 1948 – *T. Itkonen.* Suomen lappalaiset vuoteen 1945. I–II. Porvoo; Helsinki, 1948.
Itkonen 1958 – *T. Itkonen.* Koltan-ja kuolanlapin sanakirja. Helsinki, 1958.
Kalima 1936 – *J. Kalima.* Itamerensuomalaisten kielten balttilaiset lainasanat // Suomen Kirjallisuuden seuran toimituksia. 1936.
Lehtiranta 1989 – *J. Lehtiranta.* Yhteissaamelainen sanasto // Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 200. 1989.
Setälä 1913 – *E. Setälä.* Bibliographisches Verzeichnis in der Literatur behandelten älteren germanischen Bestandteil in der ostseefinnischen Sprachen // Finno-Ugrische Forschungen. Bd. 13. Anzeiger, 1913.
Wiklund 1911 – *K.B. Wiklund.* Lapparnas forna utbredning i Finland och Ryssland, belyst af ortamnen // Le monde oriental. 1911.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Events as grammatical objects. The converging perspectives of lexical semantics and syntax / Ed. by C. Tenny, J. Pustejovsky. Stanford: CSLI publications, 2000. x, 510 p.

Сборник статей "События как грамматические объекты: на стыке лексической семантики и синтаксиса" под редакцией К. Тенни и Дж. Пустейовского российскому читателю может показаться поучительным в двух отношениях. С одной стороны, будучи составлен из работ, написанных американскими и европейскими исследователями первого ряда, причем как семантистами, так и синтаксистами, сборник дает прекрасную возможность увидеть, о каких проблемах и на каком метаязыке говорит сейчас западная лингвистика.

Другой итог чтения книги намного содержательнее. Понятие "событие" (или "ситуация") мы привыкли использовать, когда речь заходит о семантике вида, времени, модальности, о семантических ролях, аргументной структуре, залоге и актантных деривациях. Однако для российской лингвистики не очень характерен взгляд на событие как на теоретический объект, как на компонент эксплицитной и строгой теории. Что является событием и что не является? Существуют ли языковые выражения, обозначающие события, и как они устроены? Имеет ли событие структуру, и как эту структуру следует описывать? Возможен ли анализ одних и тех же языковых фактов как с привлечением понятия "событие", так и без него? И если такое возможно, то как эмпирически определить, какой вариант лучше?

На Западе эти проблемы давно и интенсивно обсуждаются. Начало было положено еще в 1967 году, когда Дональд Дэвидсон [Davidson 1967] выдвинул следующую гипотезу: события имеют такой же онтологический статус, как более привычные нам индивиды-объекты, например, 'стол'; событие 'стол сломался' – это тоже индивид, другого сорта, но индивид. Эта гипотеза имела колоссальные последствия. В моделях, которые строили специалисты по модельно-теоретической семантике, появились сущности особого рода – события. Формальные языки, описывающие эти модели, дополнились переменными, "пробегающими" по событиям. У предикатов, наряду с индивидными аргументами, появился и событийный ("дэвидсонов") аргумент. Привычный нам анализ предложения *Вася убил Петю* на языке исчисления предикатов первого порядка раньше выглядел так: **убить**(в, п). После того, как появились события, все стало иначе: предикат стал обозначать не двухместное отношение между Васей и Петей, а трехместное – между Васей, Петей и событием, в котором первый убил второго, а предложение получило такой анализ: ∃е **убить**(в, п, е). Немного позже анализ стал развиваться еще дальше: глагол начали переводить как одноместный предикат над событиями, а его аргументы привязывать к событию с помощью особых двухместных отношений – тематических ролей. Интуиция тех исследователей, которые настаивали на эксплицитном использовании ролей в семантической теории, была наконец реализована. После этого предложение *Вася убил Петю* стало анализироваться так: ∃е [**убить**(е) ∧ Agent(в, е) ∧ ∧ Patient(п, е)].

Одновременно с этой революцией в семантике (которую, заметим, приняли далеко не все – см., например [Verkuyl 1999], где серьезно критикуется подход Д. Дэвидсона), не прекращались попытки дать событию и синтаксическое определение. В частности, подойти к проблеме события со стороны синтаксиса позволили исследования по аргументной структуре (см. например [Hale, Keyser 2002], где приводится краткая история вопроса) и семантико-синтаксическому интерфейсу. Очевидно, что принципы, отображающие семантические аргументы глагола в его синтаксические аргументы, жестко ограничены. Чем объясняются эти ограничения? Почему, например, се-

мантических ролей именно столько, сколько есть, и у одного предиката не может быть двух аргументов с одинаковой ролью (см. [Тестелец 2001])? Ответы на эти вопросы могут быть разные. Одна из наиболее влиятельных теорий, теория "лексического синтаксиса" К. Хейла и С.Дж. Кейсера, выводит такие ограничения из теоретически допустимого набора синтаксических конфигураций, которые может проецировать глагольная основа. Если эта теория верна (а она, по крайней мере, убедительно объясняет целый ряд любопытнейших фактов), то понятие "событие" получает не только семантическое, но и синтаксическое определение.

Все это и многое другое обсуждается в рецензируемом сборнике, который содержит четырнадцать статей, сгруппированных в четыре раздела.

Первый раздел "Морфосемантическая композиция структуры события" открывается статьей, написанной редакторами сборника и озаглавленной "История событий в лингвистической теории". Название говорит само за себя: как и во всякой вводной статье, в ней предлагается подробный обзор предшествующих достижений и краткое введение к опубликованным в сборнике работам.

Первая из содержательных статей – статья Ханы Филип "Загадка квантизации" ("The quantization puzzle") – посвящена делимитативным и аккумулятивным глаголам в славянских языках, в первую очередь, в русском. Важные свойства этих глаголов неоднократно отмечались исследователями. Особенность приставки *по-* состоит в том, что это одна из двух приставок в русском языке (и, несомненно, единственная продуктивная), которая порождает глаголы совершенного вида, сочетающиеся с обстоятельствами длительности типа *пять минут*, как, например, в предложении *Вася поспал пять минут*. Все прочие глаголы совершенного вида, исключая пердуративы с *про-*, допустимы только в контексте обстоятельств типа *за пять минут*. Делимитативы примечательны и тем, что не вызывают у своего прямого дополнения эффекта определенности. *Пописал письма*, в отличие от *написал письма*, не предполагает, что множество писем, о котором идет речь, было заранее введено в рассмотрение. Аккумулятивы с приставкой *на-* (*Дети нарвали цветов на лугу*) также имеют ряд семантических и синтаксических особенностей. Прежде всего, они предполагают множественность несовпадающих во времени подсобытий, где с каждым из подсобытий связано подмножество объектов, обозначенных прямым дополнением. Событие, обозначаемое предикатом *нарвать цветов*, – сумма таких отдельных подсобытий. Но самая главная загадка и делимитативов, и пердуративов, которой и посвящена статья Х. Филип, состоит в том, что и те и другие не являются "квантованными" – в отличие от всех прочих глаголов совершенного вида в славянских языках.

Квантованность как понятие мереологической теории Манфреда Крифки [Krifka 1989; 1992; 1998] в последние годы показало свою исключительную плодотворность при анализе именных и глагольных выражений естественного языка. Квантованным является любой предикат, будь то именной или глагольный, если выполняется следующее условие: для любой сущности верно, что если она входит в означаемое предиката, то никакая ее часть не входит в означаемое того же самого предиката. Например, существительное *яблоко*, обозначающее именной предикат, является квантованным, поскольку, никакую часть яблока нельзя назвать яблоком, а *вода* не является, поскольку если от порции воды отделить часть, это все равно будет вода. Квантованность характеризует не только именные, но и глагольные предикаты, обозначающие события. Если верно, что Вася спал с 7 до 11 часов, то верно и то, что он спал с 8 до 9 часов: *спать* – неквантованный предикат. *Написать*, напротив, квантованным является: если Вася начал писать письмо в 7 часов, а закончил в 10, то ни о какой части события, заключенной внутри меньшего интервала, нельзя сказать *Вася написал письмо*. Анализ М. Крифки позволил сделать эксплицитными сходства в референции именных и глагольных выражений, а также объяснить в рамках теории аспектуальной композиции, как свойства первых влияют на свойства вторых.

Долгое время семантисты (в частности, и сам М. Крифка) считали, что в славянских языках совершенный вид эквивалентен квантованности. Х. Филип показала, что делимитативы и аккумулятивы делают это обобщение проблематичным. Действительно, если некоторую ситуацию мы можем описать как *Вася погулял*, то, по всей видимости, точно так же мы можем описать и часть этой ситуации. С другой стороны, если какую-то ситуацию мы описываем как *Дети набрали много цветов*, то можно найти и часть этой ситуации, о которой можно сказать то же самое – лишь бы количество цветов все равно расценивалось как достаточно большое. Х. Филип в своей статье предлагает удачное решение этой проблемы. Не вдаваясь в подробности, отметим, что одно из главных достоинств предлагаемого анализа состоит в том, что автору удалось максимально использовать сильную сторону мереологической теории – анализ

именных и событийных выражений в единых терминах. В частности, Х. Филип убедительно аргументировала, что приставки *на-* и *по-* можно рассматривать как аналоги нечетких квантифицирующих выражений типа *много* и *немного* в именной сфере.

В статье Г. Дэвиса и Г. Демирдаш "О лексическом значении глагола: данные салишских языков" ("On lexical verb meaning: evidence from Salish") обсуждается, какую информацию несут глагольные основы в естественном языке, насколько универсальна эта информация и какой теоретический анализ глагольного значения представляется наиболее выигрышным. В некоторых теориях, например, утверждается, что для глаголов в естественных языках лексически задан только внутренний аргумент – пациенс, причем это верно и для двухместных глаголов типа *писать* и для одноместных типа *падать*. Внешний аргумент – агенс глаголов типа *писать* или единственный аргумент глаголов типа *бежать*, словарно в аргументной структуре глагола не представлен и создается только в синтаксисе. Прекрасным полигоном для теорий такого рода является материал языков, в которых имеются разнообразные средства морфосинтаксического воздействия на аргументную структуру, в первую очередь показатели актантной деривации. Именно такими языками и являются салишские. Авторы убедительно показывают, что все минимально морфологически маркированные глагольные основы синтаксически выражают только внутренний пациентный аргумент, то есть являются синтаксически неаккузативными. В этих языках, например, нет непроизводного глагола со значением 'ударить', но есть глагол со значением 'получить удар'. Кроме того, в них имеются достаточно многочисленные морфосинтаксические средства, создающие переходные и одноместные неэргативные предикаты. В частности, в них представлены четыре транзитиватора, которые отличаются тем, является ли контроль за осуществлением ситуации со стороны одного из участников обязательным и является ли второй аргумент синтаксически прямым или непрямым дополнением.

Анализ лексической и синтаксической дистрибуции глагольных основ в салишских языках, который выдвигают и обосновывают авторы, состоит в том, что несмотря на морфосинтаксическую неаккузативность, семантическое представление глагольных основ в них имеет каузативную структуру. Вместе с Дж. Пустейовским [Pustejovsky 1995], Б. Левин и М. Раппапорт Ховав [Levin, Rappaport Hovav 1995] и некоторыми другими лингвистами, авторы статьи исходят из того, что лексическое представление неаккузативных глаголов в салишских языках содержит два подсобытия, связанных отношением каузации. Участник одного подсобытия – аргумент, претерпевающий воздействие при развитии ситуации, участник второго подсобытия – аргумент, вызывающий эти изменения. Эта структура, считают авторы, является универсальной и присуща лексическим представлениям глагольных основ во всех языках. Особенность салишской семьи состоит в том, что выражение каузирующего подсобытия всегда морфологически маркируется. Морфологически немаркированная глагольная форма, напротив, всегда оставляет каузирующее подсобытие невыраженным в синтаксисе, что и приводит к возникновению поверхностно неаккузативных предикатов.

Второй раздел книги – "Как синтаксическая структура выражает события" также содержит три статьи. Программная статья Л. Трэвис "Структура события в синтаксисе" ("Event structure in syntax") посвящена ответу на вопрос о том, отражает ли структура клаузы структуру события и если да, то какие составляющие клаузы связаны с какими компонентами события. Следуя в первую очередь представлениям К. Хейла и С.Дж. Кейсера [Hale, Keyser 1993] об аргументной структуре как о лексическом синтаксисе (l-syntax), Л. Трэвис предлагает анализ структуры клаузы, в котором представлены две глагольные вершины и две их максимальные проекции – VP1 и VP2. (Л. Трэвис эксплицитно отождествляет их с более принятыми в современной синтаксической теории обозначениям – *v*P и VP.) В позиции вершины V1 размещается морфема CAUS, в позиции ее спецификатора – агентивная именная группа. В позиции вершины V2 находится глагольная основа, а ее спецификатором выступает пациентная именная группа. (Следует, впрочем, заметить, что в теории К. Хейла и С.Дж. Кейсера тематические/семантические роли не вводятся как теоретический примитив – они отождествляются с позициями в синтаксической конфигурации, проецируемой глаголом.) Опираясь на дистрибуцию показателей каузатива в тагальском и малагасийском языках, Л. Трэвис выдвигает следующую гипотезу: проекция VP1 (=*v*P) – это одновременно граница л-синтаксиса, граница возможного морфологического слова и граница события. Более того, в тагальском языке имеется морфема, которая эксплицитно маркирует эту границу – для нее предлагается постулировать специальную функциональную проекцию EP (Event Phrase). Все, что находится ниже этой проекции, соответствует компонентам события – аргумент в Spec, VP1 каузи-

рует процесс, который происходит с аргументом в Spec, VP2. В языках с морфологическим каузативом именно показатель каузатива занимает позицию вершины V1.

Материал малагасийского и тагальского языков дает основание для выделения и еще одной вершины Asp между V1 и V2 с соответствующими проекциями: в этой вершине размещается специальная морфема акциональной модификации – показатель предельности. Результирующая структура клаузы показана на рис. 1.

Выясняется, наконец, что появление показателя предельности предполагает ненамеренность действий агенса. Это, объясняет автор, связано с тем, что Asp может приписывать особую тематическую роль в позиции своего спецификатора. Именно эта возможность отличает глаголы с показателем предельности от глаголов без такого показателя, у которых внешний аргумент получает роль "полноценного" агенса в позиции Spec, VP1.

Обсуждение похожей проблематики – в какой степени архитектура клаузы соответству-

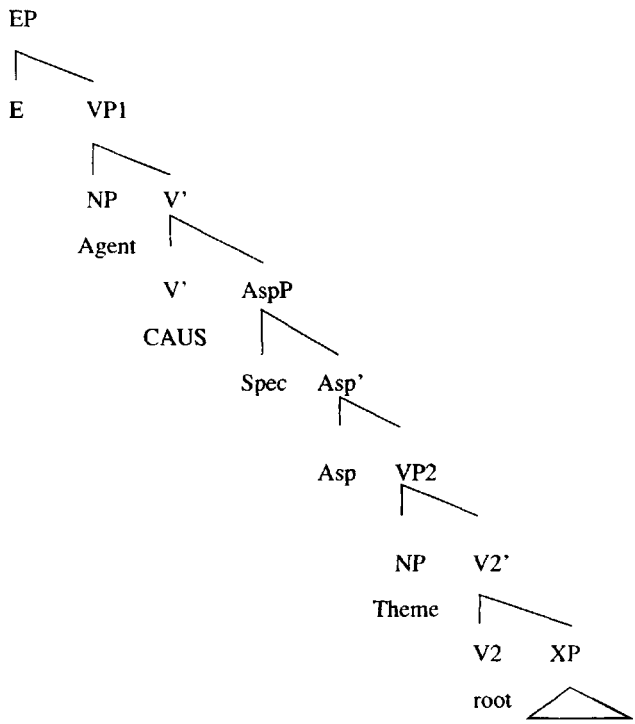


Рис. 1.

ет компонентам события и какие морфосинтаксические операции и отношения могут менять эту структуру, продолжается в статье Э. Риттер и С. Розен "Структура события и эргативность" ("Event structure and ergativity"). Как и Л. Трэвис, авторы статьи вводят синтаксическое определение события. Канонические события, пишут они, состоят из компонентов каузации (в терминах, принятых в данной статье, – инициирования), развития и завершения, но только первый и последний грамматикализуются в языках. В отличие от Л. Трэвис, у которой структура события – то есть состав аргументов и отношения между ними – в основном определяется лексическими вершинами внутри VP и их спецификаторами, Э. Риттер и С. Розен отводят эту роль функциональным проекциям, расположенным над VP, а именно, AgrO и AgrS. Эти проекции, которые несут признаки падежа (а именно, падежей подлежащего и прямого дополнения – номинатива и аккузатива) и согласования, по замыслу авторов, приписывают в позиции своего спецификатора роли соответственно инициатора и ограничителя события. Интуиция, которая скрывается за такой системой допущений, во многом соответствует той, которую мы обсуждали выше. Агенс инициирует событие и,

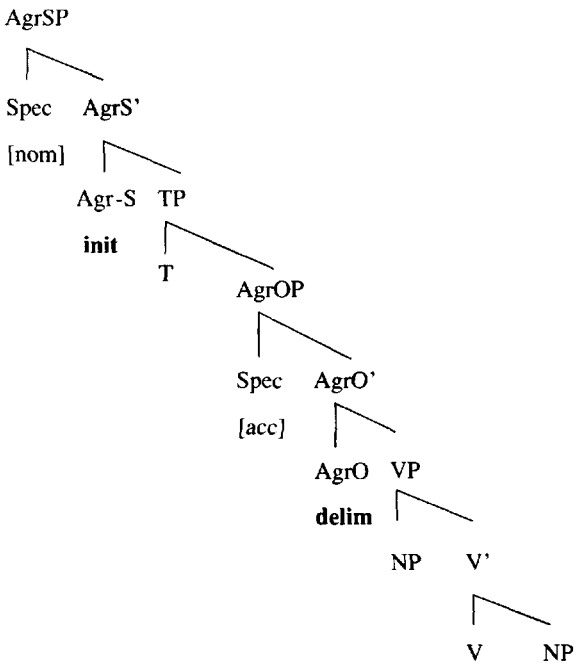


Рис. 2.

возможно, также контролирует его. Пациенс подвергается изменению при осуществлении этого события и тем самым создает для него предел. Синтаксическая структура, соответствующая такой системе допущений, представлена на рис. 2.

Если понятия инициирования и завершения отождествляются с функциональными проекциями, "отвечающими" за подлежащее и прямое дополнение, становится очевидным, что каноническое событие в данной теории – это предельное событие с двумя участниками, описываемое переходной клаузой с подлежащим и прямым дополнением и относящееся к классу вендлеровских accomplishments.

Очень близкий круг идей обсуждается и в статье А. ван Хаут "Семантика события в словарно-синтаксическом интерфейсе: вариативность модели управления в нидерландском языке и ее усвоение" ("Event semantics in the lexicon-syntax interface: verb frame alternations in Dutch and their acquisition"). Статья предлагает читателю возможное решение проблемы того, как свойства прямого дополнения и само его наличие определяют предельность и непредельность глагольного предиката. Известно, что в языках типа английского (к которым в полной мере принадлежит и обсуждаемый в статье нидерландский) исчисляемое прямое дополнение в единственном числе или определенное прямое дополнение во множественном числе создает предельный глагольный предикат (*ate an apple in an hour* || **for an hour* 'съел яблоко за час || *час'), тогда как неисчисляемое или множественное неопределенное прямое дополнение – непредельный глагольный предикат (*ate apples for an hour* || **in an hour* 'ел яблоки час || *за час'). Выясняется, что для тех глаголов, которые могут образовать синтаксически правильную глагольную группу как с прямым дополнением, так и без нее, в последнем случае обязательной является непредельная интерпретация (*ate for two hours* ||**in two hours* 'ел два часа || *за два часа'). Как объяснить такой диапазон интерпретаций и такие импликативные отношения между прямым дополнением и предельностью? Ответ А. ван Хаут содержательно очень близок к тому, который предлагают Э. Риттер и С. Розен. Предельная интерпретация возникает тогда и только тогда, когда синтаксический признак предельности проверяется в проекции AgrOP, а это происходит при передвижении прямого дополнения в позицию Spec, AgrOP. При отсутствии такого передвижения теория предсказывает непредельную интерпретацию. Если прямого дополнения вовсе нет, отсутствие предельной интерпретации для случаев типа *John ate* следует автоматически. А для неквантованных (= неопределенных множественных

и неисчисляемых ИГ) прямых дополнений А. ван Хаут далее постулирует, что они обязаны остаться в глагольной группе и проверить свой падеж, не покидая ее пределов. Внутри глагольной группы такие ИГ могут получить лишь слабый падеж и не могут проверить признак предельности. В результате предельная интерпретация также оказывается недоступной.

Таким образом, теория А. ван Хаут предсказывает, что предельность должна коррелировать с приписыванием "сильного" структурного падежа – аккузатива. Заметим, что это предсказание выполняется для языков (в частности, алтайских и уральских), в которых пациентная именная группа может получить аккузативный падеж, но может и остаться немаркированной. Только в первом случае, как и можно ожидать исходя из предложенного анализа, делается возможной предельная интерпретация.

Это материал, который мог бы убедительно подкрепить аргументацию автора, впрочем, остается за пределами статьи. Зато в статье присутствуют данные о том, как дети усваивают корреляцию между наличием/отсутствием прямого дополнения и предельностью/непредельностью клаузы в нидерландском. Выясняется, что эта корреляция усваивается поздно – детьми старше 5 лет. "Что может вызвать такую задержку? – спрашивает автор (с. 273). – Прежде всего то, что в нидерландском языке есть альтернативные способы кодирования предельности, например частицы, <...> и дети усваивают их раньше". Хотя нельзя отрицать, что в германских языках фразовые частицы делают предикат предельным (ср. англ. *eat up*), у читателя остается впечатление, что такое объяснение, к сожалению, никак не следует из анализа, предложенного в теоретической части статьи.

Третья часть книги – "Структура события и синтаксис и семантика наречий" – посвящена тому, как различные классы наречий взаимодействуют с аспектуальным, темпоральными, агентивными и или каузативными характеристиками клаузы.

В статье К. Тенни "Ядерные события и адвербиальная модификация" ("Core events and adverbial modification") исследуются три типа наречий, которые она называет наречиями меры, реститутивными наречиями ('опять') и *почти*-наречиями. В статье демонстрируется, что эти классы различаются тем, взаимодействуют ли они (и если да, то как именно) с двумя основными структурными элементами семантического представления, которые автор называет ядерным событием и мерой/способом. Эти элементы синтаксически выражаются глаголом и его внутренним аргументом. Опираясь на синтаксическую и семантическую дистрибуцию трех классов наречий, К. Тенни размещает их в трех различных функциональных проекциях, которые образуют структуру события для данной клаузы. Наконец, она обосновывает идею, согласно которой единицы семантического представления находятся в одно-однозначном соответствии с функциональными проекциями в синтаксисе, которые и определяют их композициональное взаимодействие.

Статья Т. Эрнста "Образ действия и события" ("Manners and events") посвящена проблеме того, что в английском языке наречия определенного класса могут иметь различную сферу действия – либо на всю клаузу, либо на ее составляющую. Например, предложение *Clearly, they saw the sign* 'Ясно, (что) они видели знак' вводит эпистемическую оценку ситуации, производимую говорящим, тогда как *They saw the sign clearly* 'Они видели знак отчетливо' лишь описывает то, что традиционно называется образом действия. Имея в виду эти две возможности, какой анализ следует сопоставить наречию типа *clearly*? Все ли наречия в этом отношении ведут себя одинаково? Ответ на эти вопросы и предлагается в статье Т. Эрнста.

Во многом схожую проблему затрагивает и статья Дж. Викболдт, только в этом случае предметом анализа являются наречия образа действия, расположенные внутри зависимых предложений, вводимых союзом *since*. Известно, что такие зависимые допускают два прочтения – временное и причинное. Оказывается, во втором, но не в первом случае в составе зависимого разрешены наречия образа действия, как показывает противопоставление между *"Since John entered the room quietly, he's been looking for a seat* 'С того момента как Джон вошел в комнату тихо, он был занят поисками места, где сесть' и *Since John entered the room quietly, no one noticed him* 'Поскольку Джон вошел в комнату тихо, никто не обратил на него внимания'. Анализ Дж. Викболдт основывается на допущении, что в случае временного *since* вводимая зависимым информация размещается в пресуппозиции, а в случае причинного *since* – в ассерции. А поскольку, как показывают переводы английских предложений, в русском языке представлено аналогичное противопоставление, читатель может, ознакомившись с деталями предлагаемого анализа, легко проверить выводы автора на русском материале.

Статьи, представленные в четвертой части сборника – "О событийных аргументах и аргументах состояния", посвящены исследованию

теоретических возможностей, которые открыла перед семантистами идея событийной переменной в теории Д. Дэвидсона и последующих работах Т. Парсонса [Parsons 1990].

В статье А. тер Мелен "Как различить события" ("How to tell events apart") поднимается вопрос о том, как организована и чем поддерживается референция к событиям. Как и именные выражения, глагольные предикаты вступают в разнообразные отношения кореферентности, а значит, возникает проблема того, какие в этой области есть закономерности и ограничения и чем они объясняются. В статье А. тер Мелен анализируется частный случай этой общей проблемы, а именно, как аргументы глагольного предиката воздействуют на кореферентность обозначаемых им событий. Материалом выступают нидерландские конструкции, состоящие из глагола *laten* 'допускать, позволять' (англ. *let*) и инфинитива смыслового глагола, в которых один из аргументов представлен либо простым рефлексивом *zich* 'себя', либо сложным рефлексивом *zichzelf* 'самого себя', как например, в *Jan liet zich vallen* "Ян позволил себе упасть'. Автор анализирует такие конструкции, опираясь на два основных допущения. Во-первых, и глагол *laten*, и инфинитив смыслового глагола имеют свои собственные событийные аргументы, которые вступают в отношение кореферентности. Во-вторых, два глагола имеют общую аргументную структуру. Такая система допущений позволяет, в частности, объяснить различные свойства данной конструкции при наличии простого и сложного рефлексива.

Статья Г. Катца "Антинеодэвидсонианизм" ("Anti neo-Davidsonianism") посвящена проблеме анализа стативных предикатов. Верно ли, что у таких предикатов имеется дэвидсонов аргумент? Исходный анализ Д. Дэвидсона предполагал, что такой аргумент есть только у динамических предикатов. В работах последователей Д. Дэвидсона, однако, возобладала противоположная точка зрения. Соответственно, возникает вопрос о том, какой из двух возможных анализов предложений типа *John loves Mary* 'Джон любит Мэри' следует предпочесть – классический дэвидсонов **love**(j, m) или неодэвидсонов λs.**love**(s, j, m), – а также каким эмпирическим материалом может быть обосновано подобное предпочтение. Обсуждая противопоставление предикатов индивидного уровня и предикатов стадиального уровня, Г. Катц отстаивает "классический" подход. Дискуссия между сторонниками того и другого анализа на самом деле российскому лингвисту хорошо знакома – просто в свое время она у нас велась на совершенно другом языке. Наличие/отсутствие событийного аргумента – это в точности наличие/отсутствие временной локализованности ситуации, о которой писали российские семантисты в 1980–90-е гг. Отсутствие ситуационного аргумента, представленного переменной s, эквивалентно отсутствию временной локализации. Во времени существуют только ситуации. То, что не является ситуацией, существует вне времени.

Проблемы стативных глаголов обсуждаются и в статье Л. Пилкканен "О стативности и каузации" ("On stativity and causation"). Рассматривая каузативы от эмотивных и перцептивных глаголов в финском языке, автор ищет эмпирический ответ на вопрос, может ли одно состояние каузировать другое. Вопреки точке зрения целого ряда семантистов, выясняется, что может. Л. Пилкканен сопоставляет соответствующим каузативам анализ, в котором представлены два состояния, связанные отношением каузации, причем первое, каузирующее состояние – это состояние перцепции. Финский язык также дает прекрасную возможность сравнить "простые" (атомарные) и "сложные" (с внутренней каузацией) состояния и обнаружить, что в этом случае мы имеем дело с двумя весьма различными типами стативности. Для объяснения второго, "сложного" типа Л. Пилкканен привлекает введенное в [Levin, Rappaport Hovav 1995] разграничение между внутренней и внешней каузацией и показывает, что в анализируемом случае представлена первая.

Основной задачей статьи Дж. Пустейовского "События и семантика оппозиций" ("Events and semantics of oppositions") является не столько анализ неизвестных фактов, сколько преодоление проблем, связанных с уже установленными. Автор "Генеративного лексикона" [Pustejovsky 1995] на этот раз предлагает полную и непротиворечивую теорию структуры события, которая должна стать компонентом семантического описания естественного языка и которая позволяет преодолеть слабость предшествующих теорий. Примером явления, которое объяснялось неудовлетворительно и которое нашло адекватное истолкование в новой теории Дж. Пустейовского, являются предложения типа *Джон смешал сухое молоко с водой*. Проблема состоит в том, что молоко обладает свойством СУХОЕ только до завершения события 'смешать'; после завершения события применение предиката СУХОЙ к молоку создает ложное утверждение. Не вдаваясь в технические детали теории, которые подробно изложены в статье, приведем пример предлагаемого семантического представления, которое, как показывает автор, позволяет эксплицитно выразить, какие свойства и у каких партиципантов сохраняются либо меня-

ются при осуществлении события. Например, предложение Mary cleaned the table 'Мэри очистила стол' получает представление на рис. 3.

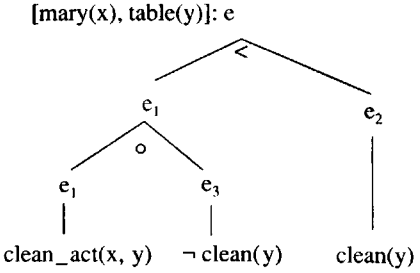


Рис. 3.

Как видно из рис. 3, данное представление утверждает, что событие e, участниками которых являются Мэри и стол, состоит из двух подсобытий, e_1 и e_2, одно из которых предшествует другому во времени (символ <); e_2 представляет собой результирующее состояние 'быть чистым', в которое переходит пациенс. Событие e_1, в свою очередь, состоит из двух подсобытий e_1 и e_3, одно из которых представляет собой деятельность по очистке стола, осуществляемую Мэри, а второе – состояние стола 'не быть чистым'; e_1 и e_3 пресекаются во времени (символ °).

В исключительно краткой – десятистраничной – статье Б. Парти «Некоторые замечания об использовании понятия "событие"» («Some remarks on the linguistic uses of the notion of "event"») – перечисляются и комментируются основные содержательные проблемы, которые возникали по мере экспансии понятия "событие" в лингвистическую (формальную) семантику. Б. Парти прослеживает эволюцию взглядов на события как особый онтологический тип с конца 1960-х по конец 1990-х годов – с того момента как Д. Дэвидсон [Davidson 1967] предложил дополнить модели, используемые для интерпретации естественно-языковых выражений, особой разновидностью сущностей – событиями.

Получив онтологический статус наряду с более привычными для лингвистов и логиков индивидами, события со временем завоевали среди семантистов большую популярность. Многие вопросы, тем не менее, остались на повестке дня. Что обозначают глаголы, глагольные группы и клаузы – события или предикаты над событиями? Если сравнивать именные и глагольные выражения, имея в виду, что общее имя обозначает множество (тип <e, t>), а именная группа может, среди прочего, обозначать либо индивид (тип <e>), либо множество множеств (тип <<e, t> t>), на что больше похожа, например, глагольная группа? Обозначает ли она событие или множество событий? Как в точности осуществляется наречная модификация выражений, которые обозначают множества событий? Имея в виду, что модификация может быть рекурсивной, когда результат одной модификации является входом для другой (как, например, в случае *write a letter every day for two weeks every summer for ten year* 'в течение десяти лет каждое лето в течение двух недель писать письмо каждый день'), как эксплицитно и формально описать ее семантический механизм? Наконец, до какой степени идея о том, что некоторые события имеют сложную структуру, предполагает, что такой же должна быть и структура описания этих событий? Если мы знаем, например, что событие типа 'открыть' предполагает наличие такого подсобытия, как деятельность агенса, означает ли это, что и в нашем анализе 'открыть' непременно должно присутствовать не менее двух семантических компонентов? Можно ли найти эмпирический ответ на такие вопросы и если можно, то какого рода факты следует принять к рассмотрению?

Отвечая на эти вопросы, Б. Парти подводит читателя к последней странице этой превосходной книги. И завершить настоящую рецензию мы позволим себе ее словами: "Многие нерешенные вопросы оставались и остаются, но стало совершенно ясно, как много можно достичь, собрав группу настолько разных исследователей для обсуждения всех этих тесно связанных между собой проблем".

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Тестелец 2001 – *Я.Г. Тестелец*. Введение в общий синтаксис. М., 2001.

Davidson 1967 – *D. Davidson*. The logical form of action sentences // The logic of decision and action / Ed. by N. Rescher. Pittsburgh, 1967.

Hale, Keyser 1993 – *K. Hale, S.J. Keyser*. On argument structure and the lexical expression of syntactic relations // The view from building 20 / K. Hale, S.J. Keyser (eds.). Cambridge (Mass.), 1993.

Hale, Keyser 2002 – *K. Hale, S.J. Keyse*r. Prolegomena to a theory of argument structure. Cambridge (Mass.), 2002.

Krifka 1989 – *M. Krifk*a. Nominal reference, temporal constitution and quantification in event semantics // Semantics and contextual expression / R. Bartsch, J. van Benthem, P. van Emde Boas (eds.). Dordrecht, 1989.

Krifka 1992 – *M. Krifka*. Thematic relations as links between nominal reference and temporal

constitution // Lexical matter / I. Sag, A. Szabolsci (eds.). Stanford, 1992.
Krifka 1998 – *M. Krifka*. The origins of telicity // Events in grammar / Ed. by S. Rothstein. Dordrecht, 1998.
Levin, Rappaport Hovav 1995 – *B. Levin, M. Rappaport Hovav*. Unaccusativity. At the syntax-lexical semantics interface. Cambridge (Mass.), 1995.
Parsons 1990 – *T. Parsons*. Events in the semantics of English. A study in subatomic semantics. Cambridge (Mass.), 1990.
Pustejovsky 1995 – *J. Pustejovsky*. The generative lexicon. Cambridge (Mass.), 1995.
Rappaport Hovav, Levin 1998 – *M. Rappaport Hovav, B. Levin*. Building verb meaning // The projection of arguments: Lexical and compositional factors / M. Butt, W. Geuder (Eds.). Stanford, 1998.
Verkuyl 1999 – *H.J. Verkuyl*. Aspectual issues. Studies in time and quantity. Stanford, 1999.

С.Г. Татевосов

S. Cristofaro. **Subordination.** Oxford: Oxford University press, 2003. xvi + 055 p.

Рецензируемая книга, название которой лучше всего перевести на русский язык как "Сложноподчиненное предложение", является результатом многолетних исследований итальянского лингвиста С. Кристофаро (университет г. Павиа). В своем первоначальном варианте данное сочинение было диссертацией, защищенной в 1998 г. Оно представляет собой типологическое исследование сложноподчиненного предложения на обширной выборке из 80 языков.

Рассмотрение сложноподчиненного предложения как единого объекта является действительно новаторским. Традиционно обстоятельственные предложения (adverbial clauses), относительные предложения (relative clauses) и конструкции с сентенциальными актантами (complement clauses) не рассматриваются как части одного целого, функционирующего по единым принципам. Если они и оказываются объединенными, то лишь формально в рамках раздела "Сложноподчиненное предложение" описательных грамматик, но никак не в теоретических трудах: ср. написанные разными авторами и никак не связанные между собой разделы в [Shopen 1985] или просто отдельные сочинения по обстоятельственным предложениям [Haspelmath 1995] и [Kortmann 1997], относительным предложениям [Lehmann 1984], конструкциям с сентенциальными актантами [Givón 1980; Koptjevskaja-Tamm 1993; Ransom 1986] и т.п.

Таким образом, данное исследование по праву можно назвать первой попыткой построения исчерпывающего описания и анализа сложноподчиненного предложения. Сразу же стоит сделать оговорку по поводу возможной путаницы терминов: дело в том, что в англоязычной лингвистической традиции нет термина, эквивалентного русскому "сложноподчиненное предложение". Похожее на первый взгляд subordinate clause, в действительности, относится не ко всему предложению, а лишь к зависимой клаузе: "сложноподчиненное предложение" состоит из main clause и subordinate clause. Вдобавок, "сложноподчиненными" называются в русской лингвистической традиции только такие предложения, зависимая клауза которых является финитной. Так, предложения (1а) и (2а) считаются "сложноподчиненным", а предложения (1б) и (2б) – нет. Однако во **всех** этих предложениях имеются subordinate clauses.

(1а) *Вася напомнил всем о девочке*, [*которая ушла*]$_{\text{финитная клауза}}$.
(1б) *Вася напомнил всем об* [*ушедшей*]$_{\text{причастная клауза}}$ девочке.
(2а) [*Когда Вася гулял в саду*]$_{\text{финитная клауза}}$, *он увидел Машу.*
(2б) [*Гуляя в саду*]$_{\text{деепричастная клауза}}$, *Вася увидел Машу.*

Книга состоит из 11 глав и внушительного приложения, по-настоящему бесценного для лингвистов, интересующихся сложноподчиненным предложением, но полезного и для типологов любого профиля. Главы 1–4 являются, по сути, вступительными: они посвящены теоретическим предпосылкам работы, понятию "subordination", параметрам для типологического исследования сложноподчиненного предложения, методологии составления выборки и построения импликативных иерархий. В главах 5–8 рассматриваются основные виды сложноподчиненных предложений. Эти главы являются эмпирической базой для того функционально-когнитивного портрета "subordination", который будет предложен в главах 9–10. Глава 11 подводит итоги и намечает те теоретические следствия, которые может иметь данная работа для функциональной лингвис-

тики в целом. Представим кратко основное содержание каждой главы.

В главе 1 определяется предмет исследования, цель и методы. Читатель узнает о том, что основным эмпирическим результатом работы окажется набор импликативных иерархий, связывающих различные параметры сложноподчиненного предложения. Особое внимание уделяется функционально-типологическому подходу (в рамках которого проводится исследование), в частности, изложению его объяснительной базы. Этот подход содержательно противопоставляется формальному, однако автор не упоминает никаких конкретных направлений формальной лингвистики, споря, в некоторым смысле, с невидимыми врагами. Нельзя также не заметить, что, представляя функционально-типологический подход, С. Кристофаро опирается почти исключительно на те основополагающие труды в данной области, которые были изданы в 80-х – начале 90-х годов. Конечно, именно в тот период данное направление сформировалось как нечто более или менее цельное, но отсутствие ссылок на более современные работы выглядит несколько странным. Хочется верить, что это связано с тем, что диссертация автора была написана в 1998 г., т.е. за 5 лет до выхода в свет рецензируемой книги, а не с тем, что данное направление не дало за последние 10 лет практически ни одного заметного труда. Как кажется, последнее все же не соответствует действительности, хотя у человека, не очень хорошо знакомого с функциональной лингвистикой, при чтении данного раздела подобное ощущение, к сожалению, может возникнуть.

Уже в первой главе становится понятно, что для С. Кристофаро функциональный подход не просто один из многих, не просто тот, который она выбрала для решения данной задачи, а, так сказать, единственно правильный. Более того, в дальнейшем у читателя, который придерживается несколько иной точки зрения (или, возможно, даже той же самой, но не столь радикальной), не раз возникнет ощущение, что немалая часть исследования посвящена единственной цели – доказать, что функциональный подход следует предпочесть всем остальным. Некоторая комичность ситуации заключается в том, что обычно такого рода упреки слышны как раз от "функционалистов" в адрес "формалистов": именно у последних имеется изначально сформулированная теоретическая система, которая проверяется на материале конкретного явления, возможно, модифицируясь и затем вновь утверждаясь в своей незыблемости. "Функционалисты" же, не имея единой теоретической системы, т.е. объединенные скорее лишь некоторыми общими исходными допущениями, обычно не занимаются в своих конкретных работах пропагандой этих допущений, будучи сконцентрированы собственно на предмете исследования.

На практике же, к сожалению, такая уверенность в преимуществах выбранного подхода нередко оборачивается у автора, во-первых, немотивированным отказом от тех вариантов анализа, которые не приводят к ожидаемой победе функционального объяснения над всеми прочими, а во-вторых, исключением из объекта исследования тех явлений, анализ которых мог бы привести к другим выводам (например, нерестриктивных относительных предложений или синтетических каузативных конструкций). Все это оказывается тем более заметным, что в большинстве других случаев С. Кристофаро крайне осторожно относится к возможным альтернативным вариантам анализа и определениям предмета исследования (этой проблеме посвящена полностью глава 2), аккуратно и убедительно объясняя в каждом конкретном случае, почему они оказываются неприемлемыми.

Глава 2 посвящена понятию "subordination". Сначала автор излагает тот подход, который господствует в современной лингвистике, а затем предлагает свой, существенно отличный от представленного. Проблема всех определений "subordination" состоит, на взгляд С. Кристофаро, в том, что они оперируют морфосинтаксическими критериями. Таковыми являются, во-первых, зависимость одной клаузы от другой (dependency), т.е. невозможность зависимой предикации быть употребленной без главной, во-вторых, вставление одной клаузы в другую (clausal embedding), проявляющееся в ограничениях на линейный порядок, на вынос клаузы (clause extraposition) и на способы установления референции. Автор вполне убедительно показывает, насколько несовершенен каждый из этих критериев, особенно при желании использовать их для типологического исследования, т.е. для сравнения явления "subordination" в разных языках. Таким образом, становится очевидной необходимость выработать другие критерии определения сложноподчиненного предложения, принципиально не опирающиеся на морфосинтаксические параметры. Таковыми оказываются концептуально-когнитивные критерии, в частности те, о которых говорится в работах [Langacker 1987; 1991; Lambrecht 1994]: противопоставление между профилем (profile) и базой (base), между ассерцией и не-ассерцией. В этом случае определение понятия "subordination" звучит следующим образом: "Под сложноподчиненным предложением будет пониматься такая ситуация, когда между связанными

положениями дел (ПД) установлена когнитивная асимметрия – такая, что профиль одной из ситуаций (т.е. главного ПД) перекрывает профиль другой (т.е. зависимого ПД). Это эквивалентно утверждению о том, что зависимое ПД является (прагматически) не-ассертивным, в то время как главное ПД – (прагматически) ассертивным" (с. 33). Очевидно, что определенное таким образом явление существует во всех языках (в отличие, например, от clause embedding).

Это несколько громоздкое определение, в действительности, крайне просто применять на практике. Для (не)отнесения некоторого предложения к сложноподчиненным оно проверяется различными тестами на ассертивность, например, тестом на отрицание. Если при отрицании всего предложения ('неверно, что S') отрицаются оба ПД, то предложение не признается сложноподчиненным; однако если отрицается только одно из ПД, то все предложение признается сложноподчиненным, а это ПД – главным (второе ПД, соответственно, зависимым). Ср. русские предложения (3) и (4): при отрицании каждого из них [(5) и (6), соответственно] части этих предложений отрицаются по-разному. Из предложения (5) следует (7а), но не (7б): про ситуацию (7б) нам неизвестно, имела она место или нет (именно поэтому автор предлагает говорить о противопоставлении "ассерция vs. не-ассерция", а не "ассерция vs. презумпция"). Однако из предложения (6) следует и (7а), и (7б). Таким образом, (3) является сложноподчиненным предложением, а (4) – нет.

(3) *Когда включилась сирена, грабитель убежал.*
(4) *Включилась сирена, и грабитель убежал.*

(5) *Неверно, что (когда включилась сирена, грабитель убежал).*
(6) *Неверно, что (включилась сирена, и грабитель убежал).*

(7а) *Грабитель не убежал.*
(7б) *Сирена не включилась.*

Возможно, эта операция оказывается слишком "надуманной" для определения различий между русскими предложениями (3) и (4), однако С. Кристофаро приводит немало убедительных примеров из разных языков, для которых подобные тесты дают результаты, не совпадающие с теми, что ожидаются на основе морфосинтаксической структуры. Единственным неизбежным недостатком предложенного метода оказывается слишком большая опора на английский язык и, возможно, временами преувеличенное доверие к автору грамматического описания. Действительно, при работе с другими языками информация для данного исследования берется, в большинстве случаев, из грамматических описаний, следовательно, применение непосредственных тестов оказывается невозможным. В таком случае, автор предлагает исходить из английского перевода данного предложения (подавляющее большинство грамматических описаний, используемых при типологическом исследовании, написано на английском) и именно к нему применять тесты на ассертивность. Разумеется, при таком подходе необходимо быть уверенным в том, что автор грамматического описания старался максимально отразить в переводах примеров значение соответствующего предложения.

Подытоживая все сказанное, нельзя не обратить внимание на то, что подобное чисто функциональное определение предмета исследования является действительно уникальным и открывает перед автором необозримые возможности. Таких масштабных исследований, последовательно проведенных в рамках установки "от функции к форме", существует в современной лингвистике не так уж много, а в области сложного предложения их не существует вовсе. К сожалению, приходится отметить, что дальнейшее чтение рецензируемой книги несколько разочаровывает отступлениями от этого величественного плана. Так, например, в главе 4 ("Конструкции с сентенциальными актантами") мы узнаем, что С. Кристофаро исключает (никак это не мотивируя) из объекта исследования такие случаи, когда сложноподчиненное предложение выражено средствами одной предикации, т.е. предложением с одним глаголом и соответствующими аффиксами при нем (модальными, фазовыми, желательными, каузативными и т.д.). Тем не менее очевидно (и автор этого не отрицает!), что подобные предложения проходят тест на ассертивность как сложноподчиненные.

В главе 3 обсуждается набор параметров, который будет использоваться для описания и классификации способов, имеющихся в распоряжении языков мира, для кодирования зависимых ПД. Хотя это не утверждается эксплицитно, параметры задаются на уровне клаузы, т.е. предполагается, что ПД всегда выражается именно клаузой. Этому ограничению, однако, не дается никакого объяснения, и лишь из дальнейшего изложения читатель понимает, что предложения типа *Петя радуется весне / приходу весны* не рассматриваются, хотя они и удовлетворяют определению, приведенному выше.

Параметры клаузы, оформляющей зависимое ПД, делятся на относящиеся к предикату и относящиеся к его участникам. Для первых предлагается воспользоваться не традиционным разграничением на финитные vs. нефинитные формы, а предложенным в [Stassen 1985] делением форм зависимого ПД на равновесные (balancing) и пониженные (deranked). В качестве точки отсчета здесь и далее используется независимое декларативное предложение (оставим пока в стороне возникающие у читателя вопросы о том, как именно в различных языках отличать декларативные предложения от недекларативных, например, оптативных). Следовательно, "равновесная" стратегия оформления зависимого ПД имеет место, если его глагол выглядит так, как может выглядеть глагол независимого декларативного предложения. Если же глагол зависимого ПД имеет форму, невозможную в таком предложении, то имеет место стратегия "понижения". Так, например, в (1а)–(2а) наблюдается равновесная стратегия, а в (1б)–(2б) – стратегия понижения. Последняя может возникать как за счет невыражения тех или иных грамматических категорий [например, наклонения в (1б), наклонения, лица и числа в (2б)], так и за счет использования специальных глагольных форм (ср., например, романский субъюнктив или германский конъюнктив). Далее поочередно рассматриваются оба случая для всех тех грамматических категорий, которые могут вовлекаться в это противопоставление: время, аспект, наклонение, личное согласование, падеж или предлоги / послелоги.

К параметрам, связанным с оформлением участников зависимого ПД, относится модель ролевого кодирования (alignment pattern – например, аккузативная, эргативная и т.д.), опущение (= невыражение) аргументов и кодирование аргументов как посессоров / сирконстантов. Как и в предыдущем случае, значение каждого из этих трех параметров сравнивается с его значением в независимом декларативном предложении.

В целом, подход к языковому оформлению зависимого ПД, используемый автором в этой главе и далее, можно назвать подчеркнуто не-синтаксическим. Речь идет именно об оформлении тех или иных элементарных единиц теми или иными грамматическими категориями, а не о структуре клаузы зависимого ПД или, например, о согласовании главного предиката по одному из аргументов зависимого.

Глава 4 имеет достаточно технический характер: в ней описываются принципы составления языковой выборки для данного исследования и логические правила построения импликативных обобщений (implicational generalizations).

Главы 5–7, которые посвящены описанию разных типов сложноподчиненного предложения, т.е. сентенциальных актантов (complement relations), обстоятельственных предложений (adverbial relations) и относительных предложений (relative relations), построены по единой схеме. Сначала описываются основные типы данных предложений: так, конструкции с сентенциальными актантами классифицируются по типу матричного предиката, обстоятельственные предложения – по отношениям между главным и зависимым ПД (например, цель, временное предшествование и т.д.), относительные – по синтаксической роли релятивизируемой именной группы. Далее в главах 5–6 приводится семантический анализ соответствующих сложноподчиненных предложений. Их основные типы сравниваются по таким параметрам, как:

– структурный уровень[1] главного ПД;

– предопределенность (predetermination) значения тех или иных параметров зависимого ПД самим типом отношений между главным и зависимым ПД;

– степень семантической интеграции главного и зависимого ПД.

Приведем пример конструкций с сентенциальными актантами при предикатах знания (*знать, понимать, осознавать* и др.). Утверждается, что они находятся на пропозициональном структурном уровне; временная референция, аспектуальное значение и набор участников зависимого ПД не предопределены, однако предопределено значение наклонения (изъявительное); семантическая интеграция между главным и зависимым ПД отсутствует (в отличие, например, от случая модальных предикатов).

Следующий раздел в каждой главе посвящен возможностям языкового кодирования того или иного сложноподчиненного предложения, наблюдаемым в языках выборки. Все они описываются в терминах параметров, введенных в главе 3. После этого автор анализирует имеющиеся связи между значениями морфосинтаксических параметров, рассмотренными выше, и типом соответствующего сложноподчиненного предложения. По каждому параметру строятся

[1] Речь идет об особом, сугубо внутритеоретическом понятии функционализма – "level of clause structure", см. подробнее [Dik 1989; 1997a; 1997b; Hengeveld 1989; 1990; Siewierska 1991].

иерархии и предпринимается попытка их объяснить с использованием результатов описанного выше предварительного семантического анализа. Ср., например, (8) и (9):

(8) Иерархия для параметров понижения и выраженности аргументов: конструкции с сентенциальными актантами (the complement deranking-argument hierarchy):

модальные, фазовые предикаты > *манипулятивы* ('make', 'order'), *предикаты желания* > *предикаты восприятия* > *предикаты знания, пропозиционального отношения, речи*

(9) Иерархия для параметров понижения и выраженности аргументов: относительное предложение (the relative deranking-argument hierarchy):

A, S > O > Indirect Object, Oblique

Завершается каждая из глав 5–7 уникальным эмпирическим разделом. Сначала аккуратно приводятся конкретные цифры, показывающие, в какой степени различные пункты всех выведенных иерархий являются универсальными, а именно:

– указывается количество языков, информация по которым доступна для каждой пары сравниваемых пунктов;

– количество тех из них, в которых значения данного параметра неодинаковы (т.е. можно говорить о сравнении);

– количество тех языков, в которых значения данного параметра неодинаковы и противоречат выводимому обобщению, т.е. контрпримеры к данной иерархии.

Далее приводятся многочисленные таблицы, в которых для каждого из языков выборки указывается значение каждого параметра. Нельзя не подчеркнуть очевидную ценность подобного рода таблиц для лингвистов. По сути, автор предоставляет в наше распоряжение те данные, на основе которых было проведено исследование и построена теоретическая система. Разумеется, мы можем ими воспользоваться для проверки приводимых импликативных иерархий, однако более значимым кажется тот факт, что мы можем воспользоваться ими и в собственных целях – например, для выявления не отраженных в книге закономерностей (конечно, в рамках того набора грамматических категорий, которые учитываются автором). Здесь же стоит упомянуть чрезвычайно объемную таблицу в Приложении, в которой для всех языков выборки приводятся все конструкции, которые могут использоваться для выражения зависимых ПД, причем для каждой из них указывается значение всех параметров, рассматриваемых автором. Безусловно, все это свидетельствует о достаточно редкой в лингвистике полной "открытости" проведенного исследования для любого специалиста, который им заинтересуется.

Глава 8 посвящена сравнению трех типов сложноподчиненных предложений. Кажется, что читателю предоставляется выбор между тем, прочитать ли про каждый из них по отдельности в главах 5–7 или же, для экономии времени, прочитать суммирующую главу 8. Читать обе эти части, в действительности, не обязательно: речь идет просто о кратком повторении содержательных выводов глав 5–7 и их сопоставлении. Приходится констатировать, правда, что это сопоставление оказывается не вполне удачным: достаточно сложно пробраться через бесконечные указания на то, какой параметр какого типа предложений какую позицию занимает. Отметим, впрочем, что, возможно, подобную информацию и нельзя было изложить лучше ввиду ее объективной технической сложности, однако в таком случае можно было бы просто ограничиться таблицами и схемами.

Глава 9 ("Кодирование сложноподчиненных отношений: функциональные мотивации") является центральной в рецензируемой книге, т.к. именно из нее мы узнаем, к каким результатам привело это масштабное типологическое исследование. Сразу отметим, что в главе 10 приводятся, на наш взгляд, не менее интересные результаты принципиально другого типа, однако сама С. Кристофаро считает их скорее второстепенными. Итак, основываясь на выводах глав 5–8, т.е. на импликативных иерархиях и семантическом анализе, полученных для каждого вида сложноподчиненных предложений, автор приходит к выводу, что языковое кодирование зависимых ПД отражает их когнитивный статус.

Оказывается, что языки мира последовательно концептуализуют зависимые ПД не так, как обычные ПД: они концептуализуются не как полноправные **процессы** (термин, определяемый по [Langacker 1987a; 1987b; 1991], как "сущности, которые воспринимаются последовательно", т.е. представляют собой некоторую временную цепочку), а скорее как **вещи** или **свойства**. Это иконически отражается в маркировании предиката зависимого ПД именной морфологией и в кодировании участников как посессоров. Использование в сложноподчиненных предложениях специальных форм для категорий времени, аспекта, наклонения и лично-числового согласования отражает тот факт, что зависимое ПД имеет когнитивный статус, отличный от стандартного. Отсутствие процессуальных свойств также объясняет часто встречающееся неразличение категорий времени, аспекта, наклонения в за-

висимых ПД, т.к. эти категории характерны как раз для "процессов", но не для "вещей". Автор также указывает на то, что многие (хотя и не все), свойства зависимых ПД можно объяснить такими классическими функциональными принципами, как синтагматическая и парадигматическая экономия, иконичность независимости и иконичность расстояния (ср. отсутствие в клаузе зависимого ПД грамматической информации в том случае, когда она эквивалентна по своему значению информации главного ПД).

И наконец, глава 10 имеет дело с корреляциями между конкретными морфосинтаксическими явлениями. Здесь рассматриваются обнаруженные в ходе исследования взаимосвязи – как импликативные, так и частотные – между теми отдельными параметрами, по которым оценивались различные типы сложноподчиненных предложений. Так, например, оказалось, что если в зависимом ПД не выражаются аргументы, то не выражаются и время, аспект, наклонение, или что специальные формы для выражения аспекта встречаются среди языков выборки намного чаще, чем специальные формы для выражения времени (при этом последние встречаются чаще, чем специальные формы для выражения наклонения). Не имея возможности привести здесь все 12 обнаруженных закономерностей, подчеркнем лишь их значимость для широкого круга лингвистов по сравнению с крайне важными, но ориентированными на конкретную теорию выводами главы 9.

В целом, выводы главы 10 производят более благоприятное впечатление, чем выводы предыдущей главы. Дело в том, что основному противопоставлению между "процессами" и "вещами", подводящему в главе 9 итог всему исследованию, предшествовало немалое количество достаточно общих утверждений, основанных не на конкретном языковом материале, а на представлениях автора об устройстве мира. Так, например, нам осталось непонятным противопоставление между "семантической предопределенностью", "семантической интеграцией" и "семантической взаимосвязанностью (interconnection)": эти понятия нигде не были четко определены, однако активно использовались. Можно упомянуть и такие недочеты изложения, как обращение к "границам между связанными ПД" (boundaries between the linked state of affaires, с. 120), появляющееся в тексте без указания на то, каким образом их можно определить, или неаргументированное (хотя и спорное) утверждение, что "ПД, представляющие объект требований, желаний или актов восприятия, имеют место независимо от самих этих требований, желаний и актов восприятия" (с. 121), и ряд других. В таких случаях возникает ощущение, что автор, желая сделать свое исследование функционально-когнитивной природы сложноподчиненного предложения предельно четко выстроенным и аргументированным, пытается совершить невозможное и достичь тех результатов, которые, как кажется, в принципе недостижимы в рамках функционально-когнитивного подхода, существующего, в общем-то, для других целей.

Итак, рецензируемая книга ставила перед собой новые и крайне актуальные для современной лингвистики задачи: рассмотреть с единой точки зрения явления функционально близкие, но по тем или иным причинам разведенные научной традицией. Безусловно, она эти задачи решила: теперь, как кажется, в рамках функционального подхода тему сложноподчиненного предложения можно считать в целом исчерпанной. Более того, даже читателя, чьи интересы прямо не связаны с данной проблематикой, рецензируемая книга может немало порадовать многочисленными интересными наблюдениями, которые встречаются почти на каждой странице книги и ценность которых нередко выходит далеко за рамки данного исследования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Dik 1989 – *S.C. Dik.* The theory of functional grammar. Dordrecht, 1989.

Dik 1997a – *S.C. Dik.* The theory of functional grammar. Pt. 1. The structure of the clause (2-nd revised edition) / Ed. by K. Hengeveld. Berlin; New York, 1997.

Dik 1997b – *S.C. Dik.* The theory of functional grammar. Pt. 2. Complex and derived constructions (2-nd revised edition) / Ed. by K. Hengeveld. Berlin; New York, 1997.

Givón 1980 – *T. Givón.* The binding hierarchy and the typology of complements // Studies in language. 4, 1980.

Haspelmath 1995 – *M. Haspelmath.* The converb as a cross-linguistically valid category // M. Haspelmath, E. König (eds.). Converbs in cross-linguistic perspective. Berlin; New York, 1995.

Hengeveld 1989 – *K. Hengeveld.* Layers and operators in functional grammar // Journal of linguistics 25. 1989.

Hengeveld 1990 – *K. Hengeveld.* The hierarchical structure of utterances // J. Nuyts, A.M. Bolkestein, C. Vet (eds.). Layers and levels of representation in language theory: a functional view. Amsterdam; Philadelphia, 1990.

Koptjevskaja-Tamm 1993 – *M. Koptjevskaja-Tamm.* Nominalizations. London; New York, 1993.

Kortmann 1997 – *B. Kortmann*. Adverbial subordinators: a typology and history of adverbial subordinators based on European languages. Berlin; New York, 1997.

Lambrecht 1994 – *K. Lambrecht*. Information structure and sentence form. Cambridge, 1994.

Langacker 1987 – *R.W. Langacker*. Foundations of cognitive grammar. V. 1. Theoretical prerequisites. Stanford, 1987.

Langacker 1987a – *R.W. Langacker*. Nouns and verbs // Language 63. 1987.

Langacker 1991 – *R.W. Langacker*. Foundations of cognitive grammar. V. 1. Descriptive applications. Stanford, 1991.

Lehmann 1984 – *C. Lehmann*. Der Relativsatz. Tübingen, 1984.

Ransom 1986 – *E.N. Ransom*. Complemetation: its meanings and forms. Amsterdam; Philadelphia, 1986.

Shopen 1985 – *T. Shopen* (ed.). Language typology and syntactic description. V. 2. Complex constructions. Cambridge, 1985.

Siewierska 1991 – *A. Siewierska*. Functional grammar. London; New York, 1991.

Stassen 1985 – *L. Stassen*. Comparison and universal grammar. Oxford, 1985.

О. В. Ханина

Основы африканского языкознания: Глагол / Под ред. В.А. Виноградова, И.Н. Топоровой. М.: Восточная литература, 2003. 647 с.

Рецензируемая коллективная монография подготовлена главным образом специалистами Отдела африканских языков Института языкознания РАН (Москва), с участием исследователей из других лингвистических центров Москвы и Санкт-Петербурга. Она является третьим (и самым объемным) выпуском в серии "Основы африканского языкознания"; предыдущие два были посвящены именным категориям и морфемике. Жанр этой серии не учебный (как можно было бы предполагать, исходя из названия). Не являлось целью составителей и дать какой-то исчерпывающий обзор глагольных систем во всех африканских языках – такая задача была бы трудновыполнимой в рамках одного (даже очень увесистого) тома, ведь число языков континента превышает две тысячи.

Статьи тома можно условно разделить на две группы: (1) типологические обзоры; (2) описания глагольных систем или фрагментов таких систем отдельных языков или объединений родственных языков.

К числу типологических обзоров относятся статьи В.А. Плунгяна, А.Ю. Урманчиевой и, в какой-то мере, И.С. Аксеновой.

В своих сравнительно небольших, но очень емких "Заметках к типологии" В.А. Плунгян ухитряется затронуть едва ли не все ключевые моменты, определяющие специфику африканских глагольных систем. С определенными оговорками можно считать, что автор делает проекцию соответствующих разделов своего учебника "Общая морфология" на африканский материал – что, впрочем, нисколько не умаляет ее значимости: в учебнике африканский материал представлен достаточно скромно, и такое проецирование потребовало осмысления и интерпретации огромного количества данных.

Исходя из справедливого утверждения, что при типологическом анализе ареальный фактор оказывается более существенным, чем генетическое родство (особенно когда речь идет о родстве дальнем), В.А. Плунгян выделяет в Тропической Африке четыре ареала, не всегда совпадающие с границами языковых семей и макросемей: Южно-Центральный (языки банту и койсанские); Восточная Африка (восточносуданские, кушитские, омотские, эфиосемитские языки); Северно-Центральная Африка (адамауа, убангийские, центрально-суданские, сахарские языки); Западная Африка (гур, ква, кру, бенуэ-конго, манде, иджоидные языки, сонгай и др.).

Особое внимание уделяется преобладанию в Африке "линейных" глагольных систем (в противоположность "многомерным"), т.е. таких, для которых характерно кумулятивное выражение всех грамматических категорий одного показателя, не членимого в плане выражения. Иначе говоря, в таких системах вид–время–наклонение не образуют отдельных парадигм. Автор выделяет еще одну особенность африканских языков – наличие обширной "грамматической периферии", т. е. выражение многих видовременных и модальных значений разнообразными слабо грамматикализованными оборотами, не образующими парадигм.

Интересны рассуждения В.А. Плунгяна относительно объема класса глаголов в африканских языках – по его мнению, глаголов здесь часто больше, чем в языках европейского типа. Это относится, во-первых, к изолирующим языкам, где одна и та же основа может выступать и в глагольной, и в именной функции (автор не эксплицирует своей интерпретации, но имплицитно исходит из того, что в таких случаях речь идет о разных употреблениях

одной и той же лексемы – что представляется не бесспорным). Во-вторых, речь идет о статусе лексем, выражающих значения свойств и состояний, которые во многих африканских языках ведут себя, с точки зрения морфосинтаксиса, как глаголы.

Основная часть статьи посвящена анализу грамматической семантики глагола – типам актантной деривации, залогам, видо-временным и модальным значениям. Отмечу лишь одну неточность: говоря о том, что "развитые системы глагольного словообразования – очень яркая черта всех африканских языков (точнее, всех тех, где имеется какая-то аффиксальная морфология)" (с. 21), следовало бы исключить из этого числа языки манде, в которых морфологическая глагольная деривация крайне бедна или отсутствует – при значительно более богатом именном словообразовании; впрочем, по-видимому, в статье имеется в виду только глагольная морфология. При обсуждении проблематики пассива было бы интересно также проанализировать эту категорию в языках манден, где она выражается чисто синтаксически и является при этом совершенно регулярной; в семантическом отношении это – "чистый пассив".

В статье А.Ю. Урманчиевой анализируются особенности морфологии и семантики отрицательных глагольных форм в различных африканских языках. В ситуации широко распространенной асимметрии утвердительной и отрицательной подсистем (которую, очевидно, следует считать скорее нормой, чем исключением – причем не только в Африке), автор пытается установить закономерности в их семантическом соотношении. Типичной оказывается редукция видовременных оппозиций в негативе, причем языки проявляют общие тенденции в том, что касается путей нейтрализации семантических оппозиций. Таким образом, полярность оказывается тесно связанной с другими глагольными категориями – видом, временем, наклонением, и эта связь, как показано в статье, имеет убедительное функциональное объяснение.

Обширная статья И.С. Аксеновой дает подробный обзор глагольных систем в языках банту. Она занимает почти четверть всего тома – что, впрочем, отражает удельный вес этой группы (из примерно 2000 африканских языков к банту относятся около 500). Морфологическая структура глагольной словоформы не проявляет большого разнообразия, поэтому основное внимание автор уделяет грамматической семантике. Неудивительно, что при таком количестве языков в глагольных системах банту обнаруживаются чуть ли все теоретически возможные грамматические категории, внушительный инвентарь которых и предстает перед читателем.

Языкам банту посвящены еще три статьи сборника. И.Н. Топорова рассматривает формальные и семантические особенности инфинитива в языках группы С, на которых говорят в обоих Конго. Инфинитив здесь отличается огромным разнообразием форм, причем число различных инфинитивов в одном языке может достигать пяти. Эти формы обычно дифференцированы по семантике: так, простой инфинитив противопоставляется "инвитативному" (зависящему от глагола 'приходить'), "облигативному" (зависящему от глагола 'идти/уходить'), пермиссивному и др.

Глагольную морфологию дабида (зона Е, Кения) всесторонне анализирует И.С. Рябова, используя материал, записанный автором от информанта (к сожалению, правда, без обозначения тонов, хотя этот язык относится к тональным).

В статье А.Д. Луцкова рассматриваются конструкции языка зулу со вспомогательными глаголами, которые составляют обширную грамматическую периферию глагольной системы. Зулу отличается поразительным обилием таких конструкций: в статье упомянуты 60 глаголов, используемых в функции вспомогательных. Это делает видовременную систему очень гибкой, способной выражать самые тонкие различия в значениях, и предоставляет в распоряжение говорящих на зулу богатые стилистические возможности.

Выходя за пределы бантуского ареала, читатель попадает в ареал нигеро-конголезских языков Западной Африки. Этот раздел открывается статьей Д.И. Идиатова "Семантика видовременных показателей в языке бамана". Эта работа (первоначальный вариант которой был опубликован по-французски в парижском журнале "Mandenkan") основана на материалах, собранных по глагольной грамматической анкете Эстена Даля, и значительно дополнена благодаря анализу текстов на этом языке. При том, что язык бамана к числу малоизученных отнести никак нельзя (счет публикаций здесь идет на сотни), работа Д.И. Идиатова является первым серьезным исследованием аспектно-темпоральной системы этого языка, восполняя важную лакуну.

Весьма информативна и статья Н.Р. Сумбатовой о глаголе ландума (атлантическая семья): несмотря на признаваемую автором неполноту материала (объясняемую форс-мажорными обстоятельствами – неожиданным отъездом информанта), она дает целостное представление об изучаемом объекте. Вызывает сожаление только тот факт, что автору не удалось (по вполне объективным причи-

нам) прояснить тональную систему ландума: учитывая, что во многих западноафриканских языках глагольные категории могут передаваться только изменением тонов (а еще чаще тональная морфология дополняет сегментную), нечто подобное может обнаружиться и в ландума.

Большая (почти в 100 страниц) статья А.И. Коваль посвящена морфологическому выражению контрастивности в глаголе пулар-фульфульде. Такая пространность – не прихоть автора: описываемый феномен, хотя и не так уж исключителен в африканских языках (даже среди рассматриваемых в монографии языках он отмечен в ландума и в сахарской группе), в силу своей непривычности часто ускользает от внимания исследователей, и потому его описание во всех деталях необходимо для адекватного понимания сути явления. Дело в том, что в пулар-фульфульде существует несколько парадигм глагольного спряжения, различающихся, кроме выражаемых ими видовременных и модальных значений, также и контрастивной выделенностью одного из глагольных аргументов, самого глагола или отсутствием фокуса контраста. Категория "контрастивность" оказывается тесно переплетенной с другими глагольными категориями. Так, для глагольных форм, маркированных по признаку "контрастивность", характерен упрощенный набор аспектуальных оппозиций. Важной особенностью статьи А.И. Коваль является и привлечение материалов различных диалектов пулар-фульфульде, что придает дополнительный динамизм изложению и делает его объемным. Автора можно упрекнуть разве что в отсутствии глоссирования фразовых примеров, что иногда затрудняет их понимание.

А.С. Аракелова анализирует глагольную систему тене-кан – одного из идиомов догон[1]. Исследование носит предварительный характер, что проявляется не только в ограниченности материала, на котором оно основано, но и в некоторой нечеткости изложения. Так, не вполне понятно, какое отношение имеют заданные таблицей 4 (с. 499) суффиксы деепричастий к приводимому ниже фразовому примеру – при этом неясно также, показатели какого из двух деепричастий (одновременности? предшествования?) представлены в таблице. Суффикс *-ɛ/e*, названный на той же странице "каузативным", на самом деле, судя по приводимым глагольным парам, является скорее инхоативным. Несколько противоречива и трактовка автором категории "вида-времени": вызывает сомнение правомерность выделения времени как самостоятельной категории; здесь речь явно идет об обычном для региона видовом противопоставлении "перфектив ~ имперфектив", причем последний включает в себя хабитуалис и будущее (ср. очень похожую систему в бамана, описанную в статье Д.И. Идиатова). Непонятно, почему автор называет "аналитическими" формы, которые в примерах записываются как слитные (с. 501). Впрочем, несмотря на эти недочеты, публикацию нового диалектного материала по одному из наименее изученных африканских языков (к тому же полученного "из первых рук", непосредственно от носителя) следует всячески приветствовать.

Нило-сахарский раздел открывается статьей Ю.Г. Суетиной, посвященной глаголу сахарских языков главным образом, морфологии. Следует отметить некоторую шероховатость изложения: с. 510 "...языки находятся на разных ступенях социально-культурной лестницы"; с. 511: "мы будем, для большей ясности, называть нынешний первый класс глаголов канури вторым, а нынешний второй – третьим"; с. 518: "префикс стоит под низким тоном" и др. Не вполне понятно, почему автор игнорирует работы по морфологии сахарских языков В.А. Дыбо – лишь одна из них упомянута в сноске на с. 514, но и она не включена в список литературы.

Диалекту гао языка сонгай в сборнике посвящено две статьи. Видовременная система представлена в статье Ф.И. Рожанского; система сонгайских диатез рассматривается Ю.Е. Галяминой в статье "Транзитивность и залог в языке сонгай". Эти обстоятельные, выполненные на хорошем современном уровне описания демонстрируют очень высокую степень типологической близости между сонгай-гао и языками манден (впрочем, уже не раз отмечавшуюся в литературе, в том числе и в работах Ф.И. Рожанского). Сходство наблюдается даже в деталях[2], что позволяет говорить о существовании мощного языкового союза в Западном Сахеле.

---

[1] Получает все большее признание мнение, что догон следует считать не столько языком, сколько особой языковой семьей в составе нигеро-конголезской макросемьи – дистанция между составляющими этот кластер идиомами (особенно периферийными) оказывается очень большой.

[2] Ю.Г. Галямина говорит о более высокой степени лабильности глаголов бамана по сравнению с сонгай, опираясь на описания бамана 20-летней давности. Более поздние описания свидетельствуют о том, что и в этом отношении дистанция между бамана и сонгай невелика.

Семито-хамитский (афразийский) раздел представлен двумя статьями. Исследование В.Я. Порхомовского "Аспект в семито-хамитских языках", на первый взгляд, затрагивает совсем иную проблематику, чем остальные материалы тома – праязыковую реконструкцию. Однако на самом деле тематический разрыв не так уж и велик: именно применение типологического подхода позволяет автору предложить оригинальную реконструкцию прасемитской видовременной морфологии, а проекция этой модели на берберские и чадские языки дает возможность нащупать подходы к реконструкции и для этих ветвей.

Завершает сборник статья О.В. Столбовой о глагольных формах западно-чадского языка кирфи, материал для которой был собран автором в Нигерии в ходе полевых экспедиций. Работу отличает глубокий и тщательный морфологический анализ, который затрагивает и синхронию, и диахронию. Отрадно отметить то, что автор не избегает обращения к супрасегментному уровню, что существенно повышает точность исследования. Несколько менее убедителен бывает анализ значения грамматических форм. Так, вряд ли есть необходимость привлекать экстралингвистические причины для объяснения семантики вида и времени (с. 628–629) – судя по описанию, кирфи обладает достаточно обычной для западноафриканских языков бинарной оппозицией "перфектив ~ имперфектив", неоднократно рассмотренной даже в пределах данного тома. Не очень понятно, какое "залоговое" значение субъюнктива имеет в виду автор (с. 638) – далее в тексте говорится лишь об использовании его в функции показателя зависимой предикации, что не имеет отношения к залогу. Вряд ли есть необходимость и объяснять хаусанским влиянием совмещение у этой формы функций маркера зависимой предикации и "пустого глагольного значения" (иначе говоря, консекутива) – такое совмещение в Западной Африке достаточно тривиально, что говорит о глубинной смысловой близости этих двух функций.

Отрадно отметить, что в авторском составе сборника представлены все поколения российских лингвистов-африканистов, причем научный уровень статей самых молодых из них, как правило, соответствует самым высоким требованиям. Читая эту книгу, убеждаешься, что "кризис в африканистике", о котором так любят говорить некоторые наши коллеги-этнографы и социологи, лингвистику не затронул.

В.Ф. Выдрин

М.Ш. Халилов. **Грузинско-дагестанские языковые контакты.** М.: Наука, 2004. 286 с.

Рецензируемая монография посвящена многоаспектному анализу проблемы, которая до настоящего времени не была объектом пристального внимания дагестановедов, хотя, конечно, нельзя не отметить нескольких попыток выявления результатов контактирования грузинского и некоторых дагестанских языков, в т. ч. цезских, удинского, цахурского и нек. др. В силу этого несмотря на то, что в известном смысле исследование М.Ш. Халилова относится к достаточно популярному жанру контактологических изысканий, предпочтение в этой области отдавалось выявлению и анализу тюркизмов, арабизмов, иранизмов и, наконец, русизмов. В подобных условиях исследование, предпринимаемое для более эксплицитного описания тех результатов грузинско-дагестанских языковых контактов, которые до сих пор не получили целостной адекватной характеристики, а лишь констатировались на уровне разрозненных материалов, представляется нам весьма актуальным.

Немаловажным оказывается и то обстоятельство, что современные тенденции возрождения национальной культуры и языка в ряде случаев сопровождаются стремлением "исправить" историю, опираясь на один-два лексических примера, в связи с чем все больше ощущается необходимость в беспристрастных, основывающихся на достаточно широких материальных свидетельствах научных выводах. Рецензируемая монография является в этом плане весьма информативным и инструктивным трудом, в которой собранный автором лексический материал во многом имеет самостоятельное научное значение. С другой стороны, сама процедура их научного анализа, включающая экстралингвистическое обоснование возможности заимствования, дополняющее целый комплекс собственно лингвистических критериев, а также выявление закономерностей усвоения заимствований с точки зрения фонетики, морфологии и семантики, дает право говорить о полноценных научных результатах проведенного М.Ш. Халиловым исследования. Это же делает рецензируемую работу заслуживающей внимания и в общетеоретическом аспекте, поскольку она опирается на современные идеи о кавказском языковом союзе, на конкретные достижения в области этимологии (в частности, на концепции

Г.А. Климова, В.И. Абаева и других авторитетов в этой области).

Структура монографии определяется многоаспектностью проведенного исследования, потребовавшего изложения его результатов в семи главах и приложениях ("Дагестанские грузинизмы" и "Грузинизмы в языках Кавказа"). Введение в сжатой форме вводит читателя в проблематику работы, ее цели и задачи, методику анализа, теоретические и практические выводы. Здесь же дан довольно исчерпывающий обзор имеющейся в исследуемой области литературы, в котором прослеживается стремление автора не упустить сколько-нибудь важной для раскрытия существа вопроса публикации.

Первая глава ("Из истории грузинско-дагестанских взаимоотношений") знакомит читателя с культурно-историческим фоном грузинско-дагестанских языковых контактов.

Вторую главу ("Из истории изучения языковых контактов на Кавказе") составляет анализ в первую очередь того направления в сфере изучения языковых контактов, которое можно охарактеризовать известным термином "ареальная лингвистика". Автор констатирует ощутимые успехи в исследовании внешних контактов картвельских языков, как правило, выражающиеся в установлении лексических проникновений, датируемых разными периодами. Здесь мы находим характеристику состояния изученности картвельско-иранских, армянско-картвельских, азербайджанско-грузинских, картвельско-абхазско-адыгских и нахско-грузинских контактов. На таком широком фоне становится более отчетливой необходимость уточнения характера грузинско-дагестанского лингвистического взаимодействия, выяснения его роли и места в общей картине межкавказских языковых контактов. Последнее понятие, кстати, не всегда однозначно толкуемое в специальной литературе, также находит в данной главе приемлемую интерпретацию.

В третьей главе ("Общая характеристика грузинско-дагестанских языковых контактов") ставится проблема соотношения генетических и ареальных связей кавказских языков. Думается, что автор в целом верно подходит к ее решению, полагая что решение вопроса о генетическом родстве картвельских и дагестанских языков не снимает с повестки дня вопроса об их ареальных взаимоотношениях. Основным научным достижением данной главы является четкая формулировка о наличии четырех контактных зон с участием картвельских языков, каждая из которых характеризовалась своими особенностями и интенсивностью взаимодействия. Что касается дагестанских языков, то здесь выделяются две контактные зоны: аварско-цезский и южнолезгинский ареалы.

Наиболее значительной в монографии является третья глава "Классификация грузинских лексических элементов в дагестанских языках". Здесь не просто собран лексический материал цезских, аварского и некоторых лезгинских языков (удинского, в меньшей степени цахурского), не только дана его лексико-тематическая классификация, но также дается конкретное экстралингвистическое обоснование для каждой лексико-тематической группы и приводятся соответствующие параллели из других контактировавших с картвельскими языков. Это, безусловно, повышает надежность предлагаемых интерпретаций в целом. Тщательность проработки лексического материала проявляется и в его паспортизации вплоть до конкретного говора. В результате нельзя не согласиться с выводом автора о том, что по своему удельному весу среди заимствований значительное место занимает предметная номенклатура, терминология животного и растительного мира, а также общественно-политические термины.

Уже одно это представляет собой достаточно объемный труд, заслуживающий соответствующего официального признания. Однако автор не ограничивается лексико-тематической классификацией и проводит также структурно-грамматическую классификацию и хронологическую стратификацию выявленных лексем. В этих разделах мы находим не только обобщающие характеристики, но и фактические наблюдения, сделанные в ходе анализа конкретных лексических единиц. При этом автор демонстрирует умение выделять из целого ряда параметров наиболее существенные, способные давать информацию, не видимую "невооруженным глазом". Так, при определении периодов проникновения рассматриваемых лексических единиц в дагестанские языки автор достаточно корректно использует показания фонетического уровня, ср., например, наличие ауслаутного *-ǐ* в дагестанских грузинизмах, что указывает на их древнегрузинский источник. Ряд примеров такого рода можно легко продолжить.

Наибольший интерес в пятой главе работы ("Лексико-грамматическое освоение грузинских лексических элементов"), на наш взгляд, вызывает обращение автора к тем фонологическим структурам грузинского и дагестанских языков, которые обнаруживают определенное различие, что вызывает необходимость предположения соответствующих фонетических процессов. Несколько сложнее обстоит дело с теми процессами, которые, на первый взгляд, не имеют структурной обусловленности. Тем не менее, и здесь М.Ш. Халилову уда-

лось подметить несколько существенных закономерностей, пополнивших список конкретных научных результатов его исследования.

В области морфологии несколько разочаровывает отсутствие закономерностей в распределении имен по классам, однако отрадно заметить и отсутствие стремления у автора подогнать имеющийся материал под априорные схемы. Заслуживающими внимания в рецензируемой работе можно считать и примеры семантического освоения грузинизмов, которые, впрочем, также с трудом поддаются рубрикации, поэтому автору приходится пользоваться традиционной схемой, дифференцирующей полное и частичное изменение значения, расширение и сужение значения.

Шестая глава ("Фонетико-морфологическое влияние грузинского языка на некоторые дагестанские языки") представляется наиболее поисковой и в связи с этим наиболее дискуссионной, хотя желание автора высказать нетрадиционную точку зрения можно только приветствовать. С другой стороны, среди тех фонетических и морфологических явлений в рассматриваемых языках, которые интерпретируются автором как обусловленные грузинским влиянием, я не обнаружил слишком фантастичных предположений: каждое, хотя и с известной долей скептицизма, может быть принято.

В седьмой главе ("Дагестанские лексические элементы в грузинском языке") автор, не будучи картвелистом, вполне справедливо не столько предлагает собственный материал, сколько обобщает накопленный в специальных работах. Все же и здесь находят свое место собственные этимологические находки автора, представляющиеся нам вполне убедительными.

Оценивая рецензируемую работу в целом, следует отметить, что она выполнена достаточно тщательно, с привлечением значительного лексического материала, потребовавшего проштудировать не один десяток словарей различного типа как по грузинскому, так и по дагестанским языкам: толковых, двуязычных, этимологических, диалектных. Поскольку ареальная лингвистика в дагестанском языкознании не имеет пока широкого распространения, монография М.Ш. Халилова может служить в известном смысле стимулом для последующих изысканий в этой области. Этому могут способствовать и адекватно отражающие содержание монографии публикации и автореферат монографии, написанные хорошим научным языком с использованием соответствующей научной терминологии.

Конечно, наряду с отмеченными выше научными достижениями, как и во всякой работе, поднимающей и решающей весьма сложные проблемы, в рецензируемом труде имеются моменты, вызывающие возражения. При этом хочется подчеркнуть, что они касаются не теоретической концепции автора, не используемых им методов и критериев доказательства и т.п., а отдельных конкретных этимологических решений.

Трудно согласиться, в частности, с квалификацией в качестве грузинизмов следующих лексем:

– сомнительным представляется семантический переход "кошка" > "куцехвостая" (бежт. *klamla*, стр. 80). Здесь следовало бы учесть наличие сходной лексемы с данным значением в других дагестанских языках, не демонстрирующей фонетической близости к грузинскому слову, ср. авар. *хъанда*, лезг. *къантIа* и т.п. В лучшем случае, на наш взгляд, здесь можно говорить о контаминации;

– *къути* "ящик, коробка" (стр. 97). Здесь, видимо, автора ввело в заблуждение ауслаутное *-и*, особенно в сопоставлении с азерб. *къуту*. Однако данная лексема имеет иранское происхождение, ср. перс. *къути* (в этом значении и в аналогичной форме слово встречается и в других языках за пределами кавказского региона);

– удин. *паьрдаь* "занавес(ка)", *джаьраь* "прялка" (см. стр. 92, 94) по своему фонетическому облику ближе к азербайджанскому, нежели чем к грузинскому; это же можно сказать об удин. *бибик* "гребень (петуха)", ср. азерб. *пипик* при груз. *бибило* (стр. 82).

Наиболее спорно, конечно, предположение автора о заимствовании некоторых грамматических показателей, в частности показателя мн. числа *-би* и его вариантов (стр. 215), наст. времени на *-с* (стр. 223). На наш взгляд, в обоих случаях имеет место нередкое для многих языков совпадение. Свою трактовку происхождения данных аффиксов мы дали в монографии [Алексеев 1988: 161, 183].

В ряде случаев автор ограничивает круг этимологически тождественных лексем теми языками, для которых можно признать грузинское происхождение этих лексем. Однако более широкое их распространение в других дагестанских языках может свидетельствовать о том, что и приводимые в монографии изоглоссы имеют не грузинский, а иной источник. Так, бежт., гунз., цах. *бали*, цез. *баIли* квалифицируются как грузинизмы и исключаются из ряда с авар. *багIли* и т.п. Между тем фарингализация *aI* в цезском здесь лучше объясняется, если принять за исходный аварский вариант, а не постулировать процесс груз. *а* > цез. *aI* (стр. 87).

На наш взгляд, можно было бы расширить число возможных грузинизмов, например, за счет арч. *кlоб* "платье, одежда" < груз. *кlаба*, что представляет особый интерес, поскольку арчинские грузинизмы в рецензируемой работе не фиксируются; лексема "пила" отмечена также в рут. *гирдабил* и арч. *гардабил* (стр. 94).

Иногда автор слишком прямолинейно трактует процессы, происходившие в языках-рецепторах. Например, вывод М.Ш. Халилова о закрытом типе слога в цахурском, подтверждаемый примерами груз. *бирдабири* "пила" > цах. *гардабил*, груз. *балгъами* "гной" > цах. *балгъам* и др. (стр. 148), не согласуется с известными из специальной литературы данными. Напомним, в частности, следующее высказывание Г.Х. Ибрагимова, где прямо говорится о тенденции к открытости слога в цахурском: «... в результате действия закона "стремление к открытости слога" (в одних случаях отпадение конечных сонантов, в других – развитие гласного) в цахурском языке идет процесс увеличения числа двусложных слов, состоящих из открытых слогов» [Ибрагимов 1968: 97]. По-видимому, можно было бы предложить в приведенных примерах иную интерпретацию, а именно заимствование не форм именительного падежа, а основ без окончания номинатива *-и*.

Отмеченные выше недостатки, которые, возможно, неизбежны в исследовании подобного масштаба и свидетельствуют больше об объективной сложности самого предмета исследования, не влияют на общую высокую оценку монографии, вносящей несомненный вклад в отечественное кавказоведение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алексеев 1988 – *М.Е. Алексеев*. Сравнительно-историческая морфология аваро-андийских языков. М., 1988.

Ибрагимов 1968 – *Г.Х. Ибрагимов*. Фонетика цахурского языка. Махачкала, 1968.

М.Е. Алексеев

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

14–21 сентября 2004 года (Алупка, Севастополь) РАН, НАНУ и НАНБ, МГУ и Алупкинский Историко-архитектурный заповедник провели совместно конференцию "Северное Причерноморье: к глубинам славянской культуры" [II чтения памяти академика О.Н. Трубачева (23.10.1930-09.03.2002)]. Тематика докладов и сообщений определялась кругом научных интересов О.Н. Трубачева.

В сообщении Г.А. Богатовой (Москва) "Систематизация архива и библиотеки О.Н. Трубачева: биобиблиографические издания" речь шла о работах, проводимых совместными усилиями сотрудников, сподвижников, учеников О.Н. Трубачева и студентов Академии Славянской культуры по систематизации архива ученого, о подготовке издания неопубликованных трудов и двухтомного сборника статей по этимологии[1].

Во время обсуждения данного выступления было высказано предложение переиздать книгу О.Н. Трубачева "В поисках единства" в России, Беларуси и Украине.

В докладе А.В. Назаренко (Москва) было обращено внимание на то, что сведения письменных источников, археологические материалы, данные исторической географии дают основание очертить для IX в. в Восточной Европе два непересекающихся ареала, связанных один – со скандинавским присутствием, второй – с древнейшей *русью* (какой бы этнос или социальную группу ни понимать под этим этнонимом). Первый охватывал Северо-западную часть Восточной Европы (Поволховье, Приильменье, Южное Приладожье, Верхнее Поволжье и Верхнее Поднепровье) и характеризуется прежде всего наличием здесь торгово-ремесленных поселений, ориентированных на международную торговлю (Ладога, Рюриково городище, Тимерёво, Гнёздово и др.), а также обильными кладами арабского монетного серебра. Во втором ареале не было в IX в. ни монетных кладов, ни упомянутых торгово-ремесленных поселений. Этому обстоятельству соответствует и отсутствие в это время в Среднем Поднепровье скандинавских археологических древностей. Яркой лингвистической иллюстрацией такому положению служит форма этнонима *русь*, свойственная памятникам IX в. древневерхненемецкого происхождения (*Ruzzi*, *Rûzâra*-), в которых наблюдаем корневое *-û-*, что говорит о том, что этноним был заимствован в древневерхненемецкие говоры в славянской, а не в гипотетической древнескандинавской форме с *-ô-*. Это ставит само существование последней под большое сомнение. На основе славяноязычных форм с *û-* естественным образом объясняется и греческая форма IX в. ῥωσοι, так как греч. ω была обычным субститутом слав. *-û-*. Таким образом, если даже южная, среднеднепровская *русь* IX в. была этнически скандинавской, стратегия ее поведения в восточнославянском окружении была принципиально иной, чем на севере, и была направлена на скорейшую славянизацию с усвоением даже славянской формы собственного самоназвания.

Доклад К.А. Максимовича (Москва) был посвящен взглядам О.Н. Трубачева на происхождение этнонима *Русь*. Докладчик указал на перспективность изучения следов индоарийского языкового субстрата, открытых О.Н. Трубачевым, в связи с сообщениями восточных и византийских источников о народе *рос/рус* в Северном Причерноморье (VI–IX вв.). Особую ценность имеет сообщение сирийского историка VI в. (Псевдо-)Захарии о народе *Hrως* в "стране амазонок" (т.е. в Северном Причерноморье). Доказанное новейшими исследованиями (Н.В. Пигулевская) армянское посредство в передаче этнонима заставляет отказаться от толкования *Hrως* как библеизма *Ρως* и признать наличие в Причерноморье VI в. народа *Рос*, который и стал

[1] Труды по этимологии: Слово. История. Культура. Т. 1. М., 2004 г.

известен в Сирии через армянское языковое посредство.

В сообщении А.К. Шапошникова (Коктебель) "О.Н. Трубачев как лексикограф. Об опыте Этимологического словаря славянских языков за 30 лет издания" речь шла о принципах и подходах О.Н. Трубачева к отбору и трактовке праславянской лексики, о преемственности его школы, о необходимости сохранить в неизменном виде как структуру словарных статей, так и критерии отбора материала, о неприемлемости корневого и гнездового принципов построения этимологических словарей. Докладчик сообщил о внедрении новых компьютерных технологий в дело написания и подготовки к печати 33 и 34 выпусков ЭССЯ, поделился опытом применения словаря при разработке ряда тем, выходящих за пределы чистой лингвистики: сравнительной мифологии, истории ремесел и прикладных искусств, описании базовых сигнальных систем славянских этносов разных эпох, этногенеалогических и этнографических исследований.

П.В. Чекурин (Рязань) в докладе "Северное Причерноморье в трудах славянских ученых XIX в." сделал анализ трудов историка Д.И. Иловайского (1870-х гг.), позволяющий определить вклад ученого в исследование славянской истории. В первых исследованиях Д.И. Иловайского были обозначены особенности окско-донского района и определены направления движения вятичской и рязанской цивилизации по Оке как независимые. В личном фонде историка сохранились подготовленные материалы к книге "Русская цивилизация", которая начиналась с истории руссов. Встреча на I Археологическом съезде с И.И. Срезневским помогла вполне обоснованно поставить в русской историографии вопрос об Азово-Черноморской Руси со своей самостоятельной, докиевской историей. Поиски его в этом направлении во многом гипотетичны, не лишены ошибок, однако, обогатили науку скрупулезным исследованием летописных источников, трудов восточных авторов, результатов археологических изысканий и были поддержаны С.А. Гедеоновым и Д.И. Багалеем, Н.И. Костомаровым и А.Н. Пыпиным. М.К. Любавский, Ю.В. Готье, Ал.И. Яковлев, С.В. Бахрушин, С.Б. Веселовский, М.М. Богословский и А.Н. Соболевский отметили, что "Разыскания о начале Руси" Иловайского "пролили много света на начальные времена русской истории". Лингвистическую модель Азово-Черноморской Руси на базе многолетних исследований славянских языков впервые создал академик О.Н. Трубачев. В докладе были привлечены результаты региональных исследований этнографов и археологов.

А.А. Дудин (Рязань) в докладе "Южная Русь и Рязанская земля в работах О.Н. Трубачева" указал на то, что Южная Русь и Рязанская земля когда-то были очень близки и, возможно, даже составляли сложное единство. Еще в скифо-сарматское время культурный ареал Северного Причерноморья простирался практически до современной Рязани. В древнерусское время Южную Русь и Рязанскую землю соединяли древние торговые пути, Тьмутараканские волости принадлежали рязанским князьям. А накануне тяжелых испытаний 1237 г. в "пределы рязанские" священником Евстафием из Корсуня-Херсонеса был принесен образ "Николы Корсунского Заразского", ставший самым почитаемым в Рязанской земле. Анализ собранных исследователем историко-культурных материалов получает значительную лингвистическую аргументацию при использовании работ О.Н. Трубачева. О.Н. Трубачев считал, что важной проблемой является юго-восточный фланг вятичей, максимальное расширение которого определяется многими учеными (в основном XIX – начала XX в.) как Азовско-Черноморская Русь. Для О.Н. Трубачева лингвистическая модель Азовско-Черноморской Руси – это донецко-донской и приазовский гидронимический ареал, хранящий многие черты славянской этноязыковой периферии. С реконструкцией рассматриваемого нами ареала тесно связаны поиски О.Н. Трубачевым центра великорусского языкового ареала, помещенного ученым в земле вятичей, в основном в районе современной Курско-Орловской группы говоров. Оттуда с разной силой распространялись инновационные волны: аканье, формы множественного числа существительных мужского рода на *-а*, форма среднего рода *коромысло* и др. Проблема Юго-востока восточнославянского историко-культурного и языкового ареала остается одной из важнейших, и мысль О.Н. Трубачева, что "пространство русского языка и племени реально было другим", дает исследователю угол зрения для ее рассмотрения.

Были прочитаны доклады акад. В.В. Седова (Москва) "Расселение славян на Восточно-Славянской равнине из Дунайского региона" и М.А. Васильева (Москва) "Роль Дуная в этногенезе славян", посвященные проблемам теории среднедунайской прародины славян.

С.В. Назин (Москва), прочитав доклад Н.А. Николаевой (Москва) "Концепция индоевропейской прародины (IX–III тысячелетия до н.э.)", сделал сообщение "Славяне на

Дунае: мигранты или автохтоны". По мнению исследователя, имя *славяне*, 'ясно говорящие', возникло как самоназвание неромanизированного славяноязычного автохтонного населения Паннонии, распространившись затем на весь праславянский мир. Ср. типологически сходные названия 'ясно говорящие' *шкипетарет* (албанцы) и *euskaldunak* (баски).

А.А. Дудин (Рязань) сделал презентацию последних книг О.Н. Трубачева "Indoarica в Северном Причерноморье" (М., 1999) и "Этногенез и культура древнейших славян" (М., 2002).

Материалы, теоретические обобщения, этимологии, собранные О.Н. Трубачевым за многие годы в виде исследования "Indoarica в Северном Причерноморье", можно, конечно, представить как продолжение теории Пауля Кречмера. Кажется, все здесь верно: Кречмер, действительно, стоял у начала научной индоарийской проблемы в Причерноморье, и его две-три этимологии предшествуют сотням наших. Но не было у Кречмера ни индоарийской концепции языка и этноса тавров Крыма и нижнеднепровской Старой Скифии Геродота, не было и упомянутых многочисленных этимологий, от значительной части которых все-таки трудно отказаться (хотя у твердо настроившихся иранистов они обычно не встречают одобрения). Искать подлинное начало надо, очевидно, по справедливости, в самих недрах принципиально новой концепции индоиранского изначального размежевания, сосуществования и окончательного раздела еще на промежуточной прародине.

Еще первое издание "Этногенеза..." (1991) вызвало живейшие отклики как коллег этимологов и культурологов, так и широкой читающей общественности, интересующейся вопросами славянской этнической истории, материальной и духовной культуры древнейших славян. Многое из этих откликов и пожеланий учтено в дополненном втором издании. В книге рассматриваются индоевропейские истоки праславянского языка и этногенеза, ставятся под сомнение популярные концепции социальной и этнической истории индоевропейцев, приводятся некоторые свидетельства археологии, еще раз делается попытка ответить на вопрос "когда появился праславянский язык?", развенчиваются некоторые мифы сравнительного языкознания и истории культуры. О.Н. Трубачев пришел к важному выводу о том, что центр праславянских фонетических инноваций располагался в Паннонии, туда же уходят корнями и многие культурные инновации. В частности, система раннеславянских керамических мер жидких и сыпучих тел (по данным археологии) соответствует системе римских провинциальных мер. Славянский ареал, очевидно, размещался некогда в Центральной Европе к югу от Карпат.

В программе дневного заседания был представлен доклад акад. В.Н. Топорова (Москва) "Балтийские этнонимы в списках Геродота".

Выступление Н.И. Семенова (Феодосия) "Наблюдения по мифологии Крыма" было посвящено выяснению семантики культа таврской богини Девы. Реконструируемая на основе индоиранской мифологии, эта богиня предстает как одно из центральных божеств ариев. "Во время оно" она вдохновила Индру на бой с Вритрой. Ее культ предусматривал ежегодное (зимой) ритуальное воспроизведение этого подвига для регенерации Вселенной. "Вритрой", по-видимому, служили "греческие мореходы", прибывшие из вод Нижнего мира, Темного моря, места обитания сил зла, змея Вритры. Отсюда, между прочим, автор предполагает происхождение гидронима *Черное море*. Данная гипотеза встретила развернутую критику со стороны А.К. Шапошникова, подчеркнувшего естественное отличие мифологической картины мира у степных кочевников, обитающих у большой реки, и горных земледельцев и скотоводов. К тому же, данная концепция противоречит всему комплексу нарративных, изобразительных и археологических сведений о таврских культах и местах их отправления.

В докладе И.Г. Добродомова (Москва) "Проблемы хронологической и лингвистической стратификации топонимии Северного Причерноморья" показана языковая и хронологическая разнородность географических названий рассматриваемого региона и их связь с соседними регионами с учетом их исторической изменчивости. На материале тюркского географического термина *кермен* 'крепость, город' и славянского *село*, отраженного на тюркской почве как *сала* в языках, связанных с Древней Русью, докладчик отметил трудности, возникающие при определении времени возникновения топонимов и их языковых источников. В изучении этой топонимии желательно наряду с экстенсивной фиксацией современного и исторического материала развивать его интенсивную интерпретацию, для чего уже создаются необходимые условия.

А.К. Шапошников (Коктебель) в докладе "Древнейшая ономастика Таврического полуострова. Готия" представил исследование из цикла работ по реликтовой ономастике Таврического полуострова, посвященное историко-культурной области Готия. Данная область расположена в водосборных бассейнах

рек Бельбек и Черная, к ней же относилась часть южного таврического берега от Гераклейского полуострова до Никиты (в XIV–XV вв. включала округи Гурзуфа, Партениты, Алушты). Возникла она в раннем средневековье, в последней трети III в. н. э. и просуществовала до последней четверти XV в. Но и позднее население этой области (таты, урумы в турецко-татарской номенклатуре) продолжали сохранять свою этнокультурную самость до переселения христианского населения Таврического полуострова в Приазовье в последней четверти XVIII в. Известия о сохранении готского языка населением Таврической Готии относятся к XVI в. Сравнительно-сопоставительный анализ остатков языка таврических готов выявляет его значительную отдаленность от собственно готского языка (в том виде, в котором он представлен письменными памятниками) и реликтов прочих восточногерманских языков. Вместо этого отчетливо проступают сходства с некоторыми западногерманскими языками, особенно с древневерхненемецким (баварским, аламанским), древнесаксонским, древнефризским, древнеанглийским и проч. При этом наблюдается очевидная синхронность языковых изменений таврическо-готского языка с преобразованиями ранненововерхненемецких диалектов *1350–1650* гг. Как принято думать, второе передвижение согласных древневерхненемецкого облика возникло в VI в. в области распространения лангобардских диалектов и имело субстратную (иллиро-кельтскую?) природу. Выявление подобного передвижения в изолированном таврическом готском побуждает предположить их адстратное происхождение. Пожалуй, единственной лингво-этнической связующей между верхненемецкими и тавроготскими диалектами можно считать герулов (греч. Αἰρούλοι, лат. Heruli), которые после длительного обитания в Приазовье (с середины III в.) переместились в верхнее Подунавье (в VI в.), где вошли в языковой союз с лангобардами, баварцами и другими носителями верхненемецких диалектов. В области Готия выделяются следующие древние ономастические пласты, предшествующие тюркскому и славянскому: древне-индоевропейский диалектный, индоарийский, сарматоаланский, греческий (др.-греч., ср.-греч., н.-греч.), готский (герм.).

О.Н. Лазаренко (Киев) выступила с докладом "Об этимологических словарях украинского языка". Докладчица отметила, что одной из сторон активной научной деятельности О.Н. Трубачева на поприще этимологии было также рецензирование этимологических словарей различных славянских языков, в том числе и украинского языка. О.Н. Трубачев подготовил рецензии и на предыдущие 4 тома ЕСУМа, но они так и не были опубликованы. Представляется, что следует опубликовать рецензии О.Н Трубачева на рукописи ЕСУМа, чтобы ознакомить широкий круг читателей с еще одной страницей научной деятельности ученого.

В.К. Щербин (Минск) прочитал доклад "О.Н. Трубачев как науковед". Содержательная интерпретация науковедческих обобщений О.Н. Трубачева позволила автору доклада сгруппировать их по существующим направлениям современного науковедения: история науки, организация науки, методология науки, социология науки, психология науки, философия науки, этика науки, язык науки и др.

С докладом памяти О.Н. Трубачева "Уроки И.И. Срезневского и О.Н. Трубачева в изучении земли вятичей" выступили Е.В. Архипова, Н.В. Колгушкина, Н.В. Осипова (Рязань).

В докладе Е.П. Осиповой "Историческая и лингвистическая география Рязанского края" была затронута проблема комплексной реконструкции ареалов по данным разных наук. Проанализированы лингвистические ареалы диалектных названий предметов традиционного народного женского костюма южной и юго-западной части территории Рязанской области.

Выделение южного лексического ареала докладчица связала с активно обсуждаемым историками, археологами, этнографами вопросом об участии донских славян в заселении Рязанской земли и провела параллели с археологическими и этнографическими данными. Лексикографические источники позволили проследить продолжение некоторых изоглосс в орловских, курских и тульских говорах. Отмечена локализация лексем *убор(а)* 'нарядная, праздничная одежда', *чекменъ* 'длиннополая одежда из сукна со сборками', *шушка, шушун* 'женская одежда туникообразного покроя', *чопки, чопсы* 'серьги' и др. на границе с тульскими и липецкими говорами. Достаточно плотные на юго-западе ареалы перечисленных лексем значительно разрежены в направлении северо-восточной части области. Данный факт может представлять интерес в связи с предпринятой акад. О.Н. Трубачевым попыткой определения инновационного центра языкового ареала, который помещен ученым в среднезападную часть южновеликорусского пространства.

Доклад Т.В. Рождественской (Санкт-Петербург) "Проблемы изучения древнерусской эпиграфики: итоги и перспективы" был посвящен проблемам исследования памятников древнерусской эпиграфики с точки зре-

ния метода лингвистического источниковедения. Т.В. Рождественская охарактеризовала современное состояние эпиграфических исследований прежде всего памятников настенной храмовой эпиграфики. Опыт лингвистического изучения новгородских берестяных грамот, с которыми надписи граффити на стенах храмов имеют ряд общих черт с формальной точки зрения (тип письма), заставляет объединить усилия палеографов, лингвистов, реставраторов при обращении к специфическим письменным источникам, каковыми являются памятники эпиграфики. Т.В. Рождественская представила аудитории две новонайденные надписи граффити XV в. из церкви Успения на Волотовом поле в Новгороде, в которых цитируются стихира и тропарь Службы Великого пятка. Палеографический, графико-орфографический, текстологический анализ этих текстов позволил автору доклада определить их место в славянской рукописной традиции, связанной с иерусалимской редакцией литургического языка. Автор также сообщил о подготавливаемым ею каталоге богослужебных надписей в составе фресковых композиций (на свитках пророков и святителей) и литургических граффити в интерьерах храмов Древней Руси XI–XV вв.

Т.М. Ф а д е е в а (Москва) в своем докладе "Тавро-трапезундские истоки в геральдике двуглавого орла"[2] сообщила, что существует несколько точек зрения относительно обстоятельств появления на российском гербе двуглавого орла. Наиболее общепринятая и устоявшаяся с XVIII в. концепция считает это следствием женитьбы Великого князя московского Ивана III на Софии Палеолог, дочери деспота Мореи Фомы Палеолога и племяннице последнего византийского императора Константина XII Драгаша. Еще в XIX в. была высказана, а в 1966 г. подробно обоснована американским историком Г. Алефом точка зрения, согласно которой принятие двуглавого орла в качестве государственной печати было мотивировано реакцией Великого князя московского на то, что император Священной римской империи (Габсбург) использует на государственной печати двуглавого орла, причем с 1442 г.; в ответ на это он также стал использовать аналогичный герб. В этих концепциях выпадает один важный момент. Византия еще не знала гербов в современном смысле слова, или употребляла в качестве такового крестообразно разделенный щит с четырьмя буквами "В" (василевс) меж ветвей креста. Что касается двуглавого орла, то этот древний священный символ, особо избранный в качестве фамильного последней царствующей династией Палеологов, только проделывал путь превращения в государственный герб, и, парадоксально, это превращение в государственную эмблему гораздо ранее произошло на других землях – в южнославянских странах (Болгарии, Сербии, Румынии). Докладчицу особенно интересует этот процесс на материалах Причерноморья – в Трапезундской империи и в княжестве Феодоро, в Крыму, где он уже в XIV–XV вв. употреблялся в качестве герба. Ранний пример – это воспроизведение венецианской карты-портолана 1321 г. из недавних публикаций секретных архивов Ватикана. В соответствии с вкусами времени, она была украшена флагами-штандартами с изображением гербов и эмблем государств, окружавших Черное море. В северном Причерноморье, включая Крым, господствуют флаги с тамгой Золотой Орды; в Крыму, кроме того, – штандарт Генуэзской и Венецианской республик, и, наконец, в Трапезундской империи – штандарт с двуглавым орлом, тогда как Палеологовская Византия, точнее, Константинополь, представлен эмблемой с крестом и четырьмя буквами "В" (василевс). Итак, в 1-й четверти XIV в. в собственно византийской империи эта эмблема еще частная, а в осколках этой империи – уже государственная. Известен двуглавый орел и на монетах трапезундских императоров того же времени. Правители Трапезундской империи из династии Великих Комнинов, в свою очередь, считали своими "заморские владения" (параталассия) – Юго-Западный горный Крым, бывшую фему "Херсон и Климаты", на землях которой в XIV–XV вв. образовалось княжество Феодоро, фактически независимое. Правители княжества из знатного армянского рода Гаврасов, выходцы из области Халдия в Малой Азии, гордились родственными отношениями с Комнинами, Кантакузинами, Палеологами. Сохранились геральдически оформленные плиты 1425, 1427 и 1459 гг. с монограммой князя Алексея, "владетеля Феодоро и Поморья" и Палеологовским двуглавым орлом. Характерно, что обе головы орла увенчаны коронами. Таким образом, именно на окраинах византийского мира, в первую очередь с православным греческим, а затем и славянским населением завершился процесс перехода фамильной эмблемы Палеологов в государственный герб.

М.И. Ч е р н ы ш е в а (Москва) выступила с докладом "Из истории древнерусской антропологической лексики". Предложенный анализ антропологической лексики (название ча-

[2] Данный доклад излагается более подробно в связи с тем, что он касается истории элементов государственной символики.

стей тела) показывает, что представление о каждом из понятий связано, с одной стороны, с животным миром, с другой – с миром вещей (нерукотворных, природных и рукотворных) и, наконец, способны выходить за пределы "человеческого мира", поскольку некоторые слова этой группы заключают в себе жизнехранительные начала (например, *тѣ́ла*, *жила*, *кровь*), а некоторые через огонь и свет тесно соединены с божественной сущностью в человеке (самая яркая иллюстрация тому – слово *око/очи*).

В докладе Г.Я. Романовой (Москва) о торговых связях Северного Причерноморья и Древней Руси рассмотрены пути заимствования и дальнейшего использования в русском языке одного из метрологических терминов, впоследствии ставшего частью общерусской метрологической системы. Заимствованный в результате торговых сношений с Крымом в конце XV в. термин *аршин* (из турец. *aršin*, *aršim*) вступает во взаимодействие с собственно русским термином *локоть* и вытесняет его сначала как торговую меру для тканей, а затем и как меру длины вообще. Из двух терминов, обозначающих в типологическом отношении сходные меры, предпочтение было отдано большей по величине мере аршину, поскольку потребностям позднейших обществ лучше отвечали крупные меры.

В Херсонесе Таврическом состоялся доклад С.А. Беляева (Москва) "Херсонес и епископ Римский Климент". Участники конференции обратились к главам светской и церковной власти России, Украины и Беларуси с предложением учредить праздник Св. Владимира 15 (28) июля как общевосточнославянский.

В докладе Т.Л. Мироновой (Москва) "К этимологии слова *крест*" дана попытка альтернативной исконно-славянской этимологии старого германизма *крест*.

В Черноморском филиале МГУ (г. Севастополь) состоялся доклад В.А. Масловой (Москва) "Истоки праславянской фонологии", посвященный памяти О.Н. Трубачева, по мнению которого, "славянская проблематика является продолжением индоевропейской", "наиболее актуальным является вопрос об индоевропейских истоках праславянского языка и славянского этногенеза". В центре внимания доклада находится реконструкция фонологической системы протославянского диалекта праи.-е. языка ("праиндоевропейский с самого начала был группой диалектов", "славяне представляют свою собственную эволюцию индоевропейского лингвистического типа, отличную от балтийской". – *О.Н. Трубачев*) и фонетических процессов этого диалекта с их фонологическими последствиями. С использованием таблиц В.А. Маслова показала, что в основе фонетических процессов лежит слабая включенность и.-е. фонемы **s* в систему консонантизма (16 смычных и одна только фрикативная фонема **s*!). У этой фонемы появятся соответствующие коррелятивные фонемы **z* и **h* по дифференциальным признакам звонкости и гуттуральности (заднеязычности). Возникновение новых пар **s*: **z* и **s*: **h* произойдет с помощью сатэмовой палатализации гуттуральных **k*, **g*, **gh*, которая, являясь первой, по сути праиндоевропейской, палатализацией заднеязычных, стала главнейшим источником происхождения праславянских фонем **s* (новой, праславянской) и **z* (*сердце, сто, просить; земля, зима, зерно, звать/зову, язык* и др.). Именно в протославянском диалекте сформировались истоки праславянской фонологии и зародились две основные тенденции – к восходящей звучности (открытому слогу) и внутрислоговому сингармонизму.

Там же состоялся не запланированный ранее доклад М.И. Черныше вой "В память о Трубачеве", целью которого было привлечь внимание студентов к наследию О.Н. Трубачева. В докладе говорилось об открытиях и достижениях О.Н. Трубачева в области славистики и индоевропеистики и специально – о его работах, связанных с Северным Причерноморьем (гипотеза о существовании Азовско-Черноморской Руси, открытие одной из ранних форм индоарийского языка), а также о задачах данной конференции.

В докладе В.Ю. Франчук (Киев) «Неопубликованные материалы "Этимологического словаря" А.А. Потебни» речь шла о материалах по исторической лексикологии, которые хранятся в архиве ученого.

Доклад А.Л. Хорошкевич (Москва) был посвящен "Запискам иностранцев второй половины XVI – первой половины XVII в. как источник по истории славянских языков (русского, украинского, польского)". Нарративные материалы, известные под собирательным названием "записки иностранцев", принадлежат перу дипломатов (Я. Ульфемут), купцов (М. Груневег), политических авантюристов (Г. Штаден), военных на службе восточноевропейских государей (Маржерет, Боплан), духовных лиц (А. Поссевини, П. Одерборн). Значимость их в данном контексте зависит от а) предшествующего знания славянских языков; б) филологических способностей; в) длительности пребывания в описываемой стране (колебавшейся от нескольких месяцев до двух десятилетий); г) внутренней ситуации в этой стране. Докладчица отметила необходимость дальнейшего тщательного анализа топонимов

и политико-географической номенклатуры подобных сочинений.

В докладе О.В. Прискоки (Киев) "Еще об одном типе исторического словаря" анализируется новый указатель к третьему изданию "Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков)" ред. Р.М. Цейтлин, Э. Благова, Р. Вечерка. Предложен вниманию собравшихся проект исторического словаря слов, фиксированных в письменности неславянских народов в дописьменный у славянских народов период, например: славянское слово *сало* в армянской рукописи VII в. и др.

Тему изучения древнейшей лексики Кирилло-Мефодиевой традиции продолжил К.А. Максимович (Москва) в докладе «Архаичная западнославянская лексика в Мефодиевском "Законе судном людем"».

Был зачитан доклад М.М. Шетеля (Москва) "Польские параллели на страницах СлРЯ XI–XVII вв.".

А.Г. Григорян (Москва) сделал доклад "О выражении *сгореть со стыда*".

Л.Ю. Астахина (Москва) прочла доклад "Призрачные слова в историческом словаре". Автором предлагается термин для их обозначения – псевдогапаксы. Несуществующее слово может возникнуть вследствие неправильного деления сплошного рукописного текста на слова: *сверла кипери – сверлаки перити; лев придеревый – лев приде ревый* и др. Другая причина – неверное чтение строчных или выносных букв: тынье – тылье [тые]. Здесь приходят на помощь категории лингвистического источниковедения – лингвистическая содержательность и лингвистическая информационность.

Большой интерес вызвали доклад М.Ю. Досталь (Москва) "Первые археологические изыскания в Северном Причерноморье и их вклад в развитие отечественной науки" и доклад директора художественного музея В.В. Буряк (Днепропетровск) «Дворец князя Потемкина Таврического в Екатеринославе – часть "Греческого проекта"».

В рамках программы конференции прошли презентации электронного издания "Этимологический словарь русского языка" М. Фасмера 2004 г., книжных изданий "Князья Теодоро. Крымско-готский сборник" и "Добрый старый Коктебель"; научные лекции-экскурсии "Архивы русской эмиграции 1917 г.", "Крымская война глазами английских и французских художников", "Христианские древности Корсуня" в историко-архитектурном заповеднике "Херсонес" и "Столица княжества Теодоро".

Тексты докладов и сообщений готовятся к изданию в сборнике статей к 75-летию академика О.Н. Трубачева (2005 г.) сотрудниками отдела этимологии и ономастики Института Русского языка им. В.В. Виноградова РАН.

А.К. Шапошников
(Коктебель)

24–25 сентября в Санкт-Петербурге состоялась I Конференция по типологии и грамматике для молодых исследователей, организованная Институтом лингвистических исследований РАН при финансовой поддержке Президиума РАН (Программа "Этнокультурное взаимодействие в Евразии") и гранта Президента РФ для поддержки ведущих научных школ. Особенностью конференции стало то, что не только участниками, но и организаторами ее выступили молодые ученые – в первую очередь аспиранты Лаборатории типологического изучения языков ИЛИ РАН.

К началу конференции был издан сборник тезисов докладов (СПб.: "Наука", 2004)

Помимо 22 докладов, представленных молодыми исследователями, в программу конференции были включены лекции трех приглашенных докладчиков – крупных российских типологов, чьи работы хорошо известны в отечественной и зарубежной лингвистике.

Лекция В.С. Храковского (С.-Петербург) "О соотношении эвиденциальности и (ад)миративности" была посвящена соотношению универсальных семантических категорий эвиденциальности и адмиративности, которые различными способами реализуются в грамматических категориях конкретных языков. Был сделан вывод о равноположенности эвиденциальности и адмиративности. В русском языке отсутствуют специальные средства для выражения эвиденциальности, в то время как для выражения одного из адмиративных значений используется вводное слово "оказывается", интересные наблюдения по поводу употребления которого были представлены в лекции.

Большой интерес аудитории вызвала лекция Я.Г. Тестельца (Москва) "О трех моделях морфологической структуры". Преимущественно на весьма наглядном материале полисинтетического адыгейского языка докладчик сравнил три модели структуры словоформы, которые широко используются в современной морфологии. Порядковая

структура, учитывающая прежде всего линейный порядок элементов словоформы, относительно проста и наглядна, но неспособна учесть иерархические отношения между аффиксами и содержащими их основами. В частности, она запрещает реально существующие в языке рекурсивные повторения некоторой деривации. Структура составляющих, представляющая словоформу как иерархию вложенных друг в друга основ, напротив, предсказывает реально не засвидетельствованные случаи рекурсивного усложнения, поскольку основы оказывается невозможным разбить на классы с одинаковыми дистрибутивными свойствами подобно тому, как группы в синтаксисе объединяются во фразовые категории. Для адекватного описания огласовок префиксов в адыгейской глагольной словоформе информация, отражаемая в порядковой структуре и структуре составляющих, оказывается недостаточна: требуется обращение к метрорифмической структуре, которая включает в себя фонотактические и просодические ограничения на состав морфемной цепочки. Актуальной задачей общей морфологии является разработка такой модели структуры словоформы, которая позволила бы свести воедино информацию о линейной и иерархической упорядоченности категориальных аффиксов, дистрибутивных классах основ, просодии и фонотактике.

Свою лекцию "Реципрокальный показатель при неглагольных основах" В.П. Недялков (С.-Петербург) посвятил маргинальному, но типологически весьма интересному явлению – сочетанию реципрокального показателя с неглагольными (в первую очередь, именными и наречными) основами. Получающиеся таким образом дериваты могут иметь широкий спектр значений, в который входят значения, типичные для лексических реципроков, и тесно примыкающие к ним конверсивные значения. По морфологической характеристике основы и деривата, образуемого реципрокальным показателем, автор выделил два типа деривационных пар – глагольно-именной (с четырьмя подтипами) и наречный. Реципрокальные показатели, способные сочетаться с неглагольными основами, подразделяются на три типа: стандартные, для которых функция образования реципроков от глагольных основ является основной, полустандартные – сложные показатели, включающие в свой состав показатель, основной функцией которого является образование реципрокальных глаголов от неглагольных основ, и нестандартные, не имеющие материального сходства со стандартными показателями. Каждый из выделенных типов деривационных пар был подробно охарактеризован с точки зрения используемого показателя реципрока и возможного реципрокального значения.

В докладе С.С. Сая (С.-Петербург) "Лексическая семантика глагола и антипассивная деривация" рассматривается взаимодействие антипассивной конструкции с лексической семантикой глагола. На широкой выборке языков выявляются лексические закономерности поведения глагольных основ в составе антипассивных конструкций, при этом оспаривается распространенное представление об антипассивизации как о преимущественно словоизменительном явлении, зеркально симметричном пассиву. Предлагается выделять в глагольной лексике класс "естественных антипассивов", семантика которых естественным образом предполагает антипассивное прочтение, что отражается на особенностях их поведения в рамках соответствующей конструкции.

А.П. Леонтьев (Москва) в своем докладе "Семантическая карта для приименного зависимого" применил метод семантического картирования к описанию различных стратегий кодирования именного зависимого. Построенная докладчиком предварительная карта, в качестве узлов которой выступают различные семантические типы генетивных отношений, может служить основой для построения более подробной многомерной карты для приименного зависимого.

В докладе М.Ю. Иванова (Москва) "Мультипликативность, типы предикатов и предельность" были представлены интересные данные балкарского языка, позволяющие по-новому взглянуть на соотношение значения мультипликативности с семантическим типом предиката и предельностью. В балкарском языке некоторые мультипликативы демонстрируют нетипичные для глаголов этого класса акциональные свойства: так, они допускают непредельное прочтение в семельфактивном употреблении и, наоборот, предельное прочтение в многоактном употреблении (при присоединении инкрементальной темы). Это вынуждает давать независимые характеристики одноактным и многоактным употреблениям мультипликативных глаголов при определении состава акциональных классов.

А.В. Архипов (Москва) "Языки 'AND' и языки 'WITH': сколько делений бывает на бинарной шкале?" предложил уточнить известную классификацию языков по способу соединения именных групп, предложенную Л. Стассеном. Измененная классификация позволяет более полно учесть межъязыковые различия в возможности дифференциации более и менее "равновесных" конструкций.

В докладе А.В. Андреева (С.-Петербург) "Об использовании множественных зависимостей для моделирования грамматических категорий" была показана недостаточность

традиционного аппарата синтаксических зависимостей при моделировании некоторых явлений русского морфосинтаксиса.

Проблема взаимодействия предельности и аргументной структуры предикации была рассмотрена в докладе Ф.И. Дудчука (Москва) "Предельность в венгерском языке" на материале венгерских перфективирующих префиксов. Докладчик пришел к выводу, что в венгерском предельность и переходность определяются в одном и том же узле AspP. Предложен расширенный вариант Принципа плюсов Х. Феркайла, который, согласно рабочей гипотезе, должны использовать языки с перфективирующими префиксами, такие как русский и венгерский.

Несмотря на то, что употреблению послелога *rā* в современном персидском языке посвящена обширная литература, некоторые особенности его функционирования остаются до сих пор неясными. А.П. Выдрин (С.-Петербург) в докладе "Послелог *rā* в персидском языке" выдвинул гипотезу о том, что одним из основных значений этого послелога является полная охваченность объекта действием.

Доклад М.Ю. Смолиной (С.-Петербург) "Комитатив/инструментальный падеж в старокрымском диалекте урумского языка" был посвящен функционированию одного из падежных показателей в вымирающем языке приазовских греков-туркофонов. Некоторые употребления комитативно-инструментального показателя, восходящего к словообразовательному суффиксу, могут быть объяснены как следствие языкового контакта.

В своем докладе "К вопросу о вариативности вспомогательного глагола в баскском языке" Н.М. Заика (С.-Петербург) проанализировала группу баскских глаголов, характеризующихся несовпадением ядерных аргументов предложения и набором согласовательных показателей, принимаемых вспомогательным глаголом. В докладе утверждалось, что с устранением такого нетипичного для баскского языка расхождения связано возникновение вариативности в модели управления рассматриваемых глаголов, и предлагался детальный анализ закономерностей подобного варьирования.

Н.В. Сердобольская (Москва) в докладе "Когнитивные предпосылки подъема аргумента" на материале ряда языков, в первую очередь алтайских, рассмотрела когнитивную структуру полипредикативных конструкций, в которых происходит подъем аргумента, т.е. актант зависимой предикации получает грамматическое оформление от вершинного предиката главной. Основной вывод доклада заключался в том, что вынос аргумента в главную клаузу используется для подчеркивания широкой сферы действия именной группы, и таким образом синтаксическая структура предложения приближается к иконическому отражению когнитивной структуры дискурса.

О.П. Дмитриева (С.-Петербург) опубликовала тезисы "Об одном типе конструкции следования в португальском языке", в которых на материале корпусных данных проанализировала семантику бипредикативных конструкций с союзом antes que в бразильском варианте португальского языка.

В двух докладах, предшествовавших лекции Я.Г. Тестельца, были рассмотрены различные аспекты грамматики адыгейского языка в типологическом освящении. В докладе Д.В. Герасимова (С.-Петербург) "Нулевые аргументы в адыгейских конструкциях с сентенциальными актантами" был поставлен вопрос о синтаксической природе нулевых аргументов в адыгейских КСА, где кореферентное опущение возможно как в главной, так и в зависимой предикации. Докладчик показал, что референция нулевого аргумента в общем случае восстанавливается, исходя из дискурсивных факторов, и не подлежит синтаксическим ограничениям. В то же время анализ нулевых аргументов КСА как случая распространенного в адыгейском языке про-дропа наталкивается на свои трудности. В докладе А.Б. Летучего (Москва) "Адыгейский реципрок: многообразие и закономерности" были подробно рассмотрены различные анафорические и аффиксальные средства выражения реципрокального значения в адыгейском языке и описаны факторы, влияющие на их употребление. Составное реципрокальное местоимение *zəm zəɾ* (дословно 'один одного') может факультативно контролировать личное согласование глагола как единый участник или же как два участника, занимающие разные синтаксические позиции, что может служить опровержением гипотезы о прономинальных аргументах применительно к адыгейскому языку.

А. Л. Леонтьева и Н. В. Сердобольская (Москва) в докладе "Опыт создания двуязычного словаря объяснительного типа" подняли проблему адекватного представления лексической семантики в двуязычном словаре, приобретающей особое значение в свете необходимости скорейшей документации вымирающих языков. В качестве иллюстрации докладчики рассмотрели сложности, возникающие при описании семантической структуры некоторых лексических единиц бесермянского языка в бесермянско-русском словаре.

Доклад М.З. Муслимова (С.-Петербург) «"Эквивалентность" грамматических категорий и переключение кодов» был посвя-

щен нетривиальному случаю переключения кодов – переключению внутри именной группы – и влиянию грамматического типа контактирующих языков (прежде всего параметра вершинного/зависимостного маркирования) на возможность такого переключения.

В докладе П.М. Аркадьева (Москва) "О некоторых нетривиальных случаях взаимодействия морфологических категорий числа и падежа" обсуждаются случаи нейтрализации значений одной (именной) категории в контексте немаркированного значения другой (например, нейтрализация падежного противопоставления в контексте единственного, но не множественного числа) и возможные сценарии их возникновения. Выясняется, что, хотя такого рода конфигурации и противоречат общепринятым взглядам на роль маркированности в организации словоизменительных парадигм, они достаточно регулярно фиксируются в самых различных языках.

Новая трактовка бесермянской формы на *-m*, традиционно описываемой как "активно-пассивное причастие прошедшего времени", была предложена Н.Б. Араловой и А.В. Файнвейц (Москва) в докладе "Полифункционирование причастной формы (на материале бесермянского языка)". Форма на *-m* может выступать в качестве вершины относительной клаузы, в качестве вершины актантной клаузы и в качестве сказуемого независимого предложения. Докладчики предложили трактовать эту форму как номинализацию, а ее употребление в качестве вершины относительной клаузы – как аппозитивную конструкцию. Результаты, полученные на бесермянском материале, могут оказаться востребованы для описания схожего явления в целом ряде алтайских и финно-угорских языков.

Единственный зарубежный участник конференции С. Бирцер (Регенсбург, Германия) в докладе "О соотношении между различными типами деепричастий в кодифицированном русском языке и степенью их грамматикализации" исследовала зависимость между функцией, выполняемой деепричастием в русском языке (герундиальной, абсолютной, предложной), и степенью его грамматикализации, складывающейся из значений таких параметров, как валентность, парадигматичность и синтаксическая целостность. Деепричастия с герундиальной функцией оказываются наименее грамматикализованными, в то время как наивысшая степень грамматикализации характеризует деепричастия с предложной функцией.

Доклад А.В. Богданова (Москва) "О влиянии фокуса эмпатии на восстановление субъекта независимого инфинитива в русском языке" был посвящен инфинитивам в функции сказуемого независимой клаузы. Докладчик предложил классификацию независимых инфинитивов, проанализировал способы восстановления их субъекта и подтвердил при помощи ряда тестов влияние фокуса эмпатии на возможность такого восстановления.

С.В. Иванов (С.-Петербург) в своем докладе "О некоторых нестандартных способах использования назализации" остановился на проблеме назализации как вторичного показателя "объектного антецедента" в древнеирландской клефтовой конструкции. Опираясь на данные др.-ирл. глосс, докладчик проследил путь проникновения назализации в конструкции с объектным антецедентом. Исключительность появления назализации при субъектном антецеденте может считаться еще одним свидетельством в пользу особого статуса клефтов в синтаксисе др.-ирл. языка.

Е.А. Парина (Москва) в докладе "Рефлексивные местоимения в средневаллийском языке" рассмотрела средневаллийские конструкции, традиционно описываемые как "рефлексивные местоимения" и представляющие собой сочетания специальных форм посессивных местоимений со словами-интенсификаторами. Некоторые типологически небанальные синтаксические свойства этих конструкций ранее не изучались в силу сходства последних с английскими self-местоимениями; тем не менее функционирование рассматриваемых валлийских конструкций представляет большой интерес в контексте современных типологических представлений об интенсификаторах и рефлексивных местоимениях.

Сопоставлению употребления так называемых определенных и неопределенных форм прилагательных в балтийских языках был посвящен доклад А.Д. Даугавет (С.-Петербург) "О категории определенности у прилагательных в литовском и латышском языках". Было показано, что диахронически соотносимое противопоставление прилагательных по определенности/неопределенности занимает различное место в системе литовского и латышского языков, а поверхностное сходство функционирования двух классов форм в этих языках может объясняться различными принципами.

В ходе заключительной дискуссии было отмечено, что в целом конференцию следует признать исключительно удачным опытом обмена мнениями между молодыми исследователями, работающими в области типологии. Остается выразить надежду на то, что в дальнейшем конференция приобретет статус ежегодной, что будет способствовать поддержанию диалога между молодыми типологами из различных научных центров России, прежде всего – из Санкт-Петербурга и Москвы.

Д.В. Герасимов, С.С. Сай
(С.-Петербург)

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ ИЗДАНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ЖУРНАЛЕ "ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ"

БЕ – Български език
ВДИ – Вестник древней истории
ВИ – Вопросы истории
ВСЯ – Вопросы славянского языкознания
ВФ – Вопросы философии
ВЯ – Вопросы языкознания
ЕИКЯ – Ежегодник иберийско-кавказского языкознания
ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения
ЗВО РАО – Записки Восточного отделения Русского археологического общества
ИАН СЛЯ – Известия АН СССР. Серия литературы и языка
ИКЯ – Иберийско-кавказское языкознание
ИОРЯС – Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук (Росс. АН), АН СССР
ИЯШ – Иностранные языки в школе
РЯНШ – Русский язык в нац. школе
РЯШ – Русский язык в школе
СбНУ – Сборник за народни умотворения
Сб. ОРЯС – Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук
СТ – Советская тюркология
ТОДРЛ – Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы Академии наук (Пушкинского дома)
ФН – Доклады высшей школы. Филологические науки
ADAW – Abhandl. der Deutschen (Berliner) Akad. der Wissenschaften. Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst
AfslPh – Archiv für slavische Philologie
AGL – Archivio glottologico Italiano
AKGW – Abhandl. der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen
AL – Acta linguistica
AmA – American anthropologist
ANF – Arkiv för nordick filologi
AO – Archív orientalní
APAW – Abhandl. der Preussischen Akad. der Wissenschaften. Philosoph.-hist. Klasse
BCLC – Bullétin du Cercle Linguistique de Copenhague
BPTJ – Biulétyn Polskiego towarzystwa językoznawczego
BSLP – Bullétin de la Société de linguistique de Paris
BSOS – Bulletin of the School of Oriental studies
BzNf – Beiträge zur Namenforschung
CAJ – Central Asiatic journal
CFS – Cahiers F. de Saussure
CJ – The classical journal
FPhon – Folia phoniatrica
FuF – Finnisch-ugrische Forschungen
GL – General linguistics
HR – Hispanic review
IF – Indogermanische Forschungen
IIJ – Indo-Iranian journal
IJAL – International journal of American linguistics
JA – Journal asiatique
JASA – Journal of the Acoustical society of America
JEGPh – Journal of English and Germanic philology
JL – Journal of linguistics
JP – Język polski
JRAS – Journal of the Royal Asiatic society
JSFOu – Journal de la Société finno-ougrienne
ЈФ – Јужнословенски филолог

KZ – Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen, begründet von A. Kuhn
LaPh – Linguistics and Philosophy
Lg – Language
LIn – Linguistic Inquiry
LM – Les langues modernes
MM – Maal og minne
MSFOu – Mémoires de la Société finno-ougrienne
MSLP – Mémoires de la Société de linguistique de Paris
MSOS – Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin
NSS – Nysvenska studier
NTS – Norsk tidsskrift for sprogvidenskap
PBB – Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur
PMLA – Publications of the Modern Language Association of America
RES – The Review of English studies
RÉG – Revue des études grecques
RÉSI – Revue des études slaves
RF – Romanische Forschungen
RKJL – Rozprawy Komisji językowej Lodźk. t-wa naukowego
RKJW – Rozprawy Komisji językowej Wrocławsk. t-wa naukowego
RLing – Russian linguistics
RLR – Revue de linguistique romane
RO – Rocznik orientalistyczny
RS – Rocznik slawistyczny
SaS – Slovo a slovesnost
SDAW – Sitzungsberichte der Deutschen Akad. der Wissenschaften, Phil-hist., Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst
SL – Studia linguistica
SMS – Sbornik matice slovenskej pre jazykozpyt, národopies a literárnu historiu
SPAW –Sitzungsberichte der Preussischen Akad. der Wissenschaften
StO – Studia orientalia
SWAW – Sitzungsberichte der Wiener Akad. der Wissenschaften
TA – Traduction automatique
TCLC – Travaux du Cercle linguistique de Copenhague
TCLP – Travaux du Cercle linguistique de Prague
TIL – Travaux de l'Institut de linguistique
TPhS – Transactions of the Philological society
UAJb – Ungarische Jahrbücher
VR – Vox Romanica
WW – Wirkendes Wort
ZAS – Zentralasiatische Studien
ZCPh – Zeitschrift für celtische Philologie
ZDA – Zeitschrift für deutsches Altertum
ZDMG – Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft
ZDPh – Zeitschrift für deutsche Philologie
ZMaF – Zeitschrift für Mundartforschung
ZNS – Zeitschrift für neuere Sprachen
ZPhon – Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft
ZRPH – Zeitschrift für romanische Philologie
ZSL – Zeitschrift für Slavistik
ZSLPh – Zeitschrift für slavische Philologie

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. ***Рукописи*** представляются в двух экземплярах: текст и подстрочные примечания ***должны быть набраны*** через два интервала ***на машинке или*** через полуторный интервал ***в электронном виде***. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон, E-mail адрес.

1.1. Редакция также принимает электронную версию материалов, полностью идентичную напечатанному оригиналу. В состав электронной версии статьи должны входить: файл, содержащий текст статьи, и файл(ы), содержащий(е) иллюстрации. Если текст статьи вместе с иллюстрациями выполнен в виде одного файла, то необходимо дополнительно представить файлы с иллюстрациями. На дискете желательно продублировать материалы в разных каталогах (на случай брака дискеты). Во избежание технических неполадок запись на дискете рекомендуется тестировать и проверять на вирусы.

1.2. ***Подготовка электронной версии основного текста.***

Желательно представление основного текста статьи в формате Microsoft Word for Windows. При наборе используйте стандартные Windows True Type шрифты (например, Times New Roman, Courier New, Arial и т.п.). Все использованные в статье шрифты с нестандартными знаками желательно сохранить как отдельные файлы на дискете. Размер шрифта – 12.

Обращаем Ваше внимание на то, что строки текста в пределах абзаца не должны разделяться символом возврата каретки (обычно клавиша Enter). Тексты с разделением строк в пределах абзаца символом возврата каретки не могут быть использованы.

1.3. ***Подготовка электронной версии графического материала.***

При подготовке графических файлов мы просим Вас придерживаться следующих рекомендаций:

– для растровых рисунков использовать формат TIF с разрешением 600 dpi, 256 оттенков серого;

– векторные рисунки должны предоставляться в формате программы, в которой они сделаны: CorelDraw (до версии 8.0), Adobe Illustrator (до версии 8.0), FreeHand (до версии 8.0) или в формате EPS.

– для фотографий использовать формат TIF не менее 300 dpi.

Если программа не является распространенной, то желательно дополнительно сохранить файлы рисунков в формате WMF или EPS.

Графические файлы должны быть поименованы таким образом, чтобы был понятен порядок их расположения. Каждый файл должен содержать один рисунок.

2. ***Примеры*** в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

3. ***Библиография*** в журнале оформляется следующим образом:

3.1. Список использованной литературы дается в конце статьи по алфавиту фамилий авторов и оформляется так:

– "Код работы" (фамилия, год выхода цитируемой работы), тире, инициалы и фамилия автора, название работы. В случае, если авторов больше двух, допустимо указывать только одного автора плюс выражение типа "и др." или "et al." .

– Если это монография, то после точки указываются место и год издания, например:

Успенский 1994 – *Б.А. Успенский*. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М., 1994.

– Если это статья, то после двойного слэша (//) указывается журнал (допустимы при этом стандартные сокращения) или выходные данные сборника, например:

Трубецкой 1990 – *Н.С.Трубецкой*. Общеславянский элемент в русской культуре // ВЯ. 1990. № 2, 3.

– Если это сборник или иное аналогичное издание, то "кодом" является одно из двух:

а) фамилия редактора (или редакторов; допустимы сокращения как и в ссылке на авторскую работу, см. выше) и год, тире, инициалы и фамилия редактора с указанием "ред." (для других языков – ed., hrsg. и т.п.);

б) сокращенное название и год.

Greenberg 1978 – *J. Greenberg (ed.)*. Universals of human language. V. I. Method and theory. Stanford (California), 1978.

Universals 1978 – Universals of human language. V. I. Method and theory. Stanford (California), 1978.

3.2. ***В тексте ссылки на литературу*** даются в квадратных скобках; фамилия (и инициалы автора, если это необходимо во избежание недоразумений), год публикации работы с указанием цитируемых страниц (если это существенно). Например [В.В. Иванов 1992 : 34], [W. Jones 1890]. Если в библиографии упоминаются несколько работ одного и того же автора и года, используются уточнения типа: [W. James 1890a].

4. ***Подстрочные примечания*** имеют сквозную нумерацию.

5. Непринятые рукописи не возвращаются.

6. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются.

7. Рецензии должны присылаться в редакцию вместе с экземпляром рецензируемой книги (по просьбе автора рецензии книга будет ему возвращена).

Статьи, оформленные не в соответствии с указанными выше правилами, к рассмотрению в журнале "Вопросы языкознания" не принимаются.

CONTENTS

J.I. Edel'man (Moscow). Problems of historical lexicology of Iranian languages and "The etymological dictionary of Iranian languages"; A.A. Zalizniak (Moscow), E.V. Toropova (Novgorod), V.L. Yanin (Moscow). The birch codici excavated in 2004 in Novgorod and Staraja Russa; O.F. Žolobov (Kazan). **ТРИДЄВѦТО ѦНЄЄЛО ТРИДЄВѦ ѦРОХѦНЄЛО** (functions and forms of numerals in the birch codex № 715); I.A. Sedakova (Moscow). On a certain loan word and its ethnocultural content (Bulgarian *късмет*); G.I. Kustova (Moscow). On the semantic potential of words belonging to energetic and experiential sphere; R. Roudet (Lyon). On the syntax of predicative adjective in Russian; G.M. Kert, V.T. Vdovitsin (Petrozavodsk). The role of information technologies in the study of toponymy. **Reviews:** S.G. Tatevosov (Moscow). Events as grammatical objects. The converging perspectives of lexical semantics and syntax; O.V. Hanina (Moscow). *S. Cristofaro*. Subordination; V.F. Vydrin (Moscow). Principles of African linguistics. The verb; M.E. Alekseev (Moscow). *M.Sh. Halilov*. The Georgian-Daghestan linguistic contacts. **Scientific life:** Chronicle features.

Сдано в набор 22.02.2005 Подписано к печати 18.04.2005 Формат $70 \times 100^1/_{16}$
Офсетная печать Усл. печ.л. 13,0 Усл. кр.-отт. 20,0 тыс. Уч.-изд.л. 15,6 Бум. л. 5,0
Тираж 1484 экз. Зак. 261

Свидетельство о регистрации № 0110167 от 4 февраля 1993 г.
в Министерстве печати и информации Российской Федерации
Учредитель: Российская академия наук

Адрес издателя: 117997, Москва, Профсоюзная, 90
Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,
телефон 201-25-16
Оригинал-макет подготовлен МАИК "Наука/Интерпериодика"
Отпечатано в ППП "Типография "Наука", 121099, Москва, Шубинский пер., 6